

Юрий БАРАНОВ

Жёлтая Роза

Литературный альманах

**МОСКВА
2020**

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6,44
Б 24

Баранов Ю.К.

Б 24 Жёлтая Роза : литературный альманах / Юрий Баранов. —
М.: Издательство «У Никитских ворот», 2020. — 524 с.

ISBN 978-5-00170-006-7

«Жёлтая роза» — литературный альманах, написанный одним автором. Юрий Баранов, ветеран советской/российской журналистики, член Союза писателей России, продолжает традицию, начатую в нашей стране великим историком Н.М. Карамзиным. Основную часть книги составляют воспоминания автора (1933 г.р.), избранные стихи и статьи на литературные темы.

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6,44

Издано в авторской редакции

Подписано в печать 17.02.2020
Формат 60x90/16. Гарнитура «Yefimov Serif Web»
Бумага офсетная. Печать офсетная
Усл. печ. л. 32,8. Тираж 100 экз. Заказ № 1749

Издательство «У Никитских ворот»
121069, г. Москва,
ул. Большая Никитская, д. 50а/5, стр. 1
тел.: (495) 690-67-19
www.uniki.ru

ISBN 978-5-00170-006-7



© Баранов Ю.К., 2020

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧИТАТЕЛЮ

Книга, которую вы взяли в руки — это альманах. Писательский альманах, то есть написанный и составленный одним человеком. Первым за такой жанр в нашей стране взялся Николай Михайлович Карамзин, знаменитый историк, и в 1794 году выпустил альманах «Аглая». Правда, в нём было несколько статей, написанных И. И. Дмитриевым, М. М. Херасковым и А. Ф. Мерзляковым и несколько их же стихотворений, но основную часть альманаха занимало написанное Карамзиным. Сам он объяснял появление «Аглаи» тем, что напряжённая журнальная работа не даёт возможности спокойно посидеть-подумать над рукописью. А альманах не обязывает выпускать его к определенной дате. Захотел — выпустил, не захотел — отложил. С Карамзиным по понятным причинам я не беседовал, а вот с Сергеем Михайловичем Казначеевым, выпустившим в 2018 году последний, насколько мне известно, литературный альманах, названный им «Лунное сияние», общаться довелось. Честно скажу — я решил последовать именно его примеру.

У меня скопилось некоторое количество материалов, которые в сумме составлял как бы воспоминания, или, говоря по-иностранному, мемуары. Я отдавал себе отчёт, что ни я не знаменитость, что не было знаменитостей в круге моих близких знакомых. И я не хотел из случайной встречи с каким-то знаменитым человеком раздувать

целое повествование о нём, привлекая «источники». И если мне случилось коротко поговорить с Шолоховым, Пастернаком и Бродским (правда, когда он был ещё молодым и мало кому известным), это, я считаю, не даёт оснований написать толстый том «Мои встречи с нобелевскими лауреатами». Да мало ли с кем приходилось видеться за полвека в журналистике! Здесь мне пример мой хороший знакомый хороший и хорошо известный писатель Виктор Алексеевич Пронин, который как-то заметил, что о знаменитостях он писать не будет, а вот о любом своём собутыльнике он может написать книгу. И главный редактор газеты «Труд», в которой я начинал свой журналистский путь, Александр Михайлович Субботин, считавший, что написать о прославленной артистке легче, чем о рядовом токаре или инженере.

Естественно, я думал и о том, а будет ли моё жизнеописание — жизнеописание обычного, незнаменитого человека — интересно кому-нибудь, и решил — будет. Тому, кто захочет узнать, как жили обычные люди в мой век. Обычные, а не короли-президенты или миллиардеры-кинозвёзды. А такие читатели всегда будут; я сам такой.

При этом делаю оговорку — об интимных делах, описания которых составляют изрядную долю современных мемуаров, я писать не намерен. Даже о семейной жизни не буду. Это моя принципиальная линия. Содержание книги — человек в человеческом обществе, а не в семье и не среди друзей и подруг. (Исключение — раздел «Стихи».)

Другой очень важный для меня раздел альманаха я назвал «Литературные разборки в стихах и прозе». Отдавая себе отчёт, что кто-то напишет об этих людях совершенно с других позиций. Но разве это не поможет — не скажу историкам, скажу просто любителям литературы разобраться в писательских конфликтах и пристрастиях нашего времени?

И, как правильно заметил С. М. Казначеев, у писателя всегда скапливается что-то пусть и напечатанное, но «обойдённое». У меня таковым оказались переводы,

разбросанные по газетам и журналам, и я решил наиболее удачные из них собрать вместе.

Ну, а самое главное для меня лично — это, конечно, стихи. Тем более объём альманаха не позволяет представить читателю мою прозу.

И, наконец, о названии альманаха. С. М. Казначеев назвал свой «Лунным Сиянием», следуя русской традиции давать литературным альманахам политически нейтральные, лирические и романтические имена («Аониды», «Урания», «Мнемозина» и т. д.). Я тоже решил последовать этой традиции и выбрал название «Жёлтая Роза». Открываю секрет — в день бракосочетания я пришёл в ЗАГС с букетом жёлтых роз, не подозревая, что есть примета: жёлтые цветы — к разлуке. Примета не оправдалась. Наш брак оказался счастливым, и каждый год, начиная с далёкого 1955-го, в день создания нашей семьи я дарю жене букет жёлтых роз. Пусть этот цветок навсегда останется в названии этой книги.

На этом, пожалуй, и пора закончить вступительный разговор с читателем.

Юрий БАРАНОВ

2019

День + День = Жизнь

НАСТЯ

Из своей колыбели я, как и всякий младенец, видел «самый ближний круг» лиц, самых близких. Их было пятеро — мама, папа, бабушка, дедушка и Настя. Это если называть их в общепринятом порядке важности. С моей «колокольни» их значимость виделась, однако, иначе: бабушка, Настя, дедушка, папа и мама. Конечно, это я сейчас так формулирую — но на основе тогдашних ощущений. Но эти детские, точнее младенческие ощущения основывались, как я со временем понял, на реальной ситуации в нашей семье. А у нас она была, как говорится, не совсем типичная.

Ну, почему бабушка на первом месте — это понятно. Нелюбимый мною поэт Евтушенко (мой ровесник) очень точно сказал когда-то: «Россия держится на бабушках». Советские мамы как правило работали, отсутствовали целыми днями, а бабушки оставались при внуках. В моём случае её главной помощницей была домработница Настя, почему я воспринимал её как второго по важности человека в своём мире. Третий — дедушка. Четвёртый — папа, который, кроме того, что ежедневно уходил на работу, ещё и в командировки ездил. А мама приезжала домой только по выходным, да и то не всегда.

Разумеется, будучи младенцем, я не владел такими понятиями, как «работа», «выходной день» или «командировка». Они вошли в моё сознание позднее. Очень рано в моём мозгу закрепилось слово «метро» — потому что метро строил

папа. Сам я не помню (1935-й, мне было два года), но мне рассказывали, что в торжественный день открытия первой линии метро я там был в ликующей толпе москвичей — у папы на руках. Увы, родителям не встретилось ни одного приятеля, который бы сделал исторический снимок, а у нас фотоаппарата не было — папа увлекался техникой другого рода. Впоследствии мне рассказывали, что он чуть ли не с первой полочки (после окончания института его, геодезиста, направили на работу в Метрострой) купил сразу два патефона. Когда на одном заканчивалась пластинка (78 оборотов, долгоиграющие появятся ещё не скоро), он на втором ставил другую. Много лет спустя, в мои юношеские годы, мама заметила, что я могу много раз подряд слушать танго «Дождь идёт» и сказала, что оно, очевидно, вошло в моё подсознание в младенческом возрасте — это была любимая пластинка папы. Я и сейчас особо пристрастен к этому шлягеру 1930-х годов.

Конечно, в том возрасте я не мог бы понять, что такое «развод» и потому не знаю, не помню, как моё существо прореагировало на исчезновение отца с его двумя патефонами. И я не могу сказать, когда в моё сознание вошло слово «Север», куда он уехал. Как мне теперь кажется, я всегда знал, что он работает в Молотовске. Но это не так. Посёлок Судострой, назвали по имени тогдашнего главы правительства только в 1938 году — а я уже вырос и стал большим, пятилетним. Именно с пяти лет я помню основные события своей жизни — поездку на родину мамы, в древний русский, ныне «украинский» город Новгород-Северский, появление у меня на зиму ёжика Егорки, первые попытки извлекать звуки из пианино (учиться музыке меня отдадут в шесть лет). И в порядке примечания — Молотовск теперь называется Северодвинском.

Так же я не помню исчезновения на длительный срок дедушки — в памяти осталось лишь его появление в необычной одежде, в мехах. Он несколько лет преподавал в Якутии и на Дальнем Востоке. Что касается мамы, она, как я уже говорил, в мои самые первые годы приезжала домой только по выходным, и то не всегда. Впоследствии

я установил, что режим её работы изменился, когда мне было четыре года. До этого она, так же, как и папа, геодезист, трудилась на строительстве канала Москва-Волга (ныне канал имени Москвы). Её направили в город Дмитров, где находился штаб строительства, через пару месяцев после моего рождения. Электрички тогда ещё не ходили, в бесснежный период года геодезисты пахали весь световой день; стройка, естественно, была ударной, график, само собой, вечно срывался, поэтому не в каждый выходной удавалось съездить домой. При распределении мама указала на то обстоятельство, что у неё грудной ребёнок, на что ей в духе времени посоветовали: бабке сбрось — и никаких проблем. Ей оставалось так и сделать. Вместе со мной и Настей бабушка переехала к знакомым в маленький домик на окраине Москвы — на Благушу. Теперь это место занимают измайловские небоскрёбы. У соседей были козы, я рос на козьем молоке. А Настя колола дрова, ходила за водой на колонку и, главное, стояла в очередях за продуктами.

Очень много лет спустя я узнал, почему я так редко засыпал без мамы в младенческие годы, в чём заключалась её работа на Канале. Только приехав в Дмитров, маме стало известно, что это «столица» Дмитлага — сети концлагерей, протянувшихся от Москвы до Волги, что канал строят заключённые (зеки). И ей предстоит вести топографическую съёмку с рабочими-зеками. Поэтому сначала её (вольнонаёмного сотрудника, вольняшку на лагерном жаргоне) обучили стрельбе из пистолета. В случае нападения на неё, молодую красивую женщину, кого-то из рабочих она должна была сразу же стрелять на поражение, целясь в голову. Слава Богу, до этого ни разу не дошло. Рабочими у мамы были почтенные люди, репрессированные сельские священники. На целый день они уходили в талдомские леса и болота, где, отойдя куда-нибудь за куст, мама сцеживала молоко, которое по законам природы должно было достаться мне.

А потом посадили и расстреляли начальника Дмитлага — товарища Самуила Гиршевича (Семёна Григорьевича, как

он предпочитал себя называть) Фирина и на его место был назначен товарищ Зиновий Борухович (Борисович) Кацнельсон. Его вытащил с Украины, где он занимал пост заместителя наркома внутренних дел, новый московский партийный руководитель товарищ Никита Сергеевич Хрущёв. Разумеется, всё это я узнал много лет спустя — в частности и потому, что при увольнении из Дмитлага мама дала подписку о неразглашении, то есть под угрозой уголовного преследования обязалась никому и никогда не рассказывать о том, что она делала, что видела и что слышала на строительстве Канала. Даже много лет спустя, в 1980–1990 годы (мама умерла в глубокой старости) мне приходилось клещами вытягивать из неё рассказы о Канале. А уволиться ей разрешили потому, что товарищ Кацнельсон однажды увидел, как мама со своими рабочими возвращается в лагерь и деланно возмутился: что за безобразие — посылать без охраны женщину в лес с бандой зеков?! Товарищу Кацнельсону было, конечно, наплевать на судьбу его рядовой сотрудницы, смысл его замечания состоял в том, что он критиковал действия своего предшественника, чтобы показать, сколько навредил делу социализма разоблачённый враг народа Фирин. Увы, самому товарищу Кацнельсону это не помогло — вскоре его тоже арестовали и расстреляли. А через четверть века их обоих реабилитировал товарищ Хрущёв. Но я забежал далеко вперёд в своём рассказе...

Развод родителей, работа мамы на Канале и длительная командировка дедушки в сибирские края привели к тому, что мой «ближний круг» сузился до двух человек — бабушки и Насти. Бабушка оставалась самым близким мне человеком до конца своих дней, а она покинула сей мир, когда мне было уже тридцать четыре года. И здесь я не буду о ней рассказывать. А хочу я воздать должное Насте — как я уже говорил, с моей младенческой колокольни она была вторым человеком после бабушки. Но если о бабушке, о дедушке, о папе и маме я мог бы написать по книге, потому что их жизнь мне известна от начала и до конца, то о Насте у меня сведений почти нет. Хотя, ещё

раз повторю, она была для меня-младенца вторым человеком в окружающем мире.

Всё, что я о ней знаю, я узнал от других. Саму Настю я практически не помню — осталось какое-то смутное ощущение чего-то хорошего, доброго, ласкового. Даже черт её лица я не помню — кажется, у неё были русые волосы. Ну что ж, это неудивительно и простительно — я был слишком мал, когда она исчезла из моего мира. Иногда взрослые спрашивали меня — ты помнишь свою няню, ты помнишь Настю? Вроде бы я отвечал утвердительно, но не уверен в этом. Взрослея, я усвоил слово «домработница». И уж когда подрос ещё больше, когда мама каждый день стала приходить домой, когда дед вернулся из Сибири, я уловил, что в разговоре с кем-то он сказал: «Настя? Это наша дальняя родственница». И ещё я уловил относящиеся к Насте слова «завод имени Сталина».

Не буду утверждать, что меня особо всё это интересовало в моём довоенном детстве. Я усвоил, что так устроен мир — одни люди исчезают, другие появляются. И только через много-много лет я сложил знания о Насте в цельную картинку. И это было не так просто — потому что мои домашние всячески уклонялись от разговоров о няне. Я не понимал этого, пока не ухватил суть проблемы. И ещё должен сказать, что не меньшую, если не бóльшую часть интересующей меня информации я получил не от домашних, а от знакомых семьи: ведь у них было меньше страха о чём-то проговориться.

История появления Насти в моём мире такова. Однажды один знакомый деда (выяснить, кто именно, мне не удалось — дед погиб в годы Великой Отечественной войны, а бабушка и мама говорили, что якобы не помнят имени этого человека) случайно во время командировки встретил на одной северной станции (на какой именно — бабушка и мама уверяли меня, что не знают) молодую девушку, просившую милостыню, и узнал в ней дочь своих старых знакомых крестьян. Откуда он, московский интеллигент (назовём его Глебом Сергеевичем), их знал, мне выяснить не удалось. По одной из версий Глеб Сергеевич был



почвоведом, то есть мог бывать по работе в деревнях, так что в принципе у него могли быть хорошо знакомые крестьяне. Но это лишь одна из версий. Что абсолютно достоверно, так это то, что семью Насти раскулачили и выслали на Север, её родные по дороге умерли, сейчас она с другими раскулаченными ждёт баржу для дальнейшего следования к месту высылки.

Глеб Сергеевич и Настя совершили тяжкое по тем временам преступление. Глеб Сергеевич сумел взять два билета до Москвы и уехал вместе с Настей. Предварительно он купил девушке одежду получше — у спекулянтов, в магазине ничего не было. В пути он велел называть себя дядей Глебом и поменьше разговаривать. Придумал, что у девушки болят зубы, и он везёт её к знакомому профессору в столицу. На случай контроля велел говорить, что из-за нестерпимой зубной боли она забыла дома документы. Но всё, слава Богу, обошлось.

В Москве Глеб Сергеевич поселил Настю у себя и каким-то образом договорился с управдомом, что «родственница» проживёт у него «на время лечения». Подобно разведчикам из детективных фильмов, Глеб Сергеевич разработал легенду для Насти и для своих отношений с ней. Насколько мне удалось узнать, он имел дачу, где Настя проводила много времени, чтобы не мозолить глаза управдому, да и, скорее всего, без взяток не обошлось. Может быть, Глеб Сергеевич, человек неженатый, выдавал Настю за свою любовницу, а это даже советскому управдому образца 1930 года представлялось достаточно уважительной причиной для того, чтобы закрывать глаза на непрописанную девицу.

А потом Глеб Сергеевич заболел и скоропостижно скончался. Понимая, что Настя, жившая в Москве на птичьих правах, останется без него в отчаянном положении и скорее всего будет арестована и возвращена в ссылку, он принял меры. Незадолго до смерти Глеб Сергеевич призвал к себе своего друга Василия Ивановича, моего деда (имя подлинное), открыл ему тайну Насти и взял с него слово, что он не бросит девушку в беде. К тому времени

он сумел добыть для беглянки с этапа какой-то документ. И деду было уже легче: он легализовал Настю в качестве домработницы.

Правда, «внимательные наблюдатели» удивлялись: семья недостаточно богата, чтобы держать прислугу, и детей нет (это было ещё до моего рождения). Вот для таких бдительных аналитиков дед и рассказывал «по секрету», что Настя — дальняя родственница моего папы, которой надо помочь с образованием. (Дед действительно подрабатывал преподаванием — он, юрист по профессии, человек широко образованный, давал уроки ... математики, русского и немецкого языка.) А папа к тому времени давно уже был сиротой: мать его, моя бабушка, умерла вскоре после родов, а отец, мой дед, был зверски убит в Одесской ЧК в 1920 году «знаменитой» в те годы женщиной-палачом, девятнадцатилетней Дорой Явлинской. Но об этом, естественно, папа никому не говорил и не писал ни в каких анкетах. А говорил и писал, что отец его потерялся в суматохе Гражданской войны, когда сам он был подростком (папа родился в 1904 году). Когда же я появился на свет и маму послали работать на Канал, положение Насти в нашем доме стало вполне объяснимым. Но всё равно опасность выяснения её личности висела над семьёй.

Дед понимал, что положение домработницы не сможет долго устраивать Настю, что такой статус лишает её жизненной перспективы. Что её надо определить на какое-то производство. И тут представилась возможность устроить её на новый завод имени Сталина — автомобильный гигант, который в те годы бурно развивался (в послесталинском СССР он назывался автозаводом имени Лихачёва, а после перехода к рыночной экономике был уничтожен «демократами»). К тому времени Настя уже прошла с дедом весь школьный курс, obtёрлась в московской среде и в значительной степени утратила свой просто-душно-деревенский вид. Теперь в ней не сразу можно было бы распознать беглую «кулачку». Тем более в документе, который раздобыл для неё Глеб Сергеевич, она значилась городской, а не сельской уроженкой. И её

внедрение в ряды советского рабочего класса прошло гладко.

Дед рекомендовал Насте как можно меньше рассказывать о своём прошлом, избегать воспоминаний, начинаясь со слов «А вот у нас в деревне...», привычных для горожан в первом поколении, не показывать своего знания реалий крестьянской жизни. Мало ли чьи внимательные уши могут услышать этот зачин и сопоставить его с документальными данными рассказчицы. Понятно, что на таком «политическом фоне» практически никто из нашего окружения не знал Настиной фамилии, не знал, откуда она родом. Настя — и всё. Бывшая домработница. Бывшая няня Юрочки.

Настя привязалась к нашей семье, особенно к бабушке и дедушке, и в первое время по возможности забегала к нам. Но новая жизнь, естественно, засасывала её в свой водоворот, и эти визиты становились всё реже и реже. Да и дед считал, что лучше Насте «обрубить концы» и забыть о прошлом. Тем более в газетах и в «художественной» литературе часто встречались рассказы о вредителях — бывших кулаках, пробравшихся на производство. Допусти Настя, не дай Бог, какой-нибудь брак в работе, «органы» могли бы начать копать и докопаться до её «чуждого» происхождения.

Я чётко помню только одну встречу с ней. К нам пришла женщина с очень большим животом (я уже знал, что это значит — беременная, скоро у неё будет ребёнок), которая показалась мне незнакомой, обняла меня и сказала непонятное слово «Здравствуй, крестник!» Бабушка поторопилась перебить её и спросила меня: «Ты узнаёшь Настю, свою няню?» Конечно, я её не узнал, её приход не вызвал во мне интереса, и я, выпив чашку чая, пересел за инструмент, за пианино.

После ухода гостыи я спросил, что значит «крестник», и бабушка объяснила мне, что так раньше неграмотные люди называли детей, но это слово дореволюционное, в советской стране оно вышло из употребления и его повторять не надо. А про Настю сказала, что она

заходила попрощаться, потому что вышла замуж за военного, за пограничника, и скоро они уезжают из Москвы. А вот куда — это секрет, военная тайна, и никому во дворе не надо говорить о моей бывшей няне — шпионы могут пронюхать, куда едет красный командир и вычислить расположение частей Красной Армии. О шпионах в тот период своей жизни я уже слышал много раз и хорошо знал, сколь они хитры и опасны. Но, конечно, я тогда не понял, что так бабушка «обрубают концы» на пользу Насте. И — из страха за свою семью. Много лет спустя она призналась мне, что ни о каком пограничнике Настя ей не говорила и уезжать из Москвы, с завода, где ей хорошо работалось, где ей дали жилплощадь, то есть комнату в новом заводском доме, она не собиралась. Просто бабушка старалась сделать всё, чтобы я не вспоминал Настю и не мог навлечь на неё и на нашу семью какие-нибудь неприятности. Ведь я был шестилетним малышом, способным по простодушию проболтаться о чём не надо в присутствии кого не надо.

Помню ещё, что, прощаясь со мной, Настя совершила странное движение рукой. Позднее я догадался, что это она меня перекрестила. Позднее — это значит через пару лет: началась война, я оказался в эвакуации, в российской глубинке, среди совсем других людей, которые не боялись креститься. Надо думать, этот жест Насти ещё больше усилил желание бабушки «обрубить концы», несмотря на всю её симпатию к моей бывшей няне. Я ведь тогда не ведал, что Настя в сговоре с бабушкой совершила тяжкое «преступление». Они меня крестили. Как я в конце концов разузнал, инициатором была Настя, которая полагала — и справедливо, на мой взгляд, полагала, — что русского младенца надо крестить. Так положено, какую бы линию ни гнули власти.

Не знаю, каково было отношение к религии моего отца — последний раз я его видел в июне 1941 года, восьмилетним. Через месяц я последний раз видел деда. Не знаю, но думаю, что к религии он скорее всего относился без всякого почтения. Ведь он сформировался в среде предреволюционной «прогрессивной» интеллигенции, которая,

как известно, бравировала левизной и безбожием. Юридический факультет Московского университета он выбрал потому, что собирался «защищать политических заключённых». Прости меня, любимый мой дедушка, я не разделяю твоих тогдашних убеждений. Вор должен сидеть в тюрьме, государственный преступник должен влечить тяжкие цепи в горах Акатуя. Никакой привольной жизни Ульяновым-Лениным в сытых Шушенских, никакой переписки с сообщниками, никаких статей в журнальчиках и тем более никакой связи с границей. И уж подавно никакой возможности побега, никаких амнистий и помилований. Сидеть от звонка до звонка. Чтоб не повадно было по выходе (если доживёт) взяться за старое. Да, вряд ли одобрил бы дедушка намерение окрестить меня.

Видимо, от него к маме перешло резкое неприятие религии. И было усилено советским вузом. Мама рассказывала, что многие студенты держались «линии Троцкого», в актовом зале института над сценой красовалось изречение «вождя мировой революции»: «Грызите гранит науки молодыми зубами». А ненависть Лейбы Давидовича к православию в те годы не скрывалась и была широко известна. Даже работа на Канале с репрессированными священниками не исправила маминых заблуждений. Когда она умирала в 1996 году, ей предложили благотворительную помощь монашек из близлежащего монастыря, на что мама ответила: «Всех этих попов ненавижу!»

А бабушка, скорей всего, была совсем других взглядов, иначе — не стала бы «сообщницей» Насти. Но она, как я, взрослея, понял, больше помалкивала, потому что её голос в семье был последним. Иным было и её отношение к революции, которую дедушка принимал безоговорочно и гордился тем, что его родной брат — видный большевик (Алексей Иванович Свидерский). После окончания гимназии (это были годы первой «русской», а вернее сказать антирусской революции), ещё до замужества, она сначала работала учительницей в селе. В своей комнате она повесила на стену портрет Горького, которого тогда считала самым прогрессивным писателем, но пришёл директор

школы и велел снять портрет неблагонадёжного лица. Бабушка стала считать себя чуть ли не жертвой политических гонений.

Вскоре, однако, её взгляды изменились — под влиянием жизненных реалий. Она перешла на учительскую работу в посёлок на плантациях сахарной свёклы, принадлежащих крупному землевладельцу и капиталисту сахарозаводчику Терещенко. Это был умнейший человек, выдающийся организатор производства. Он принимал на работу «девок, нагулявших дитё», положение которых в те годы в сёлах было, мягко выражаясь, незавидным. В посёлках на плантациях Терещенки были не только школы, но и детские сады и детские поликлиники, так что матери могли спокойно работать, не тревожась за своих чад.

И вот однажды на одной плантации появились две «революционерки» — молодых еврейки, которых бабушка знала по гимназии. Она уклонилась от предложения присоединиться к их «агитационной группе». А «революционерки» пошли на поле, стали обходить «представительниц сельского пролетариата» и призывать их развернуть борьбу за свержение власти царя, помещиков, капиталистов, попов и прочих эксплуататоров. А прежде всего начать забастовку и перестать гнуть спину на кровососа Терещенку. Работницы избили незваных гостей, связали их и отволокли в полицию. Под конец жизни бабушка говорила, что если бы в России было побольше таких хозяев, как Терещенко, революции могло бы и не случиться. Но я опять забежал вперёд...

Крестить меня решили, подгадав отсутствие родителей и деда. Мама пропадала на Канале, папа находился в командировке, а дедушка гостил у друзей на даче. В случае «провала», если бы возмутительный акт, случившийся в семье коммуниста Баранова, стал известен, предполагалось сослаться на то, что за спиной ничего не подозревавших вполне советских родителей дело совершили отсталые, не изжившие религиозных пережитков женщины — бабка и домработница. Слава Богу, «преступление» огласки не получило, всё прошло гладко.

Настя стала моей крёстной матерью. Крёстным отцом, по словам бабушки, стал «случайный человек». Может быть, она просто забыла, кто это был, а может быть по каким-то причинам не хотела говорить. Не могла она вспомнить, куда девался мой крестильный крестик. Не исключаю, что она просто выкинула его по дороге из храма — чтобы не держать в доме опасную «улику». Пусть даже случилось именно так — не мне судить её.

Несмотря на всё здесь рассказанное, я считаю себя крёстным православным христианином.

Я не знаю, как сложилась жизнь моей крёстной. Хочу надеяться, что всё у неё было хорошо. И ещё я хотел бы надеяться, что хоть иногда она вспоминала меня. Мне идёт уже девятый десяток, маловероятно, что Настя ещё жива. Но не имеет значения, где она сейчас, на этом свете или в раю. Я всё равно хочу сказать ей, что считаю её близким, родным, любимым человеком и глубоко благодарен ей за то, что она сделала для меня.

2016

ГРЕТХЕН

... В августе 1939 года меня забрали из «немецкой группы», то есть из частного детского сада, где в течение двух предыдущих лет мне давали хорошее, по понятиям моей семьи, воспитание... Нет, я не оговорился, в конце 1930-х в Москве ещё сохранялись частные детские сады. Платные, разумеется — в отличие от бесплатных государственных. Моя группа (слово детсад там не употреблялось) находилась на Садовом кольце недалеко от Смоленской площади, хозяйку звали Верой Филипповной, она занималась «экономикой» (питанием и т. д.), а нам, детям, главной фигурой представлялась воспитательница, контактировали мы почти исключительно с ней. Маргарита Карловна¹, немка, говорила с нами по возможности по-немецки, и в этом заключался секрет притягательности детского сада Веры Филипповны — в прямом методе обучения немецкому языку.

Такой «школой» был очень доволен и мой «главный воспитатель» — дед по матери Василий Иванович Свидерский, убеждённый германофил. Тут надо сказать несколько

¹ После второй публикации «Гретхен» (в журнале «Балашиха — голоса сердец») мне позвонила Ольга Харламова, жена моего приятеля, известного художника Сергея Харламова, и рассказала, что до войны описанная мною Маргарита Карловна была её соседкой по коммунальной квартире на Плющихе. Я был очень рад этому свидетельству — потому что убедился, что память меня не подводит, а ведь имя-отчество нашей воспитательницы я мог и перепутать: с 1939 до 2003-го прошло более шестидесяти лет!

слов о нём. И потому, что он был замечательным человеком и сыграл важную роль в моём воспитании и становлении моей личности, и потому, что, возможно, эти мои записки попадут в руки какого-нибудь вшивого интеллигента из либералов, и он болезненно среагирует на слово «германofil». Скорее всего завопит: азохен вей, как же так, ведь 1939 год, в Германии Гитлер, холокост и т. д.

Но для 1939-го такие оценки не подходят. Термин «холокост» ещё не вышел из круга знатоков древности; учебники поясняли: богам обычно отдавали, сжигая, часть жертвенного животного, остальное съедали люди; более весомым, более угодным богам считалось такое жертвоприношение, когда животное сжигалось полностью, это действие обозначалось словом *всесожжение*, — по-гречески холокост. Ещё никто не применял термин холокост к массовому уничтожению людей, хотя подобные трагедии в истории происходили неоднократно. Например, во время Первой мировой войны немцы перебили 40 процентов карпаторуссов-лемков. Но кто стenal на весь мир о трагедии небольшого славянского народа?

Что касается Третьего Рейха, то там в 1938 году были ужесточены расовые законы, однако и они предусматривали лишь ограничения прав евреев, но не их уничтожение. И только в 1942-м, на совещании в Ван-Зее, будет принят план «окончательного решения еврейского вопроса». К слову, и этот план не предусматривал поголовного истребления потомков Авраама в Германии. На второй день после падения Берлина в мае 1945 года одной из первых зарегистрировавшихся в советской комендатуре общественных организаций была еврейская община германской столицы. Евреи, признавшие себя «недочеловеками» и получившие соответствующие документы, могли даже сохранять свой бизнес в Третьем Рейхе¹.

¹ В своё время, в начале 1980-х, я вызвал возмущение помешанных на национальном вопросе евреев публикацией эпизода из фронтовых воспоминаний уральского писателя Вадима Очеретина. Он рассказал, как в небольшом немецком городе советские солдаты и офицеры столкнулись с хозяином универсама, русскоязычным евреем, выходцем из Одессы, у которого были

Но я отвлѣкся от своего повествования. Мы находимся, напомним, в 1939 году. Мне было шесть, и по малолетству я не принимал участия в беседах о расовой политике национал-социалистического государства, но впоследствии старшие в семье и знакомые много раз рассказывали мне, какие смертельно опасные по тем временам дискуссии устраивал мой дед по поводу германских расовых законов. Нет, он их не оправдывал, он «просто» задавал вопрос: а разве не ограничивает наши права, права русских людей, известный ленинский постулат о том, что русские должны быть искусственно поставлены в худшее положение по сравнению с другими нациями нашей страны? А уж о том, как этот ленинский постулат (в отличие от многих других не оставшийся на бумаге) проводился в жизнь, мой дед, встретивший революцию тридцатилетним адвокатом, мог рассказать немало.

Расовый закон, рассуждал он, у нас применяется не так, как в Германии. Там говорят: ты еврей, поэтому тебе нельзя занимать такую-то должность, заниматься такого-то рода деятельностью. В СССР же не говорят: ты русский, а значит не можешь стать, допустим, деканом или замнаркомом, послом или начальником управления НКВД, а, в противовес былой несправедливости, требуют в первую очередь выдвигать представителей ранее, при царе, угнетавшихся народов — а кроме русских по большевистским догмам никто больше в угнетателях не числится.

Попутно замечу, что эта паскудная антирусская философия сохранилась и в посткоммунистической России. Ленинские байки о царской России как о «тюрьме народов» не опровергаются. К тому же к ним добавились такого же пошиба мифы о Советской России, к рассказам о высылке некоторых северокавказских народов и крымских татар (причѣм эти жѣсткие меры военного времени

русские и украинские рабыни, угнанные из СССР. Помню, как один из моих критиков, брызгая слюной, вопил, что такие факты, конечно, имели место, но порядочный человек не стал бы предавать их огласке — они могут возбудить антисемитские настроения...

всегда изображаются как совершенно необоснованные) добавляются чудовищные выдумки о «сталинском антисемитизме». Постоянно раздаются вопли о ксенофобии русских, так называемые «правозащитники» каждую кабацкую драку изображают националистическим погромом, если пострадал кто-то из нерусских, и никогда не поднимают шума по поводу убийств, ограблений, изнасилований, совершаемых нахлынувшими к нам инородцами, прежде всего — кавказцами. Какая-то «учёная» сука в 2008 году заявила по телевидению, что «в Москве слишком много русских». Так что ленинизм продолжает окутывать Россию своим гнусным смрадом.

Но вернёмся в СССР 1939 года. Мой дед хорошо знал, как выдвигают представителей «ранее угнетавшихся народов». И не только потому, что на собственной шкуре испытывал национальную дискриминацию, проявлявшуюся в многообразных формах, в частности в том, что руководящий слой всех советских ведомств и структур быстро заполнился в основном нерусскими людьми. Но этого мало! Он был вынужден сам принимать участие в укреплении антирусской системы интернационал-социалистического государства. В начале 1930-х дед был в длительной командировке в Якутии. Ковал, так сказать, национальные кадры юристов. Учил тех, кто хотел учиться. Но хотели не все, и это нормально. Однако ненормальным было то, что ставить объективные оценки дед не мог. Ему говорили: Василий Иванович, вы недооцениваете важность создания новой национальной интеллигенции; а когда упрямый преподаватель упирался, ему быстренько напоминали его чуждое классовое происхождение (польские дворяне, русские купцы и царские чиновники) и даже тот факт, что до революции он служил в Средней Азии, то есть проводил колониальную политику проклятого царизма. Не было секретом, что подобное творилось и во всех других республиках, да и в Москве, где приёмные экзамены в вузы были, в сущности, не конкурсами знаний, а смотром анкет с особым вниманием к сведениям о национальности и классовом происхождении.

Другой опасной темой были концлагеря. Когда кто-нибудь, черпая эрудицию из «Правды» или «Известий», начинал рассказывать о концлагерях в Германии, дед восклицал: эка невидаль! Вы что, забыли, как у нас в Москве появился первый концлагерь в Сокольниках — в 1918 году? В 1939-м люди ёжились от напоминаний о «революционной романтике» первых коммунистических лет, когда не совершивших никакого преступления, но «чуждых по мировоззрению» людей отправляли за колючую проволоку на срок «до победы мировой революции». А если кто-то говорил, что в восемнадцатом году те, кто выносил приговоры, думали, что назначают лёгкие наказания, ибо мировая революция ожидалась со дня на день, дед саркастически смеялся и называл таких судей дураками и садистами; ведь те, кого сажали, говорил он, в мировую революцию не верили.

Тема концлагерей была особо острой в нашей семье, хотя из самых близких родственников никто не сидел. А дело было в том, что в 1933 году, когда Гитлер был избран канцлером, а я появился на свет, мою мать после окончания геодезического института направили работать по специальности на строительство канала Москва-Волга. Иначе говоря — она работала «вольняшкой» в ДмитЛаге, в Дмитровском исправительно-трудовом, вернее, как говорили зеки, в истребительно-трудовом лагере (термин концлагерь к тому времени коммунисты вывели из оборота). Не думаю, что рассказы о Заксенхаузене и Бухенвальде, о Гиммлере и Гейдрихе производили особое впечатление на деда — после того, что он знал о ГУЛАГе и о ДмитЛаге, о жутких обер-палачах, таких, как Коган и Берман, Фирин и Рапопорт, Френкель и Кацнельсон, и, конечно, сам Ягода (а маме довелось лично общаться с железным наркомом).

Надо думать, дед наслушался таких рассказов не только от своей дочери, но и от других людей. Одного такого человека я помню. Это была наша соседка по коммунальной квартире, учительница французского языка, которая вернулась из ГУЛАГа после того, как Берия заменил Ежова на посту руководителя НКВД и освободил значительную

часть заключённых. В одном из доверительных разговоров в 1950-х, когда я уже был студентом, бывшая узница заметила, что до войны в немецких концлагерях ещё не практиковалось массовое уничтожение людей — «а у нас уже был Беломорстрой и прочее...»

Впоследствии, анализируя воспоминания родственников и знакомых о моём деде, я понял, что он, по-видимому, ожидал от национал-социалистического режима в Германии какой-то эволюции: ведь за двадцать лет изменился, да ещё как, интернационал-социализм в СССР. К тридцать девятому давно уже не было такого, как в жуткие ленинские годы, когда могли потащить в ЧК или «просто» избить на улице за один только «классово-чуждый» вид, за «пенсню», например, а дед мой любил пенсне. Не в таких хулиганских формах проявлялась уже русофобия; мне рассказывали, что дед торжествовал, когда в тридцать шестом «Правда» вмазала самому Демьяну Бедному, недавнему неприкасаемому любимцу Ленина и Луначарского, за хамские выпады в адрес героев русских былин. Уже без ругани, а с уважением произносились имена Александра Невского, Суворова и Кутузова, уже местечковые музыковеды не осмеливались называть мещанскими композиторами Чайковского, Рахманинова и Глазунова. Но глупостей хватало. Никто не отменял гнусного ленинского постулата о старой России как о тюрьме народов, где якобы 43 процента русских эксплуатировали 57 процентов нерусских. И ещё смешили деда байки о свободах, которые будто бы принесла «восточным» народам советская власть. В предреволюционные годы он служил в Средней Азии, и как юрист отлично знал один из основополагающих принципов «царской» юстиции: инородцы живут по инородческим законам. «До таких свобод, чёрт побери, не доросло ещё ни одно государство на земном шаре!» — восклицал дед. И он был тысячу раз прав. Сейчас, в начале XXI века, в Западной Европе только-только подходят к этому принципу, да и то лишь в некоторых странах. Но коммунистические пропагандисты упорно вдалбливали в умы школьников и студентов: царская Россия — тюрьма народов.

Они извели море чернил, доказывая, сколь оскорбителен сам термин «инородцы», но никто из них и пикнуть бы не посмел по поводу того, что Ленин — персонально Ленин, этим хвастались — одним из первых декретов грубо вмешался в личную жизнь миллионов «людей Востока», запретив многоженство. И породил необходимость массового обмана, двуличия, лицемерия.

Дед никогда не терял связей со Средней Азией и знал, что люди там «как-то устраиваются»: берут, например, вторую жену под видом родственницы из дальнего киш-лака. А власти на это закрывали глаза. Так же, как закрывали глаза в России на то, что русские люди отмечают Пасху, Рождество и Троицу. Дед надеялся, что со временем необходимость лицемерия и обмана отпадёт, так как будут сняты глупые запреты, навязанные нам, как он считал, революционерами из еврейских местечек Западного края Российской империи, сформировавшимися в эмиграции и не понимавшими ни русских коренных людей, ни российских «инородцев».

А к эмиграции дед относился принципиально отрицательно. Сам он в своё время в Скобелеве (Фергане) отверг приглашение английских эмиссаров, которые предлагали «царским» интеллигентам уйти через Афганистан и Иран на благословенный Запад от ужасов басмаческого разбоя и гражданской войны. Покинули Родину несколько сослуживцев деда, а он в 1921-м вернулся в Москву...

Рассчитывал дед и на возрождение здравого смысла в Германии. Он часто повторял изречение Бисмарка: не лезьте палкой в берлогу русского медведя. Пакт о ненападении, заключенный Германией с Советским Союзом 23 августа 1939 года, дед считал величайшей победой здравого смысла. Гитлер осознал мудрость Бисмарка! Сталин похоронил наследие Троцкого-Ленина-Зиновьева и больше не помышляет о мировой революции!¹

¹ Вокруг Пакта Молотова-Риббентропа, заключённого вслед за аналогичным французско-германским пактом, наговорено много дешёвых глупостей, но толковые люди, из друзей и врагов, сразу восприняли его как великую победу советской дипломатии. Бывший военно-морской

Коварных англичан дед не любил, потому что хорошо знал историю и помнил, как они бесконечно интриговали против России. Когда ему говорили, что англичане всё же не фашисты, дед только усмехался — дело, мол, не в ярлыках и вывесках. И начинал просвещать слушателей рассказами о том, что это свирепые англичане первыми в мире устроили концлагеря, когда давили народ в Южной Африке, и фотографировались на фоне повешенных зулусов. Потом их опыт переняли турки во время армянской резни, потом большевики и уж только потом — германские нацисты. А разве англичане не устраивали погромов, вопрошал дед, или вы осуждаете только еврейские погромы, а индусские допускаете?

Очень опасно было говорить в те годы на эту тему, но дед говорил и допускал весьма рискованные высказывания. Тут необходимо сказать, что мои дедушка и бабушка выросли в славном культурном старинном русском городе Новгороде-Северском (Игорь, слово о полку которого стало шедевром мировой литературы, княжил именно там). Ленинские интернационал-социалисты отписали эти земли Украине, а их доблестный последователь Ельцин закрепил геополитическое преступление.

Во время революции 1905 года родители моей бабушки, Валентины Никитичны Зубок (отец её происходил от запорожского казака по фамилии Зуб) прятали от погромщиков еврейских детей. Зубчиха (так звали мою прабабушку соседи) открывала свой дом и кричала на всю улицу: «Эй,

министр Временного правительства России адмирал Д. Н. Вердеревский сказал после войны советскому послу во Франции, что офицеры-белоземляне горячо приветствовали заключение Пакта 1939 года — он отдалял Россию от войны. Уинстон Черчилль в своей книге «Вторая мировая война» писал: «В пользу Советов нужно сказать, что Советскому Союзу было жизненно необходимо отодвинуть как можно дальше на запад исходные позиции германских армий, с тем, чтобы русские получили время и могли собрать силы со всех концов своей колоссальной империи. В умах русских калёным железом запечатлелись катастрофы 1914 года, когда они бросились в наступление на немцев, ещё не закончив мобилизации. А теперь их границы были значительно восточнее... Если их политика и была холодно расчётливой, то она была также в высокой степени реалистичной».

жиденята, ховайтесь!» Затем Зубки становились перед калиткой с иконами в руках — и погромщики не осмеливались войти в православный дом. Очень много написано о списке Шиндлера, ни слова о списке Зубчихи и подобных ей русских женщин.¹

Но это события 1905 года. Иначе повернулся еврейский вопрос после «Великого Октября». В книгах по истории с трудом можно найти скудные упоминания о новгород-северском погроме, учинённом во время Гражданской войны Красной Армией. С трудом, но можно. Оговариваюсь: дед, бабушка и мама в те годы жили в Средней Азии и не могли быть непосредственными свидетелями тех событий, но со слов родных и знакомых хорошо знали, как всё происходило.

Поводом для погрома стала смена вывесок. После ухода антибольшевистских сил пылкие молодые евреи (а их было много в городе) сформировали структуры новой власти, объявив себя знаменосцами Интернационала и выразителями интересов мирового пролетариата, хотя никто из них никогда землю не пахал и у станка не стоял. Демонстрируя приход новой эры и новой власти, эти молодые евреи сняли в городе все вывески и повесили новые — на языке идиш. Но как ни велика была

¹ Это мне рассказывали знакомые семьи и дальние родственники, но не бабушка. Она в это время уже покинула родительский дом — после окончания гимназии служила сельской учительницей (гимназический аттестат давал такое право). Бабушка получила хорошее место там же на Черниговщине, в посёлке, построенном для женщин, работавших на свекловичных плантациях сахарозаводчика Терещенко. Этот богатейший предприниматель появлялся на своей малой родине раз-два в год, обычно на день поминовения родителей, а в основном делил время между Петербургом и Западной Европой. Также в Петербурге жил главный управляющий его имениями, на местах руководили производством его помощники. Терещенко обошёл всех конкурентов не только по экономическим показателям, но и по социальному климату на своих плантациях. Он объявил набор, говоря нынешним языком, матерей-одиночек. На рубеже XIX–XX веков положение незамужних женщин с «приблудными» детьми в деревнях было незавидным, и призыв Терещенки встретил немедленный отклик. На плантациях дети содержались в яслях и детских садах, обеспечивались медицинским обслуживанием. А самих работниц никто не попрекал их «позором». В те годы это воспринималось как избавление, как счастливая жизнь.

в Новгороде-Северском еврейская прослойка, большинство всё же составляли русские.¹

Когда в город вошла Красная Армия, жители пожаловались на самоуправство самозванных «интернационалистов». Искать доказательств не требовалось: самые грамотные бойцы не могли прочесть, что написано на вывесках. И евреев «вразумили», причём, конечно, пострадали и совершенно неповинные люди. Так, повторю, рассказывали все наши родные и знакомые, кто в то время находился в Новгороде-Северском. Это говорил с их слов и дед. Нет, он не утверждал, что евреи сами виноваты в погроме, он просто повторял любимое присловье немецкого драматурга Бертольта Брехта «истина — конкретна». И ещё он называл всерусским погромом коллективизацию. Когда же ему возражали, говоря, что ещё сильнее она ударила по Украине, дед начинал разглагольствовать о большой русской нации и о том, как подло поступил «Луначарик». Много лет спустя родственники рассказывали мне, как пугали в тридцатые годы эти рассуждения «дяди Васи», кое-кто из осторожности «раззнакомился» с ним. Возможно, вшивый интеллигент из либералов поторопится сказать, что порвали с дедом, конечно же, евреи, — и будет неправ. Размежевание происходило не по национальному признаку, а по степени запуганности людей. Насколько я могу судить по рассказам и по собственным воспоминаниям (некоторые друзья нашей семьи дожили до глубокой старости), дедовы знакомцы-евреи были нормальными

¹ До революции русскими совокупно считались великороссы, белорусы, малороссы-украинцы и карпаторуссы-лемки. Например, в энциклопедии писали: «в таком-то городе большинство составляют русские, главным образом украинцы», и это было правильно и корректно. Но потом ленинский нарком просвещения Луначарский (он же Хаимов, киевский еврей и масон) запретил слово великоросс как «реакционное» и «шовинистическое», и только великороссов стали называть русскими. Мы до сих пор расхлёбываем последствия этой дьявольской провокации. В одночасье вся дореволюционная литература стала «шовинистической». «Старинный русский город Полоцк...» Почему русский? Белорусский! Певец-эмигрант Вертинский пел в Бессарабии, стоя на берегу Днестра: «И российскую милую землю / Узнаю я на том берегу...» Как это — российскую? Украинскую! И т. д. После развала СССР подобные разборки обострились чрезвычайно.

людьми, не впадавшими в истерику при одном слове «еврей» и способными спокойно обсуждать различные аспекты еврейского вопроса.

По сравнению с этими смертельно опасными темами намного менее опасно, но тоже пугающе для многих звучали «юмористические» разглагольствования деда о том, какие дураки эти англичане, запретившие у себя в стране исполнять музыку Вагнера только потому что её любит Гитлер — об этом сообщали газеты. Ну а, допустим, обнаружится, иронизировал дед, что господин Гитлер любит Генделя, что весьма вероятно, так как известно, что германский рейхсканцлер — заядлый меломан (в советских газетах подобной информации не было, это деду рассказывали его знакомые-немцы), что тогда — они и Генделя запретят, хотя этот великий немец много лет служил британской короне? Дед очень любил музыку, особенно немецкую.

...Таков был исторический, политический и семейный фон, на котором меня забрали из частного детского сада Веры Филипповны и Маргариты Карловны. Забрали потому, что настала пора учить меня музыке. Кто будет учить, если, конечно, не обнаружится, что мне медведь на ухо наступил, сомнений не было — старинный приятель деда Альфонс Оскарович, естественно, немец. Фамилия его, к сожалению, в моей памяти не удержалась; а скорее всего я её и не знал — мне, ребёнку, она была не нужна.

Хорошо помню торжественный день, когда мы с дедом впервые отправились к этому таинственному Альфонсу Оскаровичу, о котором я уже столько слышал. Идти было недалеко, даже по понятиям деда, который после инсульта прихрамывал и при ходьбе опирался на палку: мы жили на Патриарших Прудах, которые тогда официально назывались Пионерскими, хотя так их называли только приезжие, а мой будущий, вернее, возможный наставник — на Пушкинской площади (после падения коммунизма ей возвращено исконное название — Страстная). Квартира, как я сразу понял, была отдельная, торжественная и тихая,

без привычной детской беготни в коридоре. В большой комнате стоял рояль (первая моя ошибка состояла в том, что рояль я назвал роялем, а надо было — инструментом), а у окна — фундаментальное кресло, в котором сидел величественный старик в костюме с жилеткой и в пенсне; это был отец учителя, Оскар Фридрихович. И по всему чувствовалось, что он здесь — верховный авторитет. Даже мой дед разговаривал с ним почтительно — для меня это было необычно.

Сначала все трое взрослых говорили по-немецки и по-русски на скучную для меня тему — о политике (ах, дорого бы я дал сейчас за стенограмму этого разговора!). Моя память сохранила очень немного, в основном знакомые фамилии, причём Оскар Фридрихович перед каждой немецкой вставлял слово «герр» (герр Геринг), а перед русской — «геноссе» (геноссе Ворошилофф); и ещё он несколько раз произнёс понятное мне словосочетание «дойче-руссише фройндшафт», а сын его почтительно поправил — «дойче-советише»...

Потом дело дошло и до меня. И я одержал полную победу — именно так я воспринял то, что у меня нашли очень хороший слух (сам Оскар Фридрихович сказал: зер гут) и что я принят в ученики! Домой я бы полетел, как на крыльях, если бы не надо было приноравливаться к медленной ходьбе деда.

...Так я начал учиться музыке; вернее — регулярно учиться, до этого мне уже все кому не лень что-то показывали, и я мог сыграть и «Чижика-пыжика», и «В лесу родилась ёлочка», и что-то ещё, и даже во дворе ко мне стала прилипать кличка «пианист». (Она мне не нравилась, так как — я нутром это чуял — отдаляла меня от ребят; раньше у меня была кличка «китаец», ничуть не обидная, она просто отражала особенность моей внешности — у меня был желтоватый цвет лица, хотя я никогда не болел малярией.) Учился музыке я не только прилежно, не только с удовольствием — с величайшим наслаждением. Если раньше у взрослых не находили понимания мои постоянные просьбы отпустить погулять, то теперь меня

нельзя было оторвать от инструмента и заставить пойти «подышать свежим воздухом». Я уже называл пианино инструментом...

Через две-три недели я, придя с дедом на урок, увидел в комнате кроме неизменного Оскара Фридриховича еще девочку моих лет. Она меня совершенно поразила — прежде всего своей полной непохожестью на всех знакомых мне девчонок. А их было немало — и в нашей многонаселённой коммунальной квартире, и во дворе, и на Патриках (так мы, местные жители, называли Патриаршие Пруды), и у родственников, и тем более на даче. Девочка в учительской квартире отличалась от них какой-то невероятной чистотой и аккуратностью. И необычностью наряда — примечательно, что даже в том возрасте я это уловил. На ней было белое кружевное платье — пышное, из одних кружев; в жизни я таких не видел, но я сразу узнал Лорелею¹ из немецких сказок, которые читал мне дед (бабушка языков не знала, и дед часто лишал её удовольствия почитать внуку сказку, говоря, что ребёнку в процессе засыпания полезней слушать немецкую речь — для лучшего усвоения). Как и положено Лорелее, у девочки были длинные белые волосы, перехваченные голубой лентой, за которую был заткнут синий цветок.

Из-под платья у девочки торчали длинные панталоны — тоже кружевные. Таких нарядов я раньше никогда не видел. Словом, я был поражён и, видимо, уставился на это белокурое чудо, разинув рот. Девочка тоже молча смотрела на меня. Тут в комнату вошел Альфонс Оскарович и весело сказал: «Грета, поздоровайся с новым мальчиком!» И произошло ещё нечто необычное: девочка взялась пальчиками за свою пышную юбку и сделала мне книксен. До этого никто со мной так не здоровался. Да и после — тоже.

¹ При первом издании «Гретхен» проходила через руки литературоведа-германиста Сергея Казначеева. Он сделал мне замечание — Лорелея в германском фольклоре совсем другая, она злодейка, погубительница мужчин. Но я не стал править рукопись: ведь я передаю моё детское восприятие, а оно формировалось, видимо, на основе каких-то адаптаций, пересказов, а может быть и дедовской вольной трактовки немецких сказок.

Бывало, конечно, что кто-то из женщин делал мне книксен — в шутку. Но в том-то и дело, что книксеном всерьёз, потому что так полагается, меня приветствовала только Грета. Только она одна.

Следующий за мной ученик почему-то не пришёл, дед был рад задержаться и поболтать с друзьями, а нас с Гретой усадили пить чай. Оказалось, что она — дочка Альфонса Оскаровича, задержалась у родственников на Волге, где она проводила лето, теперь приходится навёрстывать и музыку, и танцы. Грета уже выбрала бесповоротно свой путь в жизни — она намерена стать балериной. Иные профессии её совершенно не увлекают. Правда, одно время она подумывала об астрономии, но теперь поняла, что это не для неё: начиная с девяти часов вечера её клонит в сон, и просидеть целую ночь в обсерватории за работой она не смогла бы...

Скоро Грета будет поступать в балетное училище. Она хочет стать прима-балериной и со временем затмить саму Ольгу Лепешинскую. Поступить в училище при Большом театре нелегко, но Грета много работает (помню чётко — она так и сказала: работаю), укрепляет мускулатуру и следит за гигиеной: говорят, в училище не возьмут, если заметят малейшую царапину или прыщик. Грета пожурила меня, узнав, что я не занимаюсь физкультурой и даже не делаю зарядку. Так нельзя, втолковывала она мне, у пианиста должно быть сильное, тренированное тело, иначе ты не просидишь за инструментом двенадцать часов в день (очевидно, Грета уже сделала за меня выбор профессии). Папа знаком с Софроницким, продолжала она, Владимир Владимирович работает очень много, но зато играет Скрябина лучше всех. Правда, он женат на его дочери, может быть, это помогает... Тут в наш разговор вмешался Альфонс Оскарович, который, казалось, был целиком поглощён беседой с моим дедом: «Грета, не говори глупости, не подражай сплетницам...»

Из всего сказанного Гретой мне, помнится, больше всего понравилось упоминание о придирках при поступлении в балетное училище: выходит, не для форсу такая чистюля

эта девчонка, а для того, чтобы иметь сценический вид. Значит, она вовсе не задавака. И точно не задавака — через пять минут Грета уже начала показывать мне танцы, которые она разучила. По дороге домой дед выговаривал мне за то, что я «совсем разошёлся» в чужом доме.

Когда же мы пришли на следующий урок, Альфонс Оскарович насмешливо приветствовал меня словом «концертмейстер», а деду сказал: «Вот, Василий Иванович, молодежь выступила со встречным планом¹ — Гретхен предлагает обучать вашего внука не на скучных упражнениях, а на аккомпанементах для её танцев».

Дед засмеялся: «По-моему, идея хорошая. Но надо её дополнить — упражнения упражнениями, а сверх того пусть учит и танцы». А Оскар Фридрихович, тоже почему-то развеселившийся, посоветовал купить двум семействам вскладчину шарманку — пусть, осваивая профессию, дети ходят по дворам и танцами Гретхен под юрочкин аккомпанемент зарабатывают деньги...

...Не прошло и двух лет, как всё рухнуло. В конце мая 1941-го я должен был сдавать Альфонсу Оскаровичу «экзамен» — «ответственно» сыграть сочинение общего нашего любимца Моцарта (а вот что именно — не помню, хоть убей). Затем учитель с дочкой собирался уехать на каникулы к родственникам в Республику Немцев Поволжья, а у меня оказывался свободный месяц в Москве. Грета просила не тратить его на всякую ерунду, а подготовить для неё «концертную программу». А 24 июня мне предстояло впервые увидеть море: с этого числа отец получил путевку в Сочи.

Но экзамен не состоялся: Грета заболела дифтеритом и умерла. Со смертью я ещё не сталкивался и, видимо, просто не понял, что же случилось с моей подругой.

¹ Я отчётливо помню эти слова. Они не должны удивлять в устах музыканта того времени. Дело в том, что к кинофильму «Встречный» (имелся в виду встречный план — одна из форм социалистического соревнования) Дмитрий Шостакович написал музыку, ставшую очень популярной. Фамилия этого композитора часто звучала в разговорах деда с Альфонсом Оскаровичем и Оскаром Фридриховичем.

А жалко мне было себя. Я столько раз воображал, как я «ответственно» сыграю экзаменационное сочинение, как меня похвалит сам Оскар Фридрихович и как мне будет аплодировать Грета. Ведь экзамен должен был проходить «на публике», то есть в присутствии всех учеников и их родителей. И вот на тебе, такая незадача! Я хорошо помню свои ощущения; я даже досадовал на учителя — отменил экзамен только потому, что Грета умерла! Но ничего — вот опять соберёмся осенью все вместе и всё станет по-прежнему хорошо. А пока нужно выполнить просьбу Греты и готовить для неё концертную программу. Только вот — какие именно вещи нужно учить? Я попросил деда позвонить Альфонсу Оскаровичу и уточнить, но дед странно посмотрел на меня и отвернулся; мне даже показалось, что он заплакал, хотя это было совершенно непредставимое — плачущий дед...

Быстро приближалось заветное 22 июня, когда мы с отцом должны были выехать в Сочи; в нетерпении я несколько раз просил показать мне купленные заранее билеты. Наконец и вещи собраны, и наступила последняя ночь перед отъездом. Утром я проснулся в радостном предвкушении увлекательного путешествия и встречи с таинственным и неведомым морем. Это было роковое утро 22 июня 1941 года. Началась война, и всё мгновенно изменилось. Мне хорошо запомнилось, как два соседа, до того почтительно обращавшиеся с моим дедом, набросились на него: ну что, Василий Иванович, послушался Гитлер заветов вашего Бисмарка? Как насчёт здравого смысла у фашистов? И на какие оперы ходит сейчас бесноватый ефрейтор? Мне было очень жалко деда — вид он имел побитый.

Конечно, в мои восемь лет я не понимал многого из разговоров взрослых, но заметил, что при мне теперь не понижают голоса и не делают выразительных кивков в мою сторону. Война как бы уравнила меня в правах — ведь над всеми нами нависла опасность гибели. Чётко запомнился мне спор по поводу сообщения в газете о том, что на нашу сторону перелетел вражеский самолёт, и четыре

германских лётчика заявили, что они не хотят воевать против Советского Союза. И как дед, вопреки восторгам своего вечного оппонента-соседа, призывал не поддаваться «коминтерновским иллюзиям».¹

Много лет спустя мне рассказывали родные, что дед всегда считал Коминтерн пустым делом. Бабушка вспоминала даже, что он сказал ей в первые дни войны: всё, Коминтерн кончился, «Интернационал» превратился в анекдот, надо гимн менять. Деда уже не было в живых, когда в 1943 году «Интернационал», оставшись партийным гимном, перестал быть государственным.

Забегая вперёд, расскажу о любопытном споре о новом гимне, который произошёл у нас дома, споре, в котором поминались дед и Альфонс Оскарович. Мы жили тогда на Среднем Урале, в Свердловской области, под городом Ирбитом. У нас в гостях был топограф-ленинградец, до войны — завсегдатай симфонических концертов, когда по радио передали новый гимн. Нашего гостя он возмутил. Текст Михалкова он счёл отступлением от идей мировой революции и даже возвратом к русскому патриотизму, что в глазах этого ленинградца было грехом

¹ Никакой иронии в адрес соседа здесь нет. «Коминтерновские иллюзии» вдалбливались в головы всей мощью советской пропаганды. На XVIII, последнем довоенном съезде ВКП(б), в марте 1939-го, во многих выступлениях говорилось о предстоящей войне. Председатель Исполкома Коминтерна Мануильский, маршал Ворошилов, начальник Главпура Красной Армии Мехлис, будущий герой Сталинграда полковник Родимцев и другие уверяли делегатов и весь прочий советский народ, что если даже империалисты и посмеют напасть на СССР, то у них в тылу восстанет пролетариат и не допустит агрессии против республики рабочих и крестьян. Начало войны будет означать начало краха напавших на СССР буржуазных государств, говорили ораторы. Документы съезда лежали в основе всей партийно-политической работы и в армии, и на производстве, и в учебных заведениях. Издавались романы с такими сюжетами, ставились пьесы. Возможно, и сам Сталин сохранил остатки веры в «международную солидарность трудящихся». И удивился в первые дни войны он не коварству Гитлера (он ему, конечно, не верил), а тому, чего же медлят западные пролетарии. И ещё. До войны СССР тайно (хотя об этой тайне все знали) содержал западные компартии и, естественно, выбивая себе лучшие пайки, западные коммунистические лидеры безбожно дурили советских вождей, преувеличивая мощь и влияние своих партий.

непростительным. По малолетству я не понял, что этот человек явно был «недобитым троцкистом», это потом мне растолковал отчим, а он в политике хорошо разбирался. Кроме того, «троцкист» обрушился на музыку Александрова. Он чуть не кричал: слышите, слышите, это же чёрт знает что, это прямо-таки церковные мотивы! Я их, разумеется, не уловил, потому что никогда не слышал православной церковной службы. Не особенно разбирались в этих материях и старшие, и после ухода гостя посожалели: жаль, что нет деда, он бы мог высказать компетентное мнение; я же, помню, добавил — вот если бы здесь был Альфонс Оскарович... А через полвека мне довелось прочитать, что Александров сознательно вставил в ткань гимна две темы из православной церковной службы. И я сразу вспомнил зиму 1943–1944 года и ленинградского меломана-«троцкиста»; видно, он имел чуткое ухо!..

Но вернёмся к началу войны. Вспоминая те дни, бабушка много раз говорила мне, что дед сразу же сказал про Гитлера: вот дурак, не послушался Бисмарка, теперь голову сломит. И ещё будто бы дед первым, «до Сталина», отчеканил: не сомневайтесь, враг будет разбит, победа будет за нами...

С первой минуты войны в разговорах очень часто стало употребляться слово «немцы». Но я, насколько помню, никогда не связывал уличные и квартирные трактовки этой темы с Гретой, Альфонсом Оскаровичем и Оскаром Фридриховичем. Я был ещё слишком мал для анализа, и никак не прореагировал на известие о том, что из Москвы «немцев высылают». И даже, насколько помню, повторял вместе со всеми, что так и надо — наверняка среди них полно фашистских шпионов. Но однажды дед пришёл домой очень грустным, тяжело опустил в кресло и тихо сказал: Альфонса Оскаровича высылают, только что простились. И так он это сказал, что я не осмелился ничего спросить, хотя мне многое хотелось узнать: куда высылают, надолго ли, разрешат ли взять с собой рояль, вышлют ли Оскара Фридриховича — ведь он очень старый и с трудом передвигается даже по комнате.

И ещё я отчётливо помню, что испытал некое беспокойство по поводу Греты — как же, мол, она вернётся в пустую квартиру и кто ей откроет дверь. Видимо, я был ребёнком с задержанным развитием, и даже в восемь лет ещё неспособен был осознать необратимость смерти.

Уже по возвращении из эвакуации мама узнала, что Альфонс Оскарович умер в ссылке, плохо понимая происходящее: после смерти Греты, своего единственного ребёнка, он впал, говоря современным языком, в глубокую депрессию. Примечательно, что только тогда я спросил о маме Греты. Моя мама удивилась: она же давно умерла, ты разве забыл? Тебе же говорили! Может быть, и говорили, и даже наверняка, но, видимо, эта информация проходила мимо меня, тогда ещё незнакомого со смертью.

...Теперь, в 1944 году, я был совсем другим человеком. Три года эвакуации, несколько дальних переездов из одного конца страны в другой, лишения, порою жизнь на грани голода, соприкосновение с неведомыми ранее человеческими мирами изменили и закалили меня. Между тем благовоспитанным мальчиком, который чинно ходил в сопровождении дедушки на уроки фортепьяно, и теперешним подростком, покуривающим чинарики и склонным насыщать свою речь блатным жаргоном, пролегла пропасть. В ней было много чего, ранее неведомого для меня. И прежде всего — жестокости.

Осенью сорок второго в Ташкенте я лишь один день проучился в школе. Перепуганная мама решительно забрала меня оттуда, и я проходил курс третьего класса с бабушкой — благо, она в юности, по окончании гимназии, учительствовала на селе. А дело было в том, что местные ребята предложили одному из эвакуированных показать ловкость и храбрость: эй, москвич, слабо съехать по перилам, не держась руками. Мальчик и поехал, не зная, что «шутники» вставили в трещину в деревянных перилах кусок опасной бритвы...

В довоенной Москве мы, мальчишки, конечно, дрались, но это были, в сущности, детские забавы. Во всяком случае правило «драться до первой крови» соблюдалось

неукоснительно. В эвакуации, особенно в Ташкенте, я вступил в мир драк, которые для многих кончались тяжёлыми увечьями и даже смертью. Помню, с каким остервенением мы били мальчика-узбека, обвинявшего нас, эвакуированных русских, в гибели своего отца на фронте; немец не с нами воюет, кричал он, он с вами воюет, зачем отца моего мобилизовали... Не ведаю, как наша доблестная контрразведка, но мы, пацаны в Ташкенте 1942–1943 года, не раз слышали от местных, что были «люди из Турции» и говорили, что немцы только с русскими и с евреями воюют, а мусульманам они друзья.

Вечно голодные, мы убивали из рогаток воробьёв, голубей и ворон, варили и ели (воробьи, должен сказать, вкусней всего). Совершали мы и весьма рискованные налёты на ташкентские огороды и сады: Совнарком Узбекской ССР разрешил ввиду трудностей военного времени физически наказывать похитителей урожая. Одного из мальчишек нашего двора взрослые дяди схватили и насмерть забили палками с гвоздями; мы, сумевшие убежать, смотрели на это из-за забора. Видел я и куда более страшное, самое страшное, что я когда-либо видел в жизни, — как на двадцатиградусном морозе замерзали выброшенные из госпиталя калеки: авось кто-нибудь подберёт, а места в палатах нужны для непрерывно поступающих с фронта раненых. Никогда не забуду ни этого зрелища, ни криков несчастных инвалидов...

И уж коли речь зашла о жутких ощущениях, не могу не вспомнить, как на урок в школе (это было уже на Урале, а затем в Казахстане) внезапно входил директор с письмом в руках и сдавленным голосом произносил: «Прошу всех встать». Мы уже понимали, что сейчас произойдёт: он будет читать очередную похоронку. «С прискорбием извещаем вас, что ваш... пал смертью храбрых...» Бешено колотилось сердце, в мозгу пульсировала одна мысль — только бы не про моего, и когда директор называл не твою фамилию, каждый испытывал стыдное облегчение...

Это — незаживающие раны. Но, говоря об опыте, нажитом мною в эвакуации, среди жизни, столь непохожей

на мою прежнюю, довоенную, нельзя не сказать и о горьких переживаниях, которые кажутся смешными сейчас, но тогда причинявшими сильную боль. Например, в том же Ташкенте, может быть, впервые изведаль я тяжкую несправедливость по отношению к себе лично. Дело было так. Все жители квартала вышли смотреть представление бродячего цирка, и наш дворовый главарь, которому было уже шестнадцать (мне — десять), сообразил, что можно влезть в какое-нибудь окно и чем-нибудь поживиться. Так и сделали. Меня как самого маленького и лёгкого подсадили, я влез в окно и тут же увидел самое вожделенное для полуголодного мальчишки — еду. Судя по всему, хозяева собирались печь лепёшки, когда приехал цирк. Я подал наружу ребятам мешочек муки килограмма на три-четыре и большую банку мёда, после чего благополучно покинул место преступления. При делёжке (а нас было четверо или пятеро, точно не помню), главарь отсыпал мне два стакана муки и сказал, что мёду мне по моей глупости не полагаётся: я должен был осмотреться и вместо муки прихватить какую-нибудь ценную вещь, чтобы толкнуть на базаре. Я возмутился несправедливостью и получил сильный удар ногой в лицо; половина моей муки рассыпалась, и домой я принёс едва ли больше стакана. Конечно, и это было добычей: стакан муки на двухлитровую кастрюлю воды — и вот вам затируха, обычная наша пища тогда. Но меня жгло чувство несправедливости, я считал, что мне, как рисковавшему больше всех, и даже единственному рисковавшему в этом деле, полагался бы если не килограмм муки, то уж во всяком случае не меньше полкило плюс стакан мёда. О людях, которых я обокрал, я, конечно, и не вспомнил.

Понятно, что значительная часть жизни состоит из конфликтов. Характерной чертой военного времени было то, что даже дети в той или иной степени касались конфликтов с политическим смыслом или подтекстом. Не был исключением и я; думаю, политизированность моего мышления, о которой мне не раз говорили — и с одобрением и с осуждением — на протяжении всей моей жизни, была

заложена именно в годы Великой Отечественной войны. Приведу лишь несколько примеров.

У родителей-картографов я вырос среди географических карт и хорошо в них ориентировался. Поэтому я естественно принял на себя функцию показывать на карте ребятам, а иногда и взрослым, где сейчас идут бои, о которых говорили по радио или писали в газетах.

А летом 1942-го, по дороге в Ташкент, я, можно сказать, стал одним из зачинщиков международного скандала. В нашем медленно двигавшемся эшелоне ехала часть польской армии генерала Андерса; их кружной путь лежал, как они говорили, через Иран в Средиземноморье на борьбу с Германией. С картой мира я никогда не расставался, и смог наглядно показать пацанам-попутчикам, куда едут эти необычного вида военные. Мы пришли к выводу, что они просто удирают от войны. И стали дразнить и срамить поляков, многие из которых неплохо говорили по-русски. «Гитлер не там — говорили мы, указывая на юго-восток, куда двигался эшелон — он там, сзади, откуда вы бежите. И Польша ваша там. Вы трусы, вы воевать боитесь!» Взрослые, как я теперь понимаю, из осторожности не вступали в наши дискуссии. И правильно делали. Вскоре наша пропагандистская война закончилась. Сначала все поляки стали твердить «по-русски не розумию», а затем во время одной из длительных стоянок по всем вагонам прошли советские особисты и строго предупредили родителей, чтобы те не разрешали детям подходить к иностранцам. Но мы, пацаны, чувствовали себя победителями: раз поляки на нас нажаловались, значит, мы их достали! Правда-матка глаз колет!

А вот в разговорах о Втором фронте никто ничего не боялся. В 1942-м на Куйбышевском (Самарском) вокзале между пассажирами, ожидавшими пересадки, вспыхнул яростный спор по поводу услышанного по радио обещания западных союзников открыть Второй фронт в текущем году. Некоторые люди ликовали, а другие (моя мама в том числе) призывали не верить лживым уверениям. Мама вспоминала деда, который постоянно обличал

коварных англичан за их вечные интриги против России. (Эх, не дожил дед до тех времён, когда в наших газетах стало возможным открыто писать, что Англии дважды удалось сравнить Россию и Германию в XX веке!) А ещё я помню, что в каком-то людном месте, когда радио передало весть о падении Сингапура, то есть о захвате его японцами, я развернул карту мира, с которой, повторю, никогда не расставался, и показывал столпившимся вокруг меня людям этот стратегически важный пункт. Нет, у меня не возникало искушения возгордиться собой, своими знаниями, которых не было у взрослых малообразованных людей, но я испытывал удовлетворение, ощущая свою полезность.

Случались, однако, и политические открытия иного рода, которые противоречили общему ходу жизни, как я его понимал, устоявшимся представлениям о происходящем со всей страной и со мной лично как её частицей. Например, когда в уральском городе Ирбите учительница послала меня проведать заболевшего одноклассника, она велела мне снять пионерский галстук и смущённо пояснила, что мне придётся идти в заводские бараки, а там «всё может быть»... Жаль, нет в моём архиве снимка меня тогдашнего! Хотел бы я посмотреть на себя в пионерском галстуке, в телогрейке и в лаптях. Да-да, приобщился к лаптям и я — проходил в них зиму на Урале; детские валенки представлялись невообразимой роскошью (взрослым выдавали по месту работы). Мы жили в деревне примерно в двух километрах от города; зимним утром, ещё затемно, школьники собирались кутком, чтобы идти в школу вместе: опасались волков.

Не могу не сказать об одном, уже «внутреннем», конфликте, который довелось мне пережить летом 1944 года в Казахстане. Нас, школьников, стали направлять на работы в колхоз. Никто, конечно, не возражал, мы полностью поддерживали лозунг «Всё для фронта, всё для победы!» Но когда наш класс узнал, что нам предстоит ехать в немецкий колхоз, мы объявили забастовку. Конечно, решение начальства ничем, как верхом глупости,

назвать нельзя. Почти каждый день в посёлок приходили похоронки, иначе говоря — немцы убивали наших отцов, а тут — ехать помогать немцам! Узнав о нашем неподчинении приказу, начальство страшно перепугалось (забастовка советских пионеров — дело политическое!), нас перенаправили в русский колхоз. В самый разгар скандала я с жаром рассказывал дома обо всех перипетиях. И вдруг бабушка, как всегда, тихо и спокойно, сказала: «А ты бы поехал в этот колхоз. Ведь это не военнопленные, а высланные немцы. Может быть, среди них твой Альфонс Оскарович...» Меня как оглушило. Видимо, поняв моё состояние, бабушка деликатно ушла, я остался один на лавочке возле убогого домишки, где мы жили; рядом, привязанная к столбу, пощипывала травку наша лошадь, у соседних домиков паслись козы, толклись куры, бегали голопузые ребятишки. А я видел просторную, с высоким потолком, комнату моего учителя, мебель в чехлах, Альфонса Оскаровича у рояля, Оскара Фридриховича в кресле, портрет Моцарта на стене. И Грету. Вот она входит в комнату, я, как и положено при появлении дамы, встаю, она делает мне книксен... Говоря взрослым языком, меня потрясло несоответствие двух миров — нынешнего, реального, и того, ушедшего. Ушедшего безвозвратно. Только тогда до меня, кажется, дошло, что я никогда больше не увижу Греты.

Теперь-то я знал, что такое смерть. Кстати, впервые в жизни я увидел труп в день приезда в Ташкент: мертвец лежал лицом вверх на выходе из вокзала, люди перешагивали через него. Мы со страху его обошли, хотя для этого пришлось перелезть через кучу грязи.

В тот день, когда бабушка так неожиданно напомнила мне о прежней жизни, я вдруг подумал, что может быть и хорошо, что Грета умерла ещё до войны. Ей, всегда такой чистой, аккуратной и нарядной, поглощённой музыкой и танцами, было бы невыносимо тяжело оказаться в положении ссыльной. Раза два я видел, как выгружают партию арестантов: пацанский телеграф оповещал о том, что это происходит на запасных путях нашей станции, и мы бежали смотреть, благо это было совсем

рядом. Конечно, я тогда не знал разницы между ссыльными и заключёнными, не ведал о различных категориях зеков, я просто видел, как насильственно привезённых людей перегружают из железнодорожных вагонов-теплушек в грузовые машины, чтобы везти куда-то в степь. Не буду врать, когда я увидел, как грубо выталкивали из вагона замешкавшегося старика, я не вспомнил Оскара Фридриховича, но я вспомнил о нём сейчас, после того, как бабушка прочистила мне мозги. И ещё я представил себе, как выталкивают из вагона Грету и как она бежит в своём кружевном платье между лающими овчарками... Мне было очень горько в тот день. Я думаю, что в тот день я стал намного взрослее.

Разумеется, не одни только ужасы, обиды и тяжёлые переживания составили опыт моей жизни в эвакуации. Были и счастливые минуты, и радостные открытия, и ещё много чего хорошего. В Башкирии (мы жили в городе Бирске на реке Белой) началась, я думаю, моя любовь к лесу. До войны, в сороковом, на даче под Звенигородом, я уже много раз ходил за грибами, но — со старшими. Война так всё изменила, что через год, в сорок первом, я уже без взрослых бродил по лесам, собирая для фронта лекарственные растения, прежде всего валерьяну. Ходили мы с ребятами, но это совсем не то, что с бабушкой или мамой, как до войны. Особенно же мне запомнились опьяняющим ощущением свободы и самостоятельности лыжные вылазки в лес зимой 1941–1942 года. Здесь уже я был совершенно один.

Иное, но тоже опьяняюще-прекрасное ощущение свободы и самостоятельности дала мне верховая езда. Отчим мой был топографом, две его служебных лошади в значительной степени находились на моём попечении. Впервые в жизни столкнувшись с этими прекрасными животными, я с первого взгляда полюбил их, старательно за ними ухаживал, учился запрягать и осёдлывать. В тот период моей жизни я редко видел автомобиль, и слава Богу. Мне нравилось ездить на телеге. Я знал наслаждение вольной скачкой по лесным дорогам и особенно в степи.

Это была та самая степь, которую «выдающийся дипломат ленинской школы» крымский еврей Адольф Абрамович Иоффе отчленил от России и передал Казахстану. До того Иоффе «прославился» подписанием Брестского мира, а особенно тем, что на мирных переговорах после окончания Гражданской войны и полураспада Российской империи пожертвовал немало исконно русских земель в пользу Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы. Что касается той степи, в которой прошла часть моего детства, Иоффе мотивировал её отторжение от России тем, что здесь проходит Транссибирская магистраль, и надо дать угнетавшемуся царизмом народу возможность на базе железнодорожных мастерских ковать национальный рабочий класс. Правда, жили там переселённые при Столыпине русско-украинские землепашцы, а казахов практически не было; лично я видел их один только раз — конные пастухи, показавшиеся мне похожими на чингисхановцев, гнали мимо нашего посёлка большое стадо на мясокомбинат. Однако и в 1970-е годы в Высшей партийной школе при ЦК КПСС геополитические преступления троцкиста Иоффе оправдывали — он-де в данном случае поступал правильно, как интернационалист, заботясь о формировании казахского рабочего класса.¹

Однако вернёмся к моим жизненным университетам в годы войны. Не всё одобряли и не обо всём знали у меня дома. Не одобряли, но вынуждены были отпускать меня на деревенские посиделки (мне было одиннадцать). А я считаю, что зря — не одобряли. Мы там сидели, травили

¹ Мы с приятелем, происходившим из тех самых мест, ставили этот вопрос перед лектором ВПШ. Он молол нам про железнодорожные мастерские и про кузницу промышленного пролетариата, мы настаивали: первоначально Иоффе ещё севернее провёл границу, и сделал Оренбург столицей Казахстана. Этот перекокс исправили, не пора ли довести дело до логического конца и вернуть России земли с русским населением? Лектор, соплеменник Иоффе, пытался шить нам великорусский шовинизм. Позднее вышла книга, прославляющая Иоффе; автор проливал слёзы по поводу того, что этот матёрый троцкист пустил себе пулю в висок в ноябре 1927-го, сразу после политического падения своего кумира. О расхищении им русских земель не было сказано, разумеется, ни слова.

байки и обжимались с девчонками, иногда даже доходили до тех процессов, которые современными вшивыми интеллигентами обозначаются английским словом петтинг; русское «лапаться» их шокирует. Согласно неписаному кодексу посиделок для лиц нашего возраста, дальше мы не заходили и не пытались заходить, но и этот опыт оказался очень полезным: он избавил меня впоследствии от кое-каких подростковых комплексов. Но не знали старшие, например, того, что у одного из моих приятелей мама подрабатывала проституцией, и он иногда приглашал меня посмотреть из тайного места, как это делается.

Как я теперь понимаю, из эвакуации я вернулся не только повзрослевшим и набравшимся опыта, но и одичавшим. И когда мама и бабушка спросили меня, хотел бы я возобновить занятия музыкой, я с лёгким сердцем ответил: не хочу. Думаю, они были рады такому ответу и спрашивали скорее для очистки совести. Материальное положение семьи ухудшилось, и вряд ли плата за уроки оказалась бы посильной. Тем более пришла ещё одна беда — сестрёнка заболела туберкулёзом, и врач сказал: хотите спасти девочку — любой ценой залейте её салом. Проблема была решена продажей пианино.

Но всё же я думаю, что главная причина того, почему я больше никогда не сел за инструмент, заключалась в том, что с нами уже не было деда. Старый упрямец не поехал в эвакуацию. В начале 1942 года он заболел воспалением лёгких, а тут, как сказал управдом, воздушной волной от бомбежки выбило окна в комнате; на самом же деле налётов уже не было, а окна выбила соседка. Она же и поливала беспомощного старика водой. И когда мама, вызванная телеграммой знакомых и получив пропуск (таковы были правила военного времени), наконец добралась до Москвы, она застала деда уже в агонии. Он лежал как в ледяной глыбе.

Позднее, когда стало известно о судьбе генерала Карбышева в немецком плену, мама всегда вспоминала смерть деда. Соседка в ту же зиму отправилась в ад. Я помню её фамилию, но не хочу называть. Скажу только, что у неё это

не было внезапным помрачением рассудка. Ещё до моего рождения в нашей коммунальной квартире на Патриарших жил известный писатель-сатирик Виктор Ардов, и он описал пакости, которые творила эта классическая квартирная скандалистка — прибивала гвоздями к полу соседские калоши в коридоре, бросала на кухне в чайники тараканов и т. д. Говорю об этом лишь для того, чтобы подчеркнуть — её глумление над моим умирающим дедом не была случайностью.

Но чёрт с ней, с соседкой, вернёмся к теме. Я думаю, что дед настоял бы на том, чтобы я продолжал учиться музыке — такие у него были приоритеты. Увы, это уже сослагательное наклонение. Ну, а я сам? Почему я с такой лёгкостью отклонил робкий намёк мамы о возможности снова заняться музыкой? Неужели за три года я совсем забыл о Моцарте и своих первых шагах в его волшебный мир? Забыл о Грете и об Альфонсе Оскаровиче? Как ни парадоксально, но, может быть, именно потому, что они, музыка, учитель и его дочка, были крепко связаны в моей памяти, они «все трое» ушли для меня в безвозвратное прошлое. Звучит странно, но психологически дело обстояло именно так: я как бы похоронил Моцарта вместе с Гретой, её отцом и дедом. Я не мыслил себе Моцарта и ему подобной музыки вне связи с этими людьми. А за все три года эвакуации мне практически ни разу не пришлось с нею столкнуться. Таковы были условия нашей жизни.

Но свято место пусто не бывает. Человек без музыки, как без женщины, не может. Не одна, так другая. Расскажу о двух моих музыкальных пристрастиях, зародившихся в те годы. В Ташкенте, в другом крыле нашего большого одноэтажного дома — общежития картографической фабрики, на которой работала моя мама, жила молодая женщина, обладавшая роскошными в той обстановке вещами — патефоном и множеством пластинок (на 78 оборотов, конечно, — «долгоиграющих» тогда ещё не было). Заметив мой интерес к музыкальным звукам, она позвала меня к себе, расспросила и, узнав, что до войны, в Москве, я учился играть на фортепьяно, пригласила

почаще заходить к ней. Жила она одна, скучала, комната у неё была тёплая (у нас — очень холодная, а в Ташкенте стояла необычная для той полосы морозная зима), иногда она подкармливала полуголодного мальчишку, ставила мне пластинки и давала посмотреть книги по скульптуре и живописи.

Вот в этой обстановке я познакомился с искусством Александра Вертинского и навсегда стал его преданным поклонником. Соседке моей, как я сейчас вспоминаю, было лет тридцать, мне — десять, ничего криминального в том, что я нередко пропадал у неё целыми вечерами, никто не видел; женщины во дворе посмеивались: баба бездетная, сына себе нашла и нянчится. Бабушка моя и мама не беспокоились: я не выходил за пределы своего двора в опасный, особенно для эвакуированных детей, мир ташкентской окраины; кроме того, мама знала эту соседку по работе, и была о ней хорошего мнения как об «интеллигентной женщине».

Однако мои родные наверняка ужаснулись бы, узнав, что у нас там происходило, хотя, как я твёрдо убеждён и сейчас, ничего плохого не было, а было только хорошее. Но... Десятилетний военный недокормыш, я ещё не был озабочен сексуальными проблемами (прошу прощения за натуралистическую подробность — у меня даже эрекции не происходило), всё же какой-то смутный интерес к женским прелестям соседка во мне пробудила. Как многие молодые женщины, воображая себя артисткой, она развлекалась тем, что танцевала странные сольные танцы под пластинки Вертинского. При этом она переодевалась-полураздевалась; говоря современным языком, это был какой-то полустриптиз. Иногда, показываясь передо мной *topless*, она спрашивала: если бы ты был скульптором, ты бы стал меня лепить? У меня красивый бюст? Потом находила в книге изображение какой-нибудь скульптуры и допытывалась: скажи честно, у кого фигура лучше — у этой модели или у меня?

Как я теперь понимаю, с её стороны это была сублимация секса. Видимо, она была совсем одинока. Её

выбор «публики» для своих представлений был безошибочно-точным. Кому ещё у нас во дворе она могла бы продемонстрировать свои полуголые танцы, кроме как мне? О взрослых я по понятным причинам не говорю, а из мальчишек любой другой начал бы гыгыкать даже при виде репродукций в книгах по искусству. Я же сразу продемонстрировал кое-какие знания, узнал и Венеру Милосскую, и «Спящую Венеру» Джорджоне, и «Нимфу» Коро, говорил о них без смущения, не реагируя на «сексуальную составляющую» обнажённой натуры; это были плоды дедовского воспитания. Понимала соседка и то, что я не буду никого посвящать в детали нашего времяпровождения. «Ты умный мальчик, — говорила она, шутливо ероша мне волосы на затылке, — сам знаешь, что кому надо говорить, а что не надо. У нас с тобой своя игра, и не все её поймут. Давай я буду звать тебя Бой. Это английское слово». И тут я, можно сказать, окончательно сразил соседку своей «эрудицией».

Дело в том, что в самом начале наших военных скитаний, едва мы приехали в Бирск, мама случайно встретила на улице свою московскую знакомую, Иду Марковну Итенберг. А та эвакуировалась вместе со своей сестрой, Верой Марковной, переводчицей с английского, до войны работавшей в Коминтерне. Тут же договорились, что Вера Марковна будет давать мне уроки. Занятия длились недолго, всего один учебный год, а затем мы уехали в Ташкент. Но кое-что из английского в моей голове застряло, я даже знал, что *boy* означает не только «мальчик», но и «слуга». Соседку это привело в восторг, и у нас началась своеобразная игра в английские слова.

Я забыл подлинное имя этой женщины, она просила называть её Иветтой, и я сразу уловил происхождение «псевдонима» — Вертинский, танго «Магнолия»: «Вы плачете, Иветта, что песня недопета, что это лето где-то унеслось в мечту...» Но я, консервативно воспитанный ребёнок, наотрез отказался называть просто Иветтой свою взрослую знакомую (которой было, повторю, примерно тридцать, а моей маме тогда — тридцать три), её же не

устраивала «тётя Иветта» (действительно, это звучало нелепо). Нас выручил чужой язык, мы приняли вариант miss Иветта. Иногда, играя в английские слова, я называл её miss Beauty, Lady Charming или даже miss Good-Looker, и соседке это нравилось, хотя она шутливо шлёпала меня по губам. Думаю, она же и подсказывала мне эти эпитеты; вряд ли почтенная Вера Марковна в Бирске обогащала мою лексику такими словами, как уличное good-looker. Видимо, Иветта неплохо знала английский. Помню, она, говоря о Вертинском, употребляла слово crooner, а не singer.

Меня тянуло к этой женщине многое. И музыка, и книги, и неосознанное пробуждение чувственности, и, видимо, скрываемая от самого себя надежда на кусок хлеба с повидлом (уверяю вас, немаловажный стимул для полуголодного ребёнка), но главным, я думаю, было острое чувство контраста, своего рода эскапизм, уход от действительности, вернее, от повседневности. По утрам мы с бабушкой ходили по улицам, собирая совком в ведро конский навоз. Иногда нас отгоняли узбеки — уходи, шайтан, не бери навоз у моего дома, он мне самому нужен. Дома мы лепили шарики из навоза и влажной каменноугольной пыли (уголь считался роскошью, администрация картфабрики снабжала жильцов общежития только угольной пылью). Такими шариками топили печку, но в нашей комнате всё равно было холодно, морозы доходили до двадцати градусов, и хлипкое строение промерзало.

А вечером я шёл к Иветте, пил вкусный чай и слушал необыкновенные песни. В те часы я погружался в мир, совершенно не похожий на тот, что простирался за плотно занавешенными окнами её комнаты. «В бананово-лимонном Сингапуре, в бури, — пел Вертинский (и это был, конечно, не тот Сингапур, который недавно взяли японцы и который я показывал мужикам на карте), — когда у вас на сердце тишина, вы, брови тёмно-синие нахмурив, тоскуете одна...» И, неслышно ступая ногами в одних чулках по ковру, изгибается в чувственном танце одинокая замотанная работой советская женщина в голодном и холодном Ташкенте, воображая себя экзотической

заграничной Иветтой. «В бананово-лимонном Сингапуре, запястьями и кольцами звеня, магнолия тропической лазури, вы любите меня...» Miss Beauty тоже звенела серебряными браслетами. Как сейчас я вижу её танец в маленькой полутёмной комнате. Полутёмной не ради сценического эффекта, а по более прозаической причине: карты нужны были фронту в огромных объёмах, фабрика работала напряжённо, глаза у картографов страшно уставали; моя мама, придя с работы, отлёживалась с тёмной повязкой на глазах.

У меня, как я уже говорил, хватило ума не посвящать в наши художественные занятия маму и бабушку. Повторю также, что и сейчас я не вижу в них ничего плохого. Вижу только хорошее: образы женского тела входили в моё сознание, сливаясь с образцами высокого искусства, с репродукциями в книгах по скульптуре и живописи, а не через подглядывание в банные окна, как обычно происходило у пацанов той эпохи. (Тогда не было не только телевидения с его эротическими программами или порновидеокассет, но и журналов соответствующего толка.) Спасибо тебе, miss Иветта, спасибо тебе, Lady Charming. И особое спасибо — за Вертинского. Я мог бы и не узнать о его существовании, если бы не наскоки случайно у кого-то на его пластинки, а они были редкостью.

Но какие происходят совпадения! В то самое время, когда я в Ташкенте знакомился с искусством великого русского артиста, сам он из Шанхая посылал В. М. Молотову просьбу разрешить ему вернуться на родину. И вернулся, но практически никакой информации об этом получить было негде. В Москве артист с семьёй сначала жил в гостинице, потом ему дали квартиру в начале Хорошёвского шоссе, на окраине по тогдашним меркам — вдали от метро, нынешняя «Беговая» ещё даже не проектировалась. Квартира, хоть и отдельная, была убогой, на первом этаже двухэтажного дома, только что построенного пленными немцами. Вертинский поменял её на хорошую по московским стандартам квартиру в самом центре, на улице Горького

(Тверской) — теперь на доме установлена мемориальная доска.

Я хорошо знаю эту историю, потому что менялся он с нашими родственниками. Однажды, будучи в гостях у них, я даже видел Александра Николаевича и его супругу. Разумеется, я не посмел подойти к нему и что-то сказать, просто глядел из угла комнаты, осознавая, что мне выпало величайшее счастье, и стараясь всё запомнить. Понятно, никаких разговоров об искусстве или о жизни в эмиграции Вертинский не вёл, обсуждались деловые вопросы, но мне были интересны сами интонации разговорной речи моего кумира. А потом, начиная с 1949 или 1950 года, точно не помню, я стал по возможности ходить на его концерты. Он пользовался огромным успехом, но не обходилось и без «оппозиции». Иногда на концерты попадали люди, просто не понимавшие жанра, они возмущались «безголосьем» артиста (забыв, конечно, что их любимцы Утёсов или Бернес тоже не блистали вокальными данными). А более всего их раздражали «старорежимные» реалии, сама лексика певца-реэмигранта, такие слова, как «гимназистки», «иконы», «королевы», «джаз-банды в парижских ресторанах». Ни одной рецензии на выступления Вертинского в печати не появилось, но печатались уничижительно-насмешливые отзывы, правда, без прямого упоминания его фамилии.

Нередко непонимание его творчества приводило к конфликтам в зрительном зале. В одном из них я принял самое непосредственное участие. Перед нашей студенческой компанией в Зале имени Чайковского сидели два солидных человека с множеством орденских ленточек на пиджаках. Они мешали слушать нашего кумира — смеялись, делали вслух оскорбительные замечания, громко разговаривали между собой. Их пытались урезонить — бесполезно. И тогда я ткнул одного из них кулаком в затылок и сказал что-то вроде «не нравится — уходи». Вскоре объявили антракт, и мой «оппонент» начал было меня отчитывать: сопляк, преклоняешься перед пережитками прошлого, очки надел, галстук, видно, что не рабочий класс,

шёл бы на завод работать, там тебе мозги прочистят и т. д. Я не сдержался и ударил его по лицу. Тот было завопил «милиция!», но произошло нечто удивительное: возмущённая публика обступила «обличителя», люди кричали, что дадут показания в мою пользу и срамили его невежество. На второе отделение оба ветерана не пришли. До сих пор не знаю, гордиться ли мне моим поступком или стыдиться его...

Но я забежал вперёд. Конец моим встречам с Иветтой и блаженному прослушиванию пластинок Вертинского положил наш переезд на Урал в середине 1943 года. Сам отъезд из Ташкента был обставлен для меня очень странно, я ничего не понимал и обиделся на маму. Она внезапно велела мне ехать на вокзал с одним знакомым и там дожидаться её, бабушку и сестрёнку. Это рушило мои планы — я хотел попрощаться с пацанами во дворе и с Иветтой, которая, как я знал, работала в ночную смену. По времени всё получалось — она отоспится после смены, и мы не торопясь сможем поговорить. Однако знакомый чуть не силой вывел меня со двора на улицу, где его ждала легковая машина (редкость в той нашей жизни), и мы сразу рванули с места. Я видел, что несколько пацанов выбежали нам вслед, но мне даже не дали им помахать. Вскоре на вокзал приехали все наши, хотя до отхода поезда оставалось ещё несколько часов. Я не понимал, что происходит, но заметил, что мама и её знакомый сильно нервничают. Мои вопросы оба они резко пресекали. Наконец, состав подали, мы погрузились и в положенное время отъехали...

Прошло немало времени, прежде чем мама объяснила мне причину всех странностей того дня. Дело в том, что рано утром, только Иветта пришла с работы, её арестовали и увезли. Мама боялась дознания — многие могли показать, что я часто бывал у этой женщины. Подозрительным мог показаться и наш отъезд именно в тот день. Поэтому мама со страху решила прежде всего отправить меня «с глаз долой» и пораньше уехать на вокзал. Ведь могло случиться так, что её и меня могли задержать для допросов, но и при благополучном исходе мы могли опоздать

на поезд, билеты бы пропали, а повторная покупка в тех условиях могла бы обернуться длительным мучением. К тому же из общежития нас уже выписали. Я не знаю, что случилось с Иветтой. Возможно, она вернулась домой в тот же вечер, возможно погибла в ГУЛАГе, а возможно арест был прикрытием для начала какой-то специальной операции с участием этой красивой, не обременённой семьёй и образованной женщины, хорошо знавшей английский язык. Вспоминая мою незабвенную Lady Charming, я всегда льщу себя отчаянной надеждой, что она понадобилась нашему государству не в качестве заключённой...

Итак, я расстался я с Иветтой, открывшей мне Вертинского, в 1943-м. А в самом конце эвакуации я, с первой встречи и тоже навсегда, влюбился в ещё одну музыку. Произошло это так. В наш степной посёлок в Казахстане приехала кинопередвижка и три дня, вернее, три ночи крутила новейший фильм американских союзников «Серенада Солнечной долины». Три ночи — потому что кинотеатром служила открытая площадка, обнесённая высоким забором, сеансы начинались только с наступлением темноты. Посмотреть на чудо съехались люди со всей округи и, расположившись табором, ждали своей очереди. А мы, местные пацаны, три ночи просидели на деревьях (забор заняли взрослые парни со своими подругами). В те дни вошла в меня музыка Гленна Миллера. Она слилась во мне с радостью жизни, с уверенностью в скорой победе над фашизмом и с нетерпеливым ожиданием приближающегося возвращения в Москву.

Как и в случае с Вертинским, пристрастие моё к Гленну Миллеру иногда приводило к острым конфликтам. Когда в 1950 году я поступил учиться в Московский электротехнический институт связи, я сразу же свёл дружбу с однокурсником моим Славой Махониным. Заядлый радиолобитель, он мастерил приёмники с запрещёнными тогда в СССР коротковолновыми диапазонами, позволявшими слушать музыкальные передачи из США — точнее, их ретрансляции через западноевропейские станции. Это было время гонений на джаз, на «музыку толстых», как назвал его в своё

время Максим Горький, и у моего приятеля я впервые узнавал таких исполнителей, как Бинг Кросби, Фрэнк Синатра, Пери Комо, несравненная Розмэри Клуни (ах, как она пела «Green Eyed Woman») и многих других.

Но в начале нашего знакомства мы чуть было не подрались. Помню, впервые пришёл я к Славке днём послушать музыку. Вечером это было невозможно: семья Махониных из четырёх человек жила в шестиметровой полуподвальной комнате, родители спали на диване, сестра на столе, а мой приятель — под столом. На правах мэтра Славка спросил меня, кого из джазистов я больше всего люблю. Гленна Миллера, ответил я. Мэтр усмехнулся: запомни, парень, это не джаз, это цыганский стук в печные заслонки. Я возмутился. Спор наш быстро накалялся, но до кулаков, слава Богу, дело не дошло. Хозяин спохватился, взял себя в руки и уже миролюбиво сказал: давай прекратим ругаться, лучше послушай вот это. Он поставил пластинку (вернее, перепись пластинки на рентгеновскую плёнку — на нашем жаргоне это назвалось «музыкой на костях»), и я впервые в жизни услышал божественную трубу Луи Армстронга. Величайший джазист покорила меня раз и навсегда, но и к Гленну Миллеру я не остыл¹.

О влиянии музыкальных вкусов на судьбы людей в ту эпоху можно рассказать на примере Вячеслава Махонина. Один из самых способных студентов на нашем курсе, он не попал в аспирантуру из-за любви к джазу: комитет комсомола наложил вето на соответствующую бумагу.

¹ В 1990-е, когда в прессе забурилась разнузданная перестроечная «свобода», в вечерней газете появилась заметка некоей К. (фамилию этой сучки я не назову) о том, что Гленн Миллер якобы не погиб в полёте над Ла Маншем в последние дни войны, а умер двадцать лет спустя в парижском борделе, где он скрывался от своей семьи. Моя редакция в то время помещалась в том же здании, мне не составило труда найти К., оказавшуюся молодой особой с пороссячьей мордой, и спросить её об источниках информации. «Да так интереснее для читателя, — беззаботно и нагло ответила сучка, — сама придумала и написала». Присутствовавшие при разговоре мои приятельницы не дали мне ударить К., но прежде чем она выбежала из комнаты, я успел обозвать её саму, её мать и отца самыми оскорбительными словами.

Бушевал профессор Харкевич, желавший видеть Махонина среди своих аспирантов — не помогло. Идеология превыше профессиональных интересов! Но всё равно Вячеслав Васильевич Махонин стал крупным учёным, его перу принадлежит блистательная книга «Телефонный сигнал». По работе он много раз бывал за рубежом, в «капстранах», как тогда говорили, и его бывшие гонители отчаянно ему завидовали. Финалом этой истории стал для меня забавный случай на банкете по поводу 30-летия окончания института. Теперь, в 1985-м, ставшие толстопузыми и седыми наши бывшие партийно-комсомольские активисты лихо отплясывали под уже не запретного и привычного Гленна Миллера и Луи Армстронга. Махонин появился с опозданием, объяснил — прямо с самолёта, из Брюсселя. Бывшие ненавистники «музыки толстых» стали расспрашивать, какие пластинки Слава оттуда привёз, а Махонин лениво ответил: да надоело всё это, я теперь в загранкомандировки только одну плёнку беру — Людмилу Зыкину. Моцартом и прочей классикой Слава никогда не интересовался...

...Хотя в подростковый период своей жизни я нечасто вспоминал Альфонса Оскаровича и Грету, но и не забывал никогда. Да и как забыть, если моя школа в Палашёвском переулке — в двух шагах от дома, куда дед водил меня на уроки музыки. Если одно инженерное учреждение и три редакции из тех, где мне довелось работать, тоже совсем рядом. И до сих пор я часто прохожу мимо дома моего незабвенного учителя.

Но я забежал вперёд. Альфонс Оскарович и Грета вернулись в мой внутренний мир лишь после того, как я переболел увлечением модными танцевальными мелодиями (что, несомненно, было связано с брожением весенних соков в организме), и снова обратился к настоящей Музыке. Причём сам. Никто меня не толкал, не направлял и не подсказывал. До войны дед водил меня на концерты — как водят детей. Теперь же я впервые пришел в Консерваторию один. Ведь не было даже девушки, которая, как это нередко случается, увлекает поклонника за собой. Я вдруг

просто захотел пойти в Консерваторию и купил билет на концерт великого органиста Александра Фёдоровича Гедике. Видимо, впитанное от деда и Альфонса Оскаровича, освящённое Гретой стремление не пропало во мне, оно дремало подспудно и вот проклюнулось. Это случилось в мои восемнадцать. Значит, перерыв длился десять лет — огромный для того моего возраста срок.

...В первые годы после моего музыкального воскрешения, в концертах и у радиоприёмника, иногда мне казалось, что музыка хорошо мне знакома. Возможно, когда-то я слышал её в исполнении Альфонса Оскаровича или просто по его совету, с его пояснениями. А может быть, ещё раньше — на детских утренниках, куда водил меня дед. Во всяком случае, с «Лунной сонатой» я точно познакомился на одном из них. А вот Сороковую симфонию, лейтмотив которой ныне звучит из многих мобильных телефонов, подарил мне Альфонс Оскарович. Эти накладки прошлого на настоящее, эти смешения времён, эти переплетения слуховых и зрительных образов были одновременно и сладостны и мучительны.

Однажды в концерте я услышал за спиной немецкую речь, причём явственно прозвучало дорогое мне имя. Обернувшись, я увидел двух девушек моего возраста; видимо, это были студентки из ГДР, из Германской Демократической Республики, которые только-только начали появляться в СССР. Уловив, кого из них звали Гретой, я обернулся ещё раз, встретив насмешливо-весёлый взгляд. Разумеется, ничего общего с «той» Гретой студентка 1952 года не имела, разве что и у неё бросалась в глаза невероятная аккуратность причёски, которая, по-моему, никогда не достигалась никем из моих однокурсниц. И тут меня пронзило острое осознание того, что сказка не повторяется и что попытка найти «другую Грету» была бы, как это ни странно звучит, изменой той, настоящей. Кажется, милые и смешливые немочки были разочарованы тем, что я не попытался завязать с ними знакомство, когда концерт окончился. Как сейчас помню его программу — камерные сочинения Шуманна...

А вскоре, летом, на каникулах в Ленинграде, мне пришлось пережить ещё одну встряску, связанную с давними воспоминаниями. В сумерках я сидел перед открытым окном, выходящим на Малый проспект Васильевского острова, и слушал по радио вокальные ансамбли Моцарта. Один из них оказал на меня сильнейшее воздействие. Помню название — «Сетовать буду молча». Кстати, пластинка эта никогда мне не попадалась, и в концертах слушать эти гениальные ламентации мне не довелось. Не знаю, почему, но именно в те минуты во мне завершился процесс, начавшийся при встрече с немецкими студентками в Московской консерватории — осознание безвозвратности утраты и одновременно осознание того, что прошлое живо и никогда не умрёт. Примечательно, что только тогда я осмелился мысленно назвать подругу своего детства не Гретой, а ласкательным именем Гретхен, как это принято у немцев. В тот синий ленинградский вечер Гретхен окончательно воскресла и осталась со мной навсегда.

...Много лет спустя, когда мне уже перевалило за шестьдесят, я написал и опубликовал стихотворение, завершавшееся строфой:

В суть любви проникновение,
В человеческий синдром,
Чтоб сначала — восхищение,
Вождеделение — потом.

Прочитав его, одна моя старая приятельница ухмыльнулась и посоветовала больше его никогда не печатать: видно, мол, что написано сие немощным старцем. В молодости, мол, ощущения идут в обратном порядке, ещё Зигмунд Фрейд (ну как же без него!), спроси любого психоаналитика и т. д. и т. п. Много раз приходилось выслушивать подобное. Но мне психоаналитики не нужны, я знаю, что я прав и почему я прав. Я сформирован и вскормлен своей жизнью, своим опытом, а не учебниками похотливого австрийского профессора, восхищаться которым считает своим долгом каждый вшивый интеллигент из либералов.

Примечательный спор был у меня недавно с одним из них. В газетной статье было сказано, что многие «простые» русские люди, прочитав название знаменитого американского фильма «Основной инстинкт», думали, что речь идёт о голоде. «Как это примитивно, — презрительно фыркнул интеллигент, — как приземлённо». (Разумеется, всю свою жизнь он хорошо питался.) Но я далёк от намерения похвалиться чистотой своей морали. Вполне вероятно, не будь в моей судьбе Греты, я мог бы и не понять, что пресловутый Зигмунд Фрейд — всего лишь грязная свинья, а если повежливей — ущербный, неполноценный человек, по-немецки *Untermensch*.

XX век уделил огромное внимание «проблеме Лилит», то есть проблеме начала сексуальности и её якобы определяющего влияния на судьбу человека, на всё его мышление и мировоззрение. Не отрицаю определённой важности этой проблемы, но мне жаль тех, у кого задолго до Лилит не было Греты.

ПАМЯТИ ГРЕТХЕН

СТИХОТВОРЕНИЕ С ЦИТАТОЙ ИЗ БОРИСА ПАСТЕРНАКА

Тридцатые годы, военные марши,
Прекрасную деву я вижу в окне
Над Рейном, у самых Прудов Патриарших:
Немецкие сказки читаются мне.

Я, правда, не верю уже в Бармалея,
Уже кое-где «пианистом» слыву;
Вот тут и приблизилась вдруг Лорелея
Во всей красоте — не во сне, наяву

Немецкая медхен, как будто с портрета,
Как будто с пюпитра, где Моцарт и Бах,
Таких не бывает, но вот она — Грета,
Всамделишной феей с цветком в волосах

И в платье из кружев, таких же, как Моцарт
Носил на камзоле (портрет на стене),
Прекрасно танцует и не задаётся,
И делает книксен по-взрослому мне.

«Я буду второй Лепешинской в балете!
А ты — Софроницким?» «Наверное, да...»
Ну как не поверить божественной Грете,
Ведь с первого взгляда понятно — звезда!

И белые волосы, и голубая,
Конечно же, лента к глазам голубым —
Немецкая девочка, ангел из рая,
Как будто придумана Братьями Гримм.

Моё восхищение было невинным:
О сексе не ведаю, плоть не томит;
Нам было в ту пору по шесть с половиной,
И эта блондинка — ещё не Лилит.

Наверное, Бог или добрая Фея
Меня одарили, за что — не пойму;
В четыре руки я играл с Лорелеей,
Я чудо изведаль и верен ему.

Я понял давно, что волшебная призма
При взгляде на мир непременно нужна,
И Грета прививкой от грязи фрейдизма
В глубинную память мою введена.

...Нередко мне снится урок фортепьяно,
И добрый учитель кивает: зер гут!
Я очень давно не играю, и странно,
Что в пальцах остатки аккордов живут.

А Моцарт с гравюры бессмертием светит,
И тонкое кружево пышных манжет

Ну точно как платье на маленькой Грете.
А взрослого платья у Греты и нет:

Кончается сказка на чёрной странице,
Колдун Дифтерит Лорелею унёс;
Бывает, привидится или приснится,
И я не могу удержаться от слёз.

А Гретхен смеётся над глупостью смерти,
Шалит и, бывает, её обхитрив,
Проходит вприпрыжку по рампе в концерте
«ПОД ЧИСТЫЙ, КАК ДЕТСТВО,
НЕМЕЦКИЙ МОТИВ».

2003–2009

СВЯТАЯ СТО ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Здание школы моей любимой стоит, и хотя и название её сменилось, и содержание тоже, и, само собой, состав учеников (мы попали в годы раздельного обучения мальчиков и девочек), но для меня это есть и до конца моих дней будет одно из самых родных мест на земле. Школа, моя школа. Как она называлась в моё время — Средняя мужская школа номер сто двадцать два Советского района, в Палашёвском переулке — в самом центре Москвы, в двух шагах от Пушкинской (ныне Страстной) площади, на задах музея Революции (ныне Музея современной истории). Когда мне случается пройти или проехать мимо, я испытываю прилив теплоты к сердцу. Если время и силы позволяют — делаю крюк, чтобы пройти не по Большой Бронной, а по Палашёвскому переулку. Люблю я свою школу, люблю.

Попал я в неё не сразу. До войны ещё был жив мой дед, и он считал, что лучше мне до пятого класса получать домашнее образование. У него, адвоката по профессии, был большой опыт давать уроки арифметики, географии и немецкого языка, бабушка в дореволюционной молодости после окончания гимназии работала сельской учительницей, так что преподавательский корпус в семье имелся. Но жизнь брала своё, и деду удалось продержаться «вне влияния школы» только год. Началась война, мы (без деда) уехали в эвакуацию и 1 сентября я пошёл во второй класс в городе Бирске, в Башкирии. Там жила родственница,

чей сын прожил студенческие годы у моего деда в Москве, а теперь ушёл на войну, с которой ему не суждено было вернуться. Его мать уехала в другой город к семье другого сына, тоже ушедшего на фронт, а мы поселились в её комнате.

Утром я шагал в школу именно в то время, когда по радио перед новостями исполнялась только что написанная гениальная песня Александра «Священная война». Конечно, мы, пацаны и девчонки сорок первого года, жили войной и активно участвовали в Тимуровском движении. Нас попарно прикрепили к одиноким матерям воевавших бойцов, и мы, стараясь изо всех сил, помогали им — носили воду из колонки, мыли полы, убирали во дворе, делали всякую работу по дому. Кроме того, мы — не только девчонки, но и пацаны, я в том числе, вязали варежки для бойцов. И ходили в лес за лекарственными растениями; из них мне больше всего запомнилась валерьяна. Что касается учёбы, похвастаться не могу. На одном из первых уроков учительница рассказала, что наша земля — шар, и класс загудел: как же люди ходят вниз головой на той стороне?! Я, выросший в семье картографов, среди карт и глобусов, был поражён — такое средневековье в наше просвещённое время. И — преисполнился презрением к своим соученикам. Это сыграло дурную роль в моей жизни — я решил, что я всё знаю, учиться мне нечему. И стал одним из худших в классе.

Но жизненного опыта продолжал набираться. На моём попечении были куры, которых пришлось завести, и помощь маме на службе. Картографу в маленьком городе работы было, конечно не найти, и она поступила кассиром в парикмахерскую. Всё вроде бы ничего, но кому-то из местных начальников пришла в голову мысль — вместо мелочи давать сдачу почтовыми марками. Люди возмущались — марки мне не нужны, я никому не пишу, если же вместо взрослой женщины за кассой сидел восьмилетний пацан (я), то они понимали, что кассир здесь не при чём и, матерясь, забирали ненужные марки. Конечно, стоял в очередях. Один эпизод мне особенно запомнился. Это

было в самом начале эвакуации. Меня послали в магазин, в котором, как стало известно, «давали» (продавали) муку. Когда я пришёл туда, очередь уже собралась огромная — видно, до моей бабушки информация о том, что там-то «дают муку» дошла не сразу. Я долго стоял последним и вдруг вижу — идёт ещё один человек, явно эвакуированный, в хорошем коричневом костюме и в роговых очках (до сих пор помню). Он вежливо спросил меня: «Вы (!) последний?» и, тоскливо оглядев длиннющую очередь, раскрыл книгу. Заглянув снизу вверх, я прочёл название: «Латинская грамматика». Хоть и было мне всего восемь лет, я понял, какой резкий переход из одного мира в другой делал этот человек...

В третьем классе мне учиться не довелось. С середины 1942-го до середины 1943-го мы жили в Ташкенте. Там в первый же день учёбы в школе произошёл ужасный случай. Местные ребята предложили эвакуированному пацану прокатиться верхом по перилам лестницы. Он и поехал, не зная, что «шутники» вставили в трещину в перилах кусок опасной бритвы, и был искалечен на всю жизнь. Мама тут же забрала меня из школы, и я поступил «в бабушкин класс». Летом 1943-го мы переехали на Средний Урал в деревню Мельниково под городом Ирбитом. В деревне школы не было, я вместе с другими деревенскими ребятами ходил в школу в Ирбите, в четвёртый класс, а заканчивал его уже в райцентре Булаево Северо-Казахстанской области (переезды были вызваны работой отчима). У него по службе были две лошади, и я с энтузиазмом помогал ему, навсегда полюбив этих прекрасных животных. Об этих временах у меня довольно подробно рассказывается в эссе «Гретхен».

И, наконец, в конце лета 1944-го мы вернулись в Москву. Мне было одиннадцать лет, и 1 сентября я поступил в пятый класс 122-й школы, которую мне суждено было окончить весной 1950 года, в самой середине XX века. В те времена после седьмого класса число учеников резко сокращалось — многие уходили на работу, в техникумы или в военные училища. Поэтому если в пятом, шестом и седьмом

я учился в классе «Г», то в восьмом, девятом и десятом — в «Б», когда из четырёх классов осталось два.

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДЫ

В первую половину нашим классным руководителем была учительница математики Анна Израилевна Зайд, во вторую — Евгения Алексеевна Хромова, тоже математичка. Могу сразу сказать — у нас были более или менее любимые учителя, а вот нелюбимых или тем более ненавистных (как приходится нередко читать в мемуарных книгах) — не было. Над некоторыми подсмеивались, это было, давали им прозвища, порой не особенно дружелюбные (географичку, скажем, называли «Воблой» — из-за особенностей внешности), но в целом мы всех своих учителей любили и уважали. Например, учитель Конституции СССР (был такой предмет) Иван Никитич, чью фамилию я забыл, забавлял нас своими «старобольшевистскими» цитатами типа: «В Гражданскую войну законов ещё не было, но мы в трибунале судили, и бывало, приговаривали к расстрелу, руководствуясь революционной совестью». И стучал кулаком по столу. Мы это переделали в такую шутку: «Причины для этого нет, но я тебе сейчас дам в морду, руководствуясь революционной совестью, понял?» Или Сара Львовна Брановер; она прекрасно вела уроки истории, нередко цитируя фейхтвангеровскую «Иудейскую войну» и другие интересные книги, но могла разразиться такой явно непедagogической «цитатой»: «Во что превратилась школа — всё мещанство с Малой Бронной сюда попёрло!». У нас несколько мальчишек жили на Малой Бронной улице, понятно, как мы веселились.

Удивительная (а может быть, и не удивительная) вещь — по прошествии семидесяти лет в моей памяти остались более, а не менее любимые учителя. Так, я не помню, как звали нашего завуча, которого мы не то что не любили, просто были равнодушны. А вот, как ни странно, может быть, покажется, директора нашего мы не могу сказать любили, но — уважали. Уважали даже когда он делал нам

выволочки, потому что понимали — за дело; по пустякам он не придирался. Звали его Трофим Никитич Полещук. (Господи, да разве мог я представить тогда, что через несколько десятилетий буду его хоронить, у него что-то произойдёт в семье и дети не придут на похороны, что гроб с телом Трофима Никитича будут грузить в машину два человека — шофёр и я.) Искренне любили мы нашу классную руководительницу Евгению Алексеевну Хромову, учительницу английского языка Галину Иосифовну (эх, запомятовал её фамилию!), которой мы приписывали роман с нашим военруком (у нас был предмет — военное дело) Львом Рувимовичем Хатаевичем, уважаемым нами фронтовиком, но главным и всеобщим нашим любимцем, можно сказать — кумиром был учитель физики Евгений Рудольфович Бржецкий.

Из польских дворян, получивший военное образование ещё до революции, он был участником Первой мировой войны, в советское время окончил МГУ и защитил диссертацию по истории науки, преподавал в университете, но в предвоенные годы почему-то перешёл в среднюю школу (мы тогда не задумывались — почему). Ему было уже семьдесят лет, но, как он горделиво говорил — в ваши годы я двухпудовкой крестился, а сейчас только пудовкой крещусь. Иногда мы просили его показать, как это, и он в самом деле крестился 16-килограммовой гирей, которую он держал у себя в физическом кабинете. Евгений Рудольфович говорил с нами не только о физике. Как-то он спросил одного парня, за что у него двойка по истории. Тот ответил — дату забыл. «Скажи честно — не выучил, не знал, — парировал физик, — я те даты, что выучил в гимназии, — помню». Не может быть — зашумели ребята. «Проверьте», — усмехнулся учитель. Раскрыли учебник истории и стали «гонять» Евгения Рудольфовича по датам. Он знал все! Интересно и с большим смыслом рассказывал он нам о военных делах: «Когда мы были кадетами, появился пулемёт, и мы по глупости решили, что воинское искусство умерло; чего, мол, там, планировать бой, выдал четыреста патронов в минуту и всем врагам капут. Но вскоре

в Кавказских горах (а я воевал на Турецком фронте), пришлось как следует думать головой. И вам, ребята, придётся думать, ой как думать, хотя теперь у американцев появилась атомная бомба. Они, может быть, полагают, что теперь решат все боевые вопросы — нет, этого не будет. И если кто-то из вас собирается идти в военные училища — пусть идёт: вам предстоит решать сложные, очень сложные задачи...» Тогда ещё атомное оружие было только у США.

А когда мы подросли, Евгений Рудольфович давал нам уроки нравственности. Вот пример. «Иду я по коридору, — говорит он, — и слышу, кто-то из вас хвастается, что вчера ночевал у девушки, причём имя её называет и фамилию, вот подлец! Как это не по-мужски — болтать о том, с кем что-то было! Я не успел обернуться, старый стал человек, негодяй куда-то юркнул. Морду набить ему как учитель я не имею права, но за уши бы оттащел!» Один из наших одноклассников опустил голову и густо покраснел. А для нас это был урок. Могу сказать, что с моим лучшим другом Борисом Элкониным, с которым мы подружились в восьмом классе и прошли рядом всю жизнь вплоть до его смерти в 1992 году, мы никогда конкретно не говорили о женщинах. Хотя друг мой был неугомонным ходяком. Один раз он только не выдержал; когда вся литературная и прилитературная Москва обсуждала «праздник» у Евтушенко — знаменитый поэт-балабол отмечал 700-сотую в своём дон-жуанском списке, Борис заметил с усмешкой: «Пацан этот юбиляр, у меня уже за тысячу перевалило...» Но — никаких адресов и фамилий. Конечно, это было «при старой морали», иначе говоря — до «сексуальной революции», которая легализовала внебрачные связи и девушки стали похвастаться своими «бойфрендами». И ещё одно наставление Учителя. «Скоро вы поступите в институты, — говорил он, — и рядом с вами будут учиться ребята из далёких городов и деревень. Ни в коем случае, никогда и никому вы не должны позволить себе пренебрежительные замечания — „деревня“, „колхоз“, „провинция“. Ни в коем случае! Вам повезло, что вы выросли в центре Москвы, но заслуги вашей в этом нет». Я и мои друзья

следовали этому завету всю жизнь и так наставляли детей и внуков.

Когда мы кончили школу, родительский комитет, состоящий из неработающих толстозадых мам, готовил выпускной вечер, в том числе позаботился о подарках учителям. Руководству — какие-то хрустали, а Евгению Рудольфовичу — скромную чернильницу. И толстозадые были поражены, когда после всех приличных аплодисментов они последним объявили Евгения Рудольфовича, а мы устроили ему бурную овацию, вскочили из-за столов и с криками «ура» качали нашего любимого учителя. Так же, наверное, лет через пятнадцать была поражена милиция, когда на Ваганьковском кладбище хоронить «никому неизвестного» старика собралась огромная толпа людей. Но я забежал далеко вперёд...

Весь пятый класс (с осени 1944-го до весны 1945-го) прошёл у меня и моих товарищей в нетерпеливом ожидании победы в Отечественной войне. Наверное, у каждого из нас была карта, на которой мы отмечали взятые нашими войсками города. У меня-то была хорошая карта — родители как-никак картографы. Из-за непривычных русскому уху иностранных названий порой возникали анекдоты. Например, такой. «Встречаются двое, у одного в руках бидон. А в это время гремит салют. Второй спрашивает: что взяли? Суфле, отвечает первый. Второй: где это, в Венгрии?» Поясню — первый имел в виду содержимое своего бидона, суфле, молочный продукт, который иногда давали по карточкам, а второй интересовался, по поводу взятия какого города гремит салют.

Вскоре после нашего возвращения из эвакуации я стал свидетелем уникального зрелище — через Москву прогнали пленных немцев. Это тоже многократно описано в книгах, я не буду повторяться. Скажу только, что приходилось читать, будто москвичи были настроены к поверженным врагам доброжелательно, бросали им буханки хлеба, конфеты, папиросы, что якобы «не удалась затея властей». Я видел другое. Люди смотрели на пленных с ненавистью, некоторые женщины плакали,

говорили — «может быть, этот фриц моего Лёшеньку убил», вот такое — да, а вот сочувствия — не слышал. В тот день я бы, наверное, удивился, если бы узнал, что через год я буду бросать пачки папирос пленным японцам, которые работали на стройке неподалёку от нашего дома. Думаю, дело не в том, что я стал «мягче», а в том, что война с Японией длилась недолго и, была где-то далеко по моим пацанским представлениям.

В незабываемую ночь на 9 мая 1945 года никто не спал — ожидали, не выключая радио, сообщения о конце войны (напомню — телевизоров ещё не было). Утром, хотя был выходной, родители поехали на работу — думали, будет митинг, собрание, какое-то торжественное мероприятие. Но — всем велено было расходиться по домам, потому что не было никаких указаний. Родители были в полном недоумении. В свои двенадцать лет я тогда мало задумывался об этом, много позднее я понял, как сработала неумолимая, но заскоружлая административная система. Наверное, низовые начальники уровня партторгов предприятий, увидев собирающихся людей, бросились звонить кому-то наверх, а те в свою очередь принялись звонить ещё выше, а «наверху» скорее всего просто спали после этой ночи. (Хотя масштаб события несопоставим, но спустя несколько десятилетий, в самом конце советской эпохи, мне пришлось участвовать в подобном событии. Я тогда работал в газете «Голос Родины», выпускавшей для соотечественников за рубежом. Много мы писали о том, как советские люди поддерживают Фонд мира, жертвуют деньги на благородное дело. И вот как-то мы в редакции решили поступить так же и перечислить в Фонд мира квартальную премию. И что вы думаете — в ужасе прибежал к нам партторг Общества, кстати, бывший работник горкома партии: Что происходит? Чьё указание? Как ничьё? Как это сами решили? Кто зачинщик? И т. д.)

Сейчас всё это стало далёкой историей. Как я к этому отношусь? Проклинаю советскую систему или остаюсь её приверженцем? Отвечу: я поступаю по образцу мудрых китайцев, которые сформулировали проблему таким

образом: основатель Китайской народной республики и вождь компартии Мао Цзедун был прав на 70 процентов и на 30 процентов неправ. У наших российских руководителей не хватило ума для такого заключения, у них, как у малышей в детском саду — ты хороший или плохой? Сложность жизни им недоступна. Но я отвлекся от событий 9 мая.

О Дне Победы написано много, и я не буду повторять известное. Скажу лишь об отдельных запомнившихся мне, 12-летнему мальчишке, впечатлениях. Весь день я шатался по Москве (по центру — мы ведь жили на Патриарших Прудах) и ел мороженое. Мама дала мне много денег и сказала — ешь мороженого сколько хочешь, чтоб этот день тебе запомнился. (Мороженое было для нас вождеденным продуктом после сахарного голодания военных лет.) Я съел двенадцать брикетов. Хорошо помню, как на площади Маяковского (Триумфальной) услышал из громкоговорителя знакомый голос писателя Ильи Эренбурга (он часто выступал по радио в годы войны): «...Когда горела Варшава и рыдал Париж, они смеялись, а теперь смеёмся мы...» Намертво врезалась в память эта фраза. А вечером я стоял в толпе на Манежной площади, где шёл концерт. Помню пародийное выступление Ильи Набатова, но не помню — о чём. Зато никогда не забуду Леонида Утёсова, который спел песню про одессита-Мишку, бойца, который обещал прийти после войны, но не пришёл, «а он был человеком слова». Вокруг меня стояли и плакали советские офицеры и генералы, да, советские генералы, победители в величайшей войне, и они плакали. Такого впечатления от песни я никогда больше не переживал и никогда не видел такой реакции на неё. Прошло более полувека, воцарилось телевидение, вознеслись роскошные концертные залы, в мозги нам вбивали имена и образы всяких «примадонн» и «звёзд» (добавляя как доказательство их талантов описания принадлежащих им набитых барахлом дворцов), но никогда, никогда никто из них не заставил бы плакать победоносных советских генералов.

В те дни, как я понял позднее, во мне сформировалось чувство полного единства со своей страной, со своим

народом. Вечного, неразрывного единства. Конечно, в двенадцать лет я не произносил мысленно такие слова, повторяю, я понял это позднее, но это было именно так. И по прошествии многих лет строка из гениального стихотворения Николая Рубцова «чувствую самую жгучую, самую смертную связь» у меня, горожанина, столичного жителя, связалась не с северно-русским сельским пейзажем, а с Москвой-победительницей незабываемого сорок пятого.

В ноябре того же года я стал болельщиком московского «Динамо», которое совершило первый послевоенный выезд советских футболистов за границу, в Англию. Москва затихала в часы матчей — все слушали радиорепортажи знаменитого спортивного комментатора Вадима Синявского. Сейчас подробности всех четырёх игр можно легко найти в Интернете, а тогда это было что-то невероятное, невообразимое. Первый матч наши провели с командой «Челси» — кто бы мог представить тогда, что со временем её купит российский спекулянт Абрамович! С того ноября на три с лишним года футбол занял едва ли не важнейшее место в моих мозгах. Ну что ж, для подростка того времени это вполне нормально. Мы каждый день играли после уроков как правило самодельными мячами на произвольно размеченных площадках во дворах и на бульварах. И только летом, в пионерском лагере, приходилось играть настоящим мячом на настоящем футбольном поле. Разумеется, по тогдашней повальной бедности ни о какой специальной спортивной одежде и, главное, обуви, и не мечталось. В тёплое время играли чаще всего босыми ногами, чтобы не портить ботинки или сапоги (я ходил большей частью в сапогах). К концу летнего сезона ноги у нас были разбиты. В детской поликлинике нас лечили в основном зелёной. Словом, шла обычная пацанская, подростковая жизнь.

При этом в школе у нас дисциплина была строгая, прогулы уроков случались очень редко. Сейчас много говорят и пишут о травле школьников группами более сильных мальчишек, о том, что они отнимают у младших и робких

деньги, мобильники и т. д. Случается читать, что это, мол, неизбежные издержки подросткового возраста. Я считаю, что это чепуха. У нас в классе (для точности — в шестом классе) тоже завелась была такая агрессивная группка, как сейчас помню — Кравцов, Шеховцов и самый злобный Серёня (Сергей) Гробов — не помню, настоящая ли это его была фамилия или кличка. К ним примкнул и играл самую мерзкую роль ещё один мальчишка, инвалид, ходивший на костылях (забыл, как его звали). Именно он мог ударить слабого или отнять у него что-нибудь, не боясь получить в ответ — я, мол, инвалид, инвалидов бить нельзя. Но мы недолго терпели их произвол. Однажды посоветовались и решили это дело прекратить. Всё началось с меня — я не был героем, но так получилось. В тот день я впервые пришёл в школу в очках. Инвалид завопил — ах, мартышка очкастая, что-то ещё, сорвал с меня очки и швырнул на пол. Тут же двое наших выбили из-под него костыли, он упал и крикнул — вы что делаете, я же без костылей не могу. «А Баранов без очков не может», — сказали ему и вмазали пару раз. Тут прозвенел звонок, все расселись по местам. После уроков Кравцов и Шеховцов (Грובהа почему-то не было) схватили одного из тех, что заступились за меня, но мы примерно вдесятером окружили их и избили обоих как следует. Назавтра, хотя хулиганы не проявляли агрессии, мы избили всю троицу. И на следующий день ещё раз. Причём били жестоко, стараясь не тронуть лицо, а наносить удары по животу и ниже. (Мы уже знали, что в милиции смотрят главным образом на повреждения лица и рук, а трупы не снимают.) К тому же на Кравцове мы разорвали на куски его ветхое пальто. (Для справки, что называется — я, как и ещё несколько пацанов в классе, ходил зимой в телогрейке.) Через неделю вся троица исчезла из школы — видимо, родители перевели их в другую. Интересно, никакого обсуждения инцидента учителя и директор не устраивали, хотя наверняка знали все подробности. Инвалид стал тише воды, ниже травы и вскоре тоже исчез.

Когда я вижу в современных сериалах сцены из школьной жизни, где тройка-четвёрка негодяев избивает и грабит

маленьких или слабеньких, я поражаюсь инертности (вернее, трусости) основной массы ребят. Бить надо шпану, бить, как били мы. Кстати, случай, описанный выше, не был единственным в моей подростковой жизни. В пионерлагере завёлся был один гадёныш, который стал отнимать у младших мальчиков и, что нас особенно возмутило, девочек привезённые родителями лакомства. Я и ещё пара пацанов поговорили на эту тему с пионервожатым, тот сказал — разберёмся, но завтра ни меня, ни директора не будет. Мы правильно поняли намёк и в их отсутствие устроили гадёнышу тёмную, то есть накрыли одеялом и крепко избили. Пару дней он пролежал в медпункте, а потом до конца смены прожил паинькой.

Из сказанного не следует, что мои приятели и я в том числе были стопроцентно правильные и хорошие. Нет, и баловались, и порой хулиганили, и нарушали покой благонамеренных обывателей, говоря их языком — творили чёрт знает что. Но — никогда не переходили неписанные черты запретов. Драться после уроков на нашем жаргоне называлось — стыкаться. Выходили два петуха разрешить кулаками свой назревший конфликт, желающие посмотреть становились кружком вокруг. Дрались как следует, но — без применения каких-то сторонних предметов (камней, палок) и только до первой крови. Иные, если чувствовали, что боя им не выиграть, хватали с земли какую-нибудь железяку и тогда зрители прекращали поединок. Я тоже применял такую хитрость. Нередко после уроков мы вскакивали на крышу сарайчика, примыкавшего к находившимся напротив нашей школы Палашёвским баням (сейчас их закрыли) и стучали в окна женского отделения с воплями «эй, бабы, а ну покажись!» (главным движущим мотивом был не сексуальный, а хулиганский интерес). Прохожие поднимали крик — безобразие, шпана, милиция! — мы соскакивали и с гиканьем убегали. По пути возле булочной в Южинском переулке иногда стояла тележка со свежим хлебом, мы хватали её и катили, а за нами, матерясь, гнались пекари; при этом стащить буханку хлеба никому из нас и в голову не приходило. Ну,

и, конечно, играли в футбол во всех дворах и нередко нечаянно разбивали стёкла в окнах первых и полуподвальных этажей. Иногда ходили на стадион «Динамо», благо он находится недалеко (спортивного комплекса в Лужниках ещё не было). Деньги на билеты водились не у всех, мы старались протыриться без билета; лично моим излюбленным приёмом было бежать впритык за милицейской машиной, въезжавшей на территорию). Одно время я занимался лёгкой атлетикой на стадионе Юных пионеров (сейчас на его месте построен так называемый «Царский квартал» дорогих жилых домов).

В каникулярное время я чаще всего жил в другой нашей комнате, в доме на Ростовской набережной в районе Плющихи. Там мы ходили купаться через Бородинский мост на другой берег, где сохранился песчаный спуск к воде. Ходили в одних трусах, а по понятиям того времени даже 12–14 летние мальчишки в таком виде считались угрозой общественной нравственности и милиционеры пытались нас задержать, а скорее всего — делали вид. А мы убегали от них, петляя между прохожими. На нашем «пляже» было полно народу, хотя можно было попасть в сгусток краски из тех, что сбрасывали в реку промышленные предприятия. Между заходами в воду мы загорали, играли в карты (не на деньги) и покуривали. Иногда выполняли «спецзадание» нашего старшего, которому было уже шестнадцать или даже семнадцать лет. Он показывал на какую-нибудь девушку, стоя обсыхавшую на ветерке, и говорил — покажите мне эту. Мы, зайдя с разных сторон, бросались на неё, срывали всю одежду и разбегались. Старшой вразвалочку подходил к скорчившейся от стыда афродите, протягивал ей свою рубашку и говорил — пока оденьтесь в это, а я пойду, поймаю хулиганов. И через несколько минут возвращался с бюстгальтером и прочими деталями туалета своей избранницы. Так он знакомился с девушками, а мы возвращались к своим картам. Видимо, все мы были военными недокормышами, потому что, насколько я помню, выполнение «спецзаданий» не вызывало у меня сексуального интереса.

Параллельно этой дворовой жизни шла жизнь домашняя, в которой я помогал бабушке по хозяйству — стоял в очередях за продуктами, гулял с сестрёнкой, родившейся в 1946 году, читал, главным образом научно-популярную литературу в основном по астрономии и по истории путешествий, а также только что появившийся детектив «Тайна профессора Бурáго» Николая Шпанова (Тогда нынешнего изобилия книжек этого жанра ещё и не предвиделось.) Выходил он шестью выпусками, купить их было практически невозможно — ради них я записался в школьный читальный зал Ленинской библиотеки.

Ещё я много слушал радио. Напомню — телевидение ещё не появилось, а вот хороших радиопередач было немало. Для пацанов моего возраста наиболее желанным был цикл «Клуб знаменитых капитанов». До сих пор помню песню, с которой начинался каждый выпуск Клуба:

В шорохе мышинном,
В скрипе половиц
Медленно и чинно
Сходим со страниц;
Шелестят кафтаны,
Чей-то меч звенит,
Все мы капитаны,
Каждый знаменит.
Нет на свете далее,
Нет таких морей,
Где бы не видали
Наших кораблей.
Мы полны отваги,
Презираем лесть,
Обнажаем шпаги
За любовь и честь.
За любовь и честь!

В основном слушал я по радио советские песни — это было время их расцвета, имена Лидии Руслановой, Клавдии Шульженко, Леонида Утёсова, Георгия Виноградова,

Марка Бернеса и других исполнителей навсегда сохранились в памяти. А вот на фамилии композиторов и авторов текста я по малолетству не обращал особого внимания. Это потом я осознал гениальность таких творцов, как Василий Павлович Соловьёв-Седой и Алексей Иванович Фатьянов. И ещё два слова о великой русской певице Лидии Руслановой. Помню, перед тем, как стало известно, что её посадили, появились издевательские статейки о ней. Например, какой-то козёл прицепился к одной исполнявшейся ею частушке

И на кофте кружева,
И на юбке кружева,
Неужели я не буду
Лейтенантова жена?

Автор возмущался — советскому офицеру, прошедшему от Сталинграда до Берлина, нужна достойная подруга, а не девка с кружевами на юбке. Уже в том возрасте я понимал, что писал это мерзавец. У нас в семье не было патефона, но у знакомых я часто слушал пластинки, и через них проникался настроениями Петра Лещенко, Вадима Козина, Александра Цфасмана и танцевальной музыки 1930-х годов. Классики тогда я практически не слушал, если не считать передававшиеся по радио сборные концерты Сергея Яковлевича Лемешева, Ивана Семёновича Козловского, Максима Дормидонтовича Михайлова, Константина Николаевича Лаптева и других великих певцов того времени, которые исполняли произведения как оперного, так и эстрадного и народного репертуара.

«ЮНОСТЬ СТАЛИНСКОЙ ДЕРЖАВЫ»

Заголовок этого раздела я взял из своего стихотворения, написанного в 2013-м и обращённого к 1952-му, но по настроению вполне подходящему к описываемым здесь послевоенным годам:

«...Мы — это юность сталинской державы.
Отечеством гордились мы по праву
И лучшим в мире солнцем над Москвой.
Мы презирали перелётных птиц,
Погнавшихся за иностранным кормом.
Своя страна — отсчёт, мерило, норма
В мечтах, в стихах и в шорохе ресниц».

(Словосочетание «в шорохе ресниц» не случайно — в те годы огромной популярностью пользовался спектакль образцового кукольного театра «Под щорох твоих ресниц».)

Возрастная ломка, то есть переход от подросткового к юношескому периоду жизни у меня совершился, как я теперь вспоминаю, в 8–9 классе, то есть в 15–16 лет. Постепенно я терял интерес к футболу, вызывая недоумение приятелей — как это не слушать трансляцию матча «Динамо» — «Спартак», не говоря уж о том, чтобы отказаться пойти на стадион? Стал больше читать, постепенно меняя круг чтения, причём не по чьим-то наставлениям, а по собственному хотению. Впрочем, наверное, так мне казалось, а на самом деле на меня оказывали влияние бабушка, незабвенный наш учитель Евгений Рудольфович и одноклассник Юрка Мамлеев. Бабушка, самый любимый мой человек, незаметно подсовывала мне книги хороших русских писателей, разговоры о которых искусно связывала с событиями своей жизни. Например, она рассказывала, как, будучи сельской учительницей на юге России, своими глазами видела «русского Робин Гуда» — Сашку Жигулёва, о котором написал целую повесть Леонид Андреев. Или рассказывала о том, как мой дед, к тому времени покойный, пошёл в молодости на выступление футуристов, в том числе Маяковского — верзила в жёлтой кофте вышел к публике, молча постоял на авансцене, плюнул в зал и величественно удалился. И сколько потом племянник-студент (впоследствии погибший на фронте) ни уговаривал дядю Васю прочесть лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи,

дед отмахивался — я, мол, видел этого хулигана своими глазами.

Евгений Рудольфович одними авторами и книгами искусно заинтересовывал, а от других отвращал, как, например, навсегда развенчал в моих глазах Ильфа и Петрова, «шедеврами» которых («Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок») в те годы многие увлекались. Иногда он искусно совмещал разговор о литературе с темами из других наук. Вот пример. Он обратил наше внимание, как Горький, громя мещанство, рассказал, что его герой (кажется, это был дед Каширин) из жадности колот спички на четыре части. Вот бы все брали пример с этого человека, говорил Учитель, сколько лесов сохранили бы! И предлагал решить «элементарную арифметическую задачу»: вычислить объём трёх четвертей спички, умножить на число сэкономленных «мещанином» и на число его последователей, подсчитать, сколько кубометров древесины сохранилось бы, а отсюда — сколько деревьев не были бы спилены и какую площадь лесов они бы составили. И мы с энтузиазмом принимались за подсчёты. Говорил он и вещи на грани крамолы (как я теперь понимаю): например, что в прежние века только богатые люди могли заниматься наукой, ведь не все богачи были дармоедами и гуляками.

А у Мамлеева в доме осталось несколько книг от отца, профессора психологии, который, как говорил мой приятель, «пропал» (и только годы спустя сказал мне, что он был репрессирован). Из этих книг я помню томик Ницше и «Закат Европы» Освальда Шпенглера. Кроме того, мать Мамлеева сдавала «койку» студентам Литературного института (они жили в квартале от него), и мы имели возможность листать многочисленные поэтические сборники постояльцев и их коллег. Сочинения такого рода мне категорически не нравились, а нравился Маяковский. Эти подробности я привожу к тому, что именно тогда я начал кропать стишки. Ни один из этих текстов у меня не сохранился, но я помню, что это были неуклюжие попытки сочинить что-то ни на что не похожее. Помню, писал про какого-то брильянтового крокодила с изумрудными

глазами. Впрочем, одна более-менее приличная строфа застряла в памяти:

Демисезонные дырья
Греться в кино зовут.
Пошёл бы — но там Пырьев,
Пошёл бы — но там Голливуд.

Притом, что и пырьевские и голливудские фильмы мне нравились.

Кстати о голливудских. Они шли во множестве, предваряемые титром «Этот фильм взят в качестве трофея при штурме Берлина в 1945 году». Одна наша соседка по коммунальной квартире работала билетёршей в кинотеатре «Москва» на площади Маяковского, и пускала меня бесплатно на дневные сеансы смотреть фильмы с Диной Дурбин и другими звёздами того времени. А на вечерние мы добывали деньги сами: днём покупали, а вечером перепродавали. Видишь — лейтенант с девушкой спрашивает лишний билетик, подходишь: «Товарищ капитан (!), вот мне папа велел обязательно достать билеты на этот фильм, их не было, пришлось купить у барыги, а папа заболел...» «Ладно, парень, давай, сдачи не надо...» Три таких операции — и набирается на билет и на мороженое...

Но я отвлёкся от стихов. Спустя много лет мне приходилось в разных редакциях знакомиться со множеством сочинителей и их поэтическими биографиями, и я благословляю судьбу, что начинал я не со всхлипываний о неудачах первой любви. Может быть, потому, что её ещё не было. Но вскоре она пришла, когда мама решила, что меня пора познакомить с какой-нибудь «приличной девочкой». Именно такую она усмотрела в моей ровеснице, дочери своей коллеги по работе; ещё раз напоминаю, что обучение было раздельным, а от «уличных знакомств» мама не ждала ничего хорошего. При первой встрече (совместный поход в кино) кандидатка в подруги мне не понравилась, но обе мамы решили продолжить давление, и вскоре была устроена встреча «на той территории», за чаем. Тут-то

Амур и пронзил мне сердце: с первого взгляда я влюбился не в «приличную девочку», а в её старшую сестру. Ей было двадцать три года, на восемь лет больше, чем мне, она уже кончала институт. Видимо, старшие не заметили переворота в моей душе и договорились провести лето на одной съёмной даче. К счастью, на моём баловстве со стихиками эти события не отразились..

Летние каникулы с восьмого на девятый класс я провел под одной крышей с С.В. (обозначим мою первую любовь её девичьими инициалами). Мне казалось, что я хитёр и сдержан, что никто не замечает моих чувств, но спустя несколько лет мама рассказала мне, что знакомые приезжали на дачу не только «подышать воздухом», но и позабавиться, наблюдая, с каким обожанием я смотрел на свой предмет и с какими интонациями я с ней говорил... А ещё в то лето я стал много читать — хороших книг, в основном русскую классику. Этому способствовали и события в школе. К нам пришла новая учительница литературы Тамара Константиновна Кадьмова (царство ей небесное!), учитель от Бога, и она задала нам на лето прочесть целую кучу книг. Причём сказала — если кто не прочтёт, наказывать не буду, за это их жизнь накажет, но буду счастлива, если кто из вас моё задание одолеет. Я одолел — и стал заядлым книгочеем. Тамара Константиновна завоевала авторитет нестандартными, как бы теперь сказали, методами. Как-то один из учеников в ходе беседы с ней заметил, что учителя живут в высоком мире и не знают жизни так, как знают её некоторые школьники. На это Тамара Константиновна усмехнулась и сказала — во время войны меня мобилизовали в милицию, я служила в отделе по борьбе с проституцией и такого навидалась, что не дай Бог тебе такого повидать. Но главное — её суждения о литературе.

Среди книг, которые она нам «задала» прочесть за лето, не было поэзии — не знаю, почему. А чуть ли не в первый день девятого класса, 1 сентября 1948 года, Мамлеев обрушил на меня Есенина, с которым сам только что познакомился — прочитал наизусть в школьном дворе (хорошо это помню) гениальное стихотворение «Грубым даётся

радость, нежным даётся печаль...». Наверное, приземление инопланетного корабля не произвело бы на меня столь сильного впечатления. А после ближайшего урока литературы я поспешил поделиться обретенной радостью с Тамарой Константиновной. И получил полную поддержку. Я рада за тебя, сказала она, Есенин — великий русский поэт, второй после Пушкина, это гений из гениев. Читай его каждый день, ищи его книги, не верь, если тебе попадётся что-то плохое, написанное о нём. И не только в частных разговорах, но и на уроках Тамара Константиновна говорила о Есенине. Да, так было, и это в те годы, когда космополитическая сволочь в лучшем случае пыталась замолчать великого поэта, а в худшем — открыто клеветала на него. (Впрочем, и сейчас Есенин «под боем», но положение всё-таки лучше, на него лают лишь открытые русофобы.) Ещё пример наставлений моей незабвенной учительницы — будь осторожен, приводя в качестве доказательства «а я сам читал...» Мало ли кто где чего может написать! Многим, очень многим обязан я Тамаре Константиновне.

В девятом классе, весной 1949 года, меня «догнала война». Так сказал врач, который после того, как я стал падать в обмороки, обследовал меня и поставил диагноз — сильнейшее малокровие по причине многолетнего недостаточного питания. И впервые в жизни меня положили в больницу. Из больничного опыта помню один знаковый инцидент. Рядом со мной в восьмиместной палате лежал важный дядька из исполкома, к нему ходили решать хозяйственные вопросы разные люди. Естественно, он первый читал палатную газету «Правда» — да, да, тогда её доставляли ежедневно в каждую палату. И как-то, закончив читать, он сказал мне — вот мечтаю: однажды разверну газету, а там написано «В Америке революция». По сравнению с ним я был щенком, мне только что стукнуло шестнадцать, но я остро понял — какой же он дурак, этот важный начальник. Я тоже читал газету «Правда», но видел в ней иное — шла холодная война, США грозили нам атомной бомбой, которой у СССР ещё не было, только

что, 4 апреля, образовалась НАТО... Какая, к чёрту, революция в Америке! Осознание глупости толстопузого начальничка стало важным событием моей внутренней жизни — я «отвязался» от авторитетов, стал подвергать сомнению многие казавшиеся ранее незыблемыми постулаты.

Если этот текст попадётся в руки какому-нибудь либералу, пусть он не ожидает, что я сейчас скажу — это был поворот на путь антисоветчины. Нет, этого не произошло, но некоторые догмы я отринул. Так, вскоре я своим умом дошёл до мысли, что принятая тогда формула об искусстве «национальное по форме, социалистическое по содержанию» — абсолютная глупость. Что на самом деле всё наоборот — искусство выражает душу народа, то есть национально по содержанию, а по форме, в зависимости от эпохи, может быть социалистическим, монархическим, каким угодно. И потом, к сожалению, нередко приходилось вспоминать исполкомовского начальничка из больницы 1949 года. Когда, например, уже в XXI веке спикер Государственной Думы генерал Грызлов гаркнул: «Паррррламент — не место для дискуссий!..»

Подлечить малокровие, казалось бы, лучше всего было в санатории, но у нашей семьи таких возможностей не было, и меня со знакомым топографом отправили в качестве его рабочего на Украину. Экспедиция работала в селе (название которого я не помню) между Новоукраинкой и Уманью. Я и мой напарник — взрослый парень из местных — с рейками в руках таскали на спине теодолиты (довольно тяжёлые приборы). По селу распространился слух, что карту снимают потому, что хаты снесут, а на их месте будут «шахты бить». Хозяева спускали на нас собак, а мы отбивались рейками, стараясь ударить пса в раскрытую пасть. С тех пор естественный для человека страх перед агрессивными собаками у меня значительно поубавился. К тому моменту прошло пять лет с тех пор, как я жил в селе (в Северном Казахстане в 1944-м), и я принял окружающее не без удовольствия. Особенно мне нравилось, когда напарник мой давал мне покататься на лошади — целых пять лет я не испытывал этого наслаждения! Жил

я у хозяйки, одинокой вдовы, её кормёжка (ах, какие она варила вареники с творогом на завтрак, какой борщ на ужин!) была очень вкусной и не по-московски обильной. С собой на работу она давала мне шматок сала граммов на триста и краюху хлеба. А в обеденный перерыв плюс к тому я покупал в ближайшей хате десяток (!) свежайших яиц и кринку молока. Напарник уверял меня, что выпить десяток яиц перед обедом совершенно необходимо. В результате я поправился лучше, чем в каком-нибудь шикарном санатории.

Узнал я кое-что новое и из области политики. Напарник мой ездил во время оккупации на заработки в Германию и привёз много барахла. Я удивился — по моим представлениям туда угоняли силой, как рабов. Да, оно так, ответил напарник, но это потом, а сначала приглашали добровольцев показать сельчанам, что дело выгодное. Я записался первым и потом рассказывал о Неметчине. А немцы — дурни: заходишь в лавку, просишь чего-то принести, хозяин уходит, а ты с полки хвать-хвать... А как-то напарник, когда мы сидели-трапезничали на краю оврага, сказал мне: вот на этом самом месте немцы «жидив постреляли». Кого, не понял я. Жидив, евреев по-вашему. Душ пятьсот, с пулемёта. Всех постреляли, и старых, и малых...

Надо ли говорить, что мне стало не по себе.

Вскоре я вернулся в Москву, привезя с собой полчёмодана сала (хозяйка помогла мне выбрать на рынке получше) и штук триста яиц — видно, советы моего напарника о пользе сырых яиц перед обедом не прошли даром. Увы, почти все они оказались тухлыми. .

В десятый класс (хорошо это помню) я пришёл с особым чувством — остро осознавая, что это последний год школы, что скоро старая жизнь кончится и друзья-приятели разлетятся, как птицы. Не случайно через несколько лет в одном моём стихотворении появится строчка «Милый десятый класс».

25 сентября 1949 года произошло событие, определившее всю дальнейшую историю XX века, да и сверх того: на Семипалатинском полигоне было успешно проведено



испытание советской атомной бомбы. До того ядерное оружие было только у США, чей президент Гарри Трумэн торжественно заявлял, что бомбу вручил Америке сам Господь Бог — для руководства миром. О бомбе много говорили в годы атомной монополии США. Памятный для меня пример: первое слово, произнесенное моей сестрой Олей, родившейся в 1946 году, было — «бомба». А в памятный день сентября 1949-го по дороге в школу я столкнулся с моим другом Юрием Мамлеевым. Он обнял меня (что было совершенно необычно) и радостно крикнул: «Юрка, ты слышал, ты слышал? Теперь жить будем! Наши сделали атомную бомбу! Жить, жить, жить будем!» Удивительное дело: мы, тогдашние шестнадцати-семнадцатилетние юнцы, лучше понимали центральную проблему геополитики, чем многие нынешние увенчанные учёными степенями и высокими должностями «политологи» и раскрученные до небес писатели пошиба Солженицына. Сей нобелевский лауреат, именем которого названа улица в Москве и многое другое, наваял роман о том, что атомную бомбу ни в коем случае нельзя было давать в руки ненавистного ему СССР, и это паскудное сочинение было не только многократно растиражировано — экранизировано и не раз показано по телевидению. Неужели мы с Мамлеевым были настолько умными? Да нет же — мы просто здраво мыслили, мы были нормальными людьми, которые хотели жить в своей стране, а солженицыны — продажные твари, вражеские агенты. Вот и всё. Конечно, не мы сформулировали возникший вскоре термин «равновесие страха», но суть наших тогдашних рассуждений сводилась именно к этому. Не знаю, как дальше пойдёт история, но атомная бомба в руках СССР дала возможность жить нашим поколениям. Только она. Не будь её, мы бы давно сторели в «русских хиросомах». Ведь солженицыны никогда не говорят, что в те годы в США один за другим составлялись планы атомного нападения на нашу страну.

В десятом классе у меня всё шло как-то легко. На всё хватало времени — и на хорошую учёбу, и на все увлечения. Семья наша жила в страшной тесноте, так же и семья

моего друга Бориса Элконина, и мы часто сидели за уроками в библиотеке. В середине занятий покупали по плавленому сырку, который запивали газировкой. И ничего! (Тогда ещё не появились возможности выпить в магазине стакан кофе с булочкой.)

То ли в октябре, то ли в ноябре я каким-то образом узнал, что в МГУ набирается кружок юных журналистов, пошёл туда и записался. Никакого особого интереса к журналистике у меня не было, пошёл просто из любопытства (в том возрасте энергия бьёт через край) и записался. На первом же занятии моё внимание привлекли две красивых девушки; кто бы мне сказал, что дружба с одной из них, Ириной М., продлится всю мою жизнь! Для доклада я получил тему — Белинский, проштудировал «классика» и проникся к нему глубокой неприязнью. Но своей очереди делать доклад я не дождался — кружок внезапно распустили без объяснения причин. Прошёл слух, что нашу руководительницу СталИну Борисовну арестовали, но достоверно ли это, я не знаю. А вот знакомство с двумя подругами сохранилось, я подключил к нему Бориса Элконина. Ни у него, ни у меня телефона не было, а у обеих девчонок был, и мы с Борисом каждый день после уроков заходили в телефон-автомат на Пушкинской (ныне Страстной) площади, рядом со школой, и подолгу разговаривали.

Родители у Иры М. были строгих нравов, они захотели узнать, что за кавалер появился у дочери, и они предложили встретить у них новый 1950 год. «Смотрины» прошли, судя по всему, успешно. Один только раз Ира скорректировала наше поведение — когда среди принесённых нами заметила пластинку Петра Лещенко: «Это не надо, мама услышит — огорчится, и мне попадёт». (Родители деликатно чаёвничали в соседней комнате.) Пётр Лещенко был тогда хоть и под запретом, но необычайно популярен, а пластинки его в большом количестве привезли из-за границы фронтовика. Впрочем, я оговорился — не тогда, а всегда. Через несколько десятилетий, кажется, в начале 1990-х, я был на концерте Аллы Баяновой, вернувшейся из-за границы в СССР — в ныне снесённом киноконцертном

зале «Россия» в Зарядье. Выйдя на сцену, певица сказала: «Этот концерт я посвящаю памяти Петра Лещенко». Если б вы знали, какими овациями огромного зала были встречены её слова!

ТЕ ЗВЁЗДЫ НЕ МЕРКНУТ

В последние дни 1949-го я провернул одну жульническую, можно сказать, операцию. Школьный комсорг дал мне задание сходить в райком комсомола. Я пошёл, оказалось, что надо взять полагающиеся нашей школьной организации бесплатные билеты в театры на дни зимних каникул. Выбери сам, сказали мне — хоть по одному на разные спектакли в разные театры, хоть все на один — устройте культпоход. Я спросил — а в Большой театр есть? Да ради бога! Я быстро сориентировался и набрал по четыре билета на десять или двенадцать посещений Большого. Школьный комсорг в суматохе даже забыл спросить, зачем вызывали в райком, а я промолчал. В результате мы с Борисом Элconiным и двумя нашими подругами просмотрели весь репертуар Большого театра с одних и тех же мест в четвёртом ряду партера! Вокруг нас сидели в основном генералы, важные дядьки со множеством орденов на пиджаках и шикарные дамы. С удивлением они поглядывали на нас. Девчонки наши были в коричневых гимназических платьях, а мы с Борисом — в байковых лыжных костюмах за неимением других. О Боже, какое это было пиршество — мы видели и слышали гениальных мастеров русского искусства — Уланову, Лемешева, Козловского и других замечательных артистов. (Кстати, до этого я только раз был в Большом — мама достала мне билет на «Ивана Сусанина», и я сразу стал поклонником оперы — этим объясняется мой выбор билетов в райкоме комсомола.) Дома я с энтузиазмом рассказывал о спектаклях, упомянул как-то и о том, что наша четвёрка выглядела чужеродно в генеральском окружении первых рядов партера, и мама с усмешкой спросила меня — а тебе не приходило в голову однажды пригласить в театр С. В.?

Я смутился и — удивился: как быстро её выдуло из моей головы...

В Большой мы ходили, естественно, вечерами. А днём в тот же морозный январь 1950-го мы ходили в Третьяковскую галерею, и это тоже было связано с нашими подругами. Ирина М. жила в двух шагах от знаменитого здания в Лаврушинском переулке, мы с Борисом оставляли у неё пальто и бегом бежали в Третьяковку. Дело в том, что туда стояли на улице длинные очереди, и билет продавали после раздевалки. А мы как зайцы бежали мимо очереди в своих байковых лыжных костюмах прямо к кассе. Галерею мы обследовали дотошно, каждый день изучая по нескольку залов.

А история с «райкомовскими» театральными билетами имела продолжение. Вскоре к Борису Элконину обратилась за помощью соседка по подъезду. Её сын-балбес три раза оставался за неуспеваемость на второй год и теперь, будучи нашим ровесником, учился всё ещё в седьмом классе. Женщина мечтала, чтобы он закончил семилетку, а так как справиться с ним не могла, попросила Бориса заставить его учиться любыми методами, скорее всего битьём. И мы вдвоём взялись за это дело. Сначала балбес не поверил, что «учителя» в самом деле будут его бить, но после двух-трёх раз вынужден был начать учить уроки. Мать оболтуса работала театральным кассиром и расплатилась билетами. И второй раз за сезон наша четвёрка несколько раз побывала на хороших спектаклях — в Большом (правда, не в партере), в Малом и во МХАТе. Все знакомые мне люди с пренебрежением отзывались об оперетте — это, мол, вульгарное упрощение оперы. И тайно от всех я решил познакомиться с этим искусством и купил один билет в «театр для торгашей». Априори я был настроен более чем скептически, но когда рыжеволосая красавица Регина Лазарева запела «Частица чёрта в нас, / В сияньи наших глаз...», я понял, что мои наставники были неправы, что и в оперетте есть своя прелесть.

Незадолго до окончания школы довелось мне принять участие в классовой борьбе. До того я по наивности считал,

что она в нашей советской стране ушла в прошлое. Но пришлось убедиться, что я ошибался. Дело было так. Один мой одноклассник (назовём его К.) влюбился (втюрился, как мы выражались) в девушку из соседней женской школы, куда мы ходили на уроки танцев. Я уж не помню всех подробностей развития его «романа», то есть гимназических прогулок по улицам, всё было стандартно, пока девушка не пригласила К. в гости (или он сам напросился). И вот он пришёл и был встречен в коридоре отцом девушки; она тоже вышла из своей комнаты. Отец, солидный мужчина, с первых же слов стал расспрашивать молодого человека о его семье. А у К., насколько я помню, отец был механиком на заводе. Услышав это, важный папаша сменил вежливый тон на жёсткий и даже насмешливый и сказал примерно следующее: Молодой человек, но вы же должны понимать, что попали не по адресу, вы находитесь в доме ответственных работников, моя дочь вам этого не сказала? Ну так я вам скажу — ищите себе подругу в ваших кругах общества, так будет лучше для всех, а сюда больше не приходите.

К. ничего не оставалось делать, как уйти. Случилось так, что через пару минут на улице он встретил нас с Борисом Элconiным и всё нам рассказал. Мы спросили его — а как девушка? Она молчала всё время, с обидой ответил наш одноклассник. Поговорив, мы разошлись, и Борис, крепко выругавшись, высказал мнение, что так это дело мы оставлять не должны, мы должны отомстить. Я согласился.

И через пару дней, взяв в помощники парня с гитарой, мы осуществили наш план. Квартира, где произошло унижение нашего товарища, выходила окнами во двор, и чтобы туда попасть, «буржуйскому папаше» надо было по переулку обогнуть весь дом, довольно длинный. Всё это мы тщательно рассчитали, перелезли через забор, попали во двор с другой стороны и забрались на крышу сарая, с которой просматривалась «буржуйская» квартира. И под аккомпанемент гитары мы с Борисом исполнили хулиганский текст, что-то вроде «Танька Бакатина (имя и фамилия изменены) всем даёт и так и эдак, ей бы лишь бы деньги платили» и т. д. и т. п. После этого мы смылись

и уже из переулка видели, как во двор вбегал солидный мужик с палкой в руках... У нас хватило ума не рассказывать несчастному влюблённому о нашей акции в рамках «классовой борьбы».

Так проходил последний школьный год. И скоро он закончился. Мы сдали экзамены и получили Аттестаты зрелости. Прошёл выпускной вечер, а после него неофициальная попойка нашего десятого «Б», но я на неё не пошёл — всю ночь с Ирой М. мы прошатались по центру Москвы. Борис убеждал меня не делать этого. Прощание с классом неповторимо, говорил он, а девушки в нашей жизни будут меняться. Но я его не послушал, и до сих пор не знаю, правильно ли я поступил. Скажите, к чему относятся слова песни «Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда»?

...Несколько лет после окончания школы мы приходили в неё в первую субботу после Первого мая. С удивительным чувством ступали по знакомым коридорам, вспоминая былое. С каждым годом, естественно, нас приходило всё меньше и меньше. Лет через пять-семь пришли только двое — мы с Борисом Элкониным. А на следующий год нас даже не пустили в здание — новый директор, некая дура-баба Кальнеболоцкая сказала: я знать вас не знаю, я вас не учила, освободите помещение, здесь вам делать нечего. Так для нас закончилась наша святая Сто Двадцать Вторая.

СТУДИОЗУС ПОЛЛИТРОВ

ЧУТЬ-ЧУТЬ О НАУКЕ

1 сентября далёкого 1950 года я стал студентом Московского электротехнического института связи (ныне — Академия Связи). Располагался он на Авиамо­торной улице (метро «Авиа­мо­торная» не было и в проекте) в дурацком комплексе из двух корпусов, который, если посмотреть с самолёта, имел вид эмблемы связистов той эпохи — серп и молот плюс молния. Молнию изображало здание общежития, ступенчатое в плане, а серп и молот — учебный корпус. Были, конечно, и большие лекционные залы, но семинарские занятия проходили в тесных комнат­уш­ках, рассчитанных на восьмерых, куда набивались группы по 25 человек. Это было наследие двадцатых годов (XX века, понятно) и царившей тогда бригадной системы. Она была введена по инициативе двух всевластных (как бы это помягче выразиться, заменим, например, первую букву) чудаков Луначарского и Крупской. Моя мама была студенткой в те годы и на собственном опыте познала «новаторство» руководителей Наркомпроса. Провозгласив целью «развитие коллективизма», они разбили студентов на бригады, как правило по восемь человек, и каждый сдавал один какой-то предмет, а полученную им отметку ставили всей бригаде. Поэтому, скажем, если было известно, что Петя Иванов будет сдавать высшую математику, остальные могли учить её или не учить — по собственному желанию.

Из-за этого идиотства 1920-х советские вузы наплодили множество полуграмотных ловкачей, а мы в 1950-х теснились на семинарах...

Вступительные экзамены я сдал легко, набрав 29 баллов из 30 (не подумайте, что экзаменов было шесть — их было восемь: в том числе три по математике, за которые ставилась общая отметка). Единственную свою четвёрку я получил за сочинение, что было мне крайне обидно, ведь я не сделал ни одной ошибки и в цитате из Маяковского правильно написал «ненавижу всяческую мертвЕчину», а преподаватель «поправил» это слово, написав «мертвЯчину», я же не осмелился спорить с «высокой инстанцией». Но обида задела моё самолюбие 17-летнего «знатока поэзии». А на экзамене по физике преподаватель спросил меня — а кто учил вас физике в школе? Я было испугался за репутацию нашего любимого Евгения Рудольфовича, но экзаминатор продолжил — мы напишем ему благодарность.

Нам рассказали, какие выдающиеся профессора будут нас учить. Конечно, для большинства из нас почти все имена ничего не говорили, но, забегая далеко вперёд, следует сказать, что подготовку специалистов наш институт давал очень хорошую, его выпускники высоко котировались в профессиональной сфере. На долю нашего поколения радиоинженеров пришлось крутые перемены, иначе говоря — техническая революция. Достаточно сказать, что нас учили ещё на основе радиоламп, а полупроводники читались факультативным курсом.

Среди наших наставников был профессор Вадим Владимирович Фурдуев, не имевший высшего и даже среднетехнического образования, но много сделавший для развития акустических систем; в те времена во многих кинотеатрах слева и справа от экрана стояли разработанные им усилители звука. Фурдуев происходил из высокообразованной семьи, но потерялся где-то на вокзале в годы Гражданской войны и пополнил армию беспризорников. Потом он стал лаборантом, изобретателем, учёным, а вот регулярно учиться — не довелось. От детства у него сохранилось

знание языков, он развлекался переводами не совсем приличных стихов древнеримского поэта Марциала. (Эти подробности я знаю потому, что профессор был соседом по коммунальной квартире с семьёй моего институтского друга-однокурсника Андрея Иванова.) Блестящим специалистом по антеннам был Сергей Иванович Надененко. Помню одно из его наставлений: «В нашем деле, в связи, очень важна точная передача сигнала. Иногда бывает, что пропажа пары знаков совершенно меняет смысл сообщения. Например — „обедал“ и „не обедал“». Надо ли говорить, каким взрывом веселья встретила эти слова студенческая аудитория. Среди наших учителей были такие знаменитости, как профессор Александр Александрович Харкевич, крупнейший специалист в области звукозаписи профессор Исаак Евсеевич Горон и другие.

Добавлю, что не обо всех из них мы знали интересные подробности их биографий. Так, о доценте Бонч-Бруевиче ходили слухи, передававшиеся таинственным шепотом, что он — сын Ягоды (репрессированного в 1930-е годы обер-палача, бывшего наркома внутренних дел). Лишь много лет спустя я узнал из стопроцентно достоверного источника, что его настоящим отцом был Леопольд Авербах (родственник Ягоды, видный в 1920-е и начале 1930-х годов идеолог, ярый русофоб, творивший суд и расправу над русскими писателями). Работала у нас в МЭИСе и доцент Галина Николаевна Сталь, а мы и понятия не имели, что она — дочь Людмилы Сталь, революционерки, от чьей фамилии образовал свой партийный псевдоним Иосиф Виссарионович Джугашвили. (Кстати, этого не знают и многие нынешние «специалисты» и пишут, что молодой революционер взял себе псевдоним исходя из свойств стали как металла.) Почему-то эта деталь биографии вождя у нас не оглашалась, несмотря на весь «культ личности Сталина». Кроме штатных преподавателей, нам читали лекции приглашённые знаменитости, такие, как, например, академик Владимир Александрович Котельников, профессор Владимир Иванович Сифоров (тогда он ещё не был член-корреспондентом АН СССР).

И ещё об одном имени надо сказать особо. В числе ваших учителей, сказали нам при поступлении, будет Семён Исидорович Катаев, который изобрёл телевидение независимо от Зворыкина. Мой сосед по парте, парень с замашками эрудита, шепнул мне: «Этот Зворыкин, очевидно, сидит». Вскоре я купил англо-русский словарь радиотехнических терминов, и там прочёл: «zwoykin system — электронное телевидение», а вступительная статья к одному из учебников окончательно прояснила ситуацию: «Катаев изобрёл телевидение независимо от американца Зворыкина». Замечу попутно, что слово «электронное» в американском словаре не случайно — вначале были попытки создать механическое телевидение.

Это было за много лет до того, как малограмотные писаки пошиба Леонида Парфёнова, виляя хвостом перед Западом, принялись по всем телеканалам восхвалять Зворыкина и принижать заслуги нашего доброго учителя Катаева. Для неспециалистов поясню: оба великих русских инженера изобрели передающую трубку (икonosкоп) примерно одновременно, в 1931 году. Катаев на несколько месяцев раньше. Зворыкин воздал должное успехам советского коллеги, но трезво предсказал, что широкое практическое применение телевидения начнётся в США раньше, потому что его страна — богаче. Так и получилось. Телевизионный бум охватил Штаты в те годы, когда мы напрягали силы в борьбе с гитлеровским нашествием. Первый массовый телевизор появился у нас в 1949 году (в нашей семье — в 1952-м).

Московский профессор Катаев жил в мире коммунальных квартир, парусиновых портфелей, очередей за продуктами и переполненных трамваев. Жилплощадь ему выделили в здании общежития Института связи на Авиамоторной улице. Профессор часто приглашал к себе в гости любознательных студентов, увлечённых проблемами телевидения (я не входил в их число), вёл с ними интересные разговоры, а заодно и подкармливал — добрый был человек, Царство ему небесное. Но студенты не могут без шуток, порой не безобидных. Катаев любил

«тренировать мозги» своих учеников, наблюдая за телевизионным сигналом — к нему в окно спускался кабель с антенны, установленной на крыше. В случае появления помехи (а это было чаще всего) предлагал: давайте порассуждаем, откуда она взялась. А ребята, жившие в общежитии этажом выше, вставили иголки в профессорский кабель и подключили самодельный генератор, создававший сигналы разного вида. Потешались над изобретателем телевидения, который, конечно же, не мог распознать причин появления «пилы» или «трапеции» у себя на экране...

Ведущий специалист RCA (Рэйддио корпорейшн оф Америка) Владимир Козьмич Зворыкин (не Кузьмич, как нередко пишут невежды, а Козьмич), эмигрировавший из охваченной Гражданской войной России, жил в мире особняков, шикарных автомобилей и ломящихся от изобилия супермаркетов. Естественно, никаких шутников-студентов над его квартирой не было и быть не могло. Попутно заметим, что его боссом был другой наш соотечественник — Давид Сарнов (Дэвид Сарнофф), сволочь первой статьи. Его, потомка еврейских иммигрантов из Российской империи, не смущал пресловутый холокост, массовое уничтожение европейских евреев нацистами, он через нейтральные страны поставлял вермахту разнообразное радиооборудование, в том числе военного назначения. Ах, как оно нужно было на советско-германском фронте! Но Гитлер платил больше, а деньги не пахнут, так да! Американское государство наградило Сарноффа за успехи в годы войны, на торговлю с Третьим Рейхом внимания не обратило. С этим мерзавцем я, слава Богу, никогда не встречался, а Зворыкина видеть своими глазами довелось — на Американской национальной выставке в Москве в 1959 году. Его легко можно было узнать по бейджику, но я к нему не подошёл и не заговорил, потому что работал на секретном предприятии и не имел права общаться с иностранцами.

Не знаю, о чём мечтал Зворыкин, а Катаев своими мечтами делился с нами, своими студентами. Не знаю точно, через сколько лет это будет, говорил он, но это будет:

где-нибудь в маленьком рыбацком посёлке на берегу Охотского моря девушка-школьница увидит по цветному телевизору (будут цветные, будут!) трансляцию оперного спектакля из Большого театра и влюбится в классическую музыку, в высокое искусство. Она захочет стать певицей или музыкантом и осуществит свою мечту. И таких девушек и юношей будет много. В результате культура страны будет развиваться и расцветать, и наше с вами дело, телевидение, сыграет в этом процессе важную роль. Вот наша историческая миссия!

Ах, наш добрый, наш благородный учитель! Может быть, хорошо, что вы не дожили до тех лет, когда чистая и наивная девушка из рыбацкого посёлка на берегу Охотского моря будет получать по телевидению уроки пошлости и разврата, а оперные спектакли Большого театра будут занимать в телепрограммах исчезающе малое место...

Спустя годы, особенно после самоубийства СССР, множество раз приходилось читать о том, что-де тупые, злобные и невежественные коммунистические идеологи объявили кибернетику лженаукой, запретили её в СССР, что это нанесло огромный вред стране и т. д. Как выходец из мира, в котором эта самая кибернетика создавалась, имею право сказать — всё это вздор. Наши мудрые учителя просто переименовали кибернетику в теорию систем автоматического регулирования. Зачем? А вот зачем. В начале 1950-х годов, когда мы были студентами, в СССР издавалось множество иностранной, прежде всего американской технической литературы. В частности — дешёвые (что было важно для студенчества) книги «массачусетской серии» (так мы их называли). Никакого «железного занавеса» в нашей сфере не было. В литературе, кино и в музыке ограничения были, а здесь — нет и ещё раз нет. Во многих книгах разъяснялись задачи кибернетики. В одной из них (насколько я помню, в монографии Голдмэна «Автоматы») говорилось примерно следующее: В чём задача нашей науки — кибернетики? В том, что-бы исправить человеческое общество. Людям свойственны пороки — жадность, завистливость и т. д. Машины их лишены. Если правительство будет состоять

не из людей, а из машин, его можно будет запрограммировать на общественное благо. Автомат нельзя обмануть, дать ему взятку, сделать шпионом и т. д. Кибернетика — путь к справедливому обществу...

А теперь представьте себе, что этот текст читает какой-то инструктор ЦК КПСС, окончивший Высшую партийную школу или философский факультет МГУ. Что он доложит своему начальству? Нас с вами выгнать, а вместо нас поставить автоматы? Кому нужна такая наука? То-то же. Само собой, дальше предисловия «идеолог» прочесть был не в состоянии — там шли сотни каких-то непонятных ему формул и графиков. Но именно они были нужны нашим мудрым учителям, а не наивные философствования в предисловиях. Так слово кибернетика было объявлено лженаукой — слово, а не сама наука. Допереть до этого полуграмотные перестроечные идеологи пошиба Яковлева-Горбачёва были, разумеется, не в состоянии. Ну, и тем более журналистская шпана типа Коротича из «Огонька», «Московских новостей», «Известий», журнала «Знамя» и т. д.

...В институте я учился плохо: скоро мне стало ясно, что проблемы радиотехники меня не волнуют. Пиком стал второй курс. У нас сложилась молодёжная компания, в которой много пили. Пили обычно у кого-то из нас дома, если никого из старших не было. Частенько захаживали в пивные, которых тогда в Москве было много; по пути из нашего института до метро «Бауманская» (станции «Авиамоторная» ещё не было) насчитывалось восемнадцать пивных (особый «героизм», по силам немногим, заключался в том, чтобы в каждой из них выпить по кружке). В рестораны ходили редко: они стоили дорого, так же, как и знаменитый коктейль-холл на улице Горького (Тверской), единственный тогда в столице. Увы, скоро его закрыли — после фельетона «Плесень» в центральной газете. А вот в магазинчики «Азербайджанское вино» мы с Андреем Ивановым захаживали частенько.

Однажды, распивая там «Кюрдамир», мы с ним учредили звания «Литров» и «Поллитров». Решили так — кто кого

перепьёт, получит первое, кто окажется слабее — второе. Андрей меня перепил, и я таким образом был назван Поллитровым. Мы особо и не скрывали эту дурацкую затею, в результате клички прочно прилепились к нам. Кончилось дело плохо: меня исключили из института за неуспеваемость, и я пережил величайший позор — в МЭИС приехала хлопотать за меня моя мать. Ей удалось разжалобить Сергея Ивановича Надененко (по счастью, она попала к нему), и мне разрешили продолжить учёбу.

Правда, такого разгильдяйства, как на первом-втором курсе, я себе уже не позволял (прежде всего — сбавил, как говорится, алкогольные обороты). И попытки сменить вуз я не сделал. Экономика представлялась мне чем-то неинтересно-непонятным, медицина, куда меня звал мой закадычный друг-одноклассник Борис Элконин, ставший впоследствии выдающимся врачом, — пугающе-неприятной (резать гнойные нарывы, осматривать грязных старух — брр), гуманитарные науки — бесперспективными. Учителем или преподавателем ОМЛ (основ марксизма-ленинизма) я быть не хотел, а о других гуманитарных вариантах имел весьма смутное представление. Решил так — окончу институт, пойду работать, ослаблю финансовое бремя на родительских плечах (в семье подрастали две младшие сестрёнки), а там посмотрим.

НЕМНОГО ОБ ИДЕОЛОГИИ

Ко времени поступления в институт я уже кое-что пописывал, но относился к этому занятию, как к баловству. А вот читал много — и серьёзно. Из русских моим кумиром (как оказалось, на всю жизнь) уже стал Достоевский. Из западных писателей в то время я увлекался Анатолем Франсом. Решил также «следить за новинками», и, следуя стандартным путём, с первого номера 1950 года от корки до корки прочитывать номера журнала «Новый мир». Не ведал, что он отвратит меня от современности. До сих пор помню, что в первом номере была опубликована бездарная повесть Анатолия Рыбакова «Водители» — о борьбе

советских рабочих за повышение эффективности производства. Никто из нас, конечно, не мог предположить, что Натан Аронов, скрывшийся, как многие бесталанные евреи, под русским псевдонимом, через несколько десятилетий станет ведущим антисоветчиком, автором одиозных «Детей Арбата». (Говорю именно о бесталанных евреях; Борису Абрамовичу Слуцкому или Борису Леонидовичу Пастернаку и в голову бы не пришло отказываться от родового имени, а у Эпштейна, сколько его Голодным ни называй, стихата лучше не станут.)

Ещё в том же номере «Нового мира» я остро среагировал на статью некоего Виктора Важдаева «Проповедник космополитизма». Автор громил Александра Грина, которого мы в нашей молодёжной компании очень любили. Важдаев приводил, например, такой отрывок из гриновской повести — как лирический герой любит приходить в гавань и с волнением читает на корме кораблей названия далёких портов — Сан-Франциско, Копенгаген и т. д. Вот куда улетаёт мечта автора, — гневно восклицал Важдаев, — в страны НАТО, в города западного, капиталистического, империалистического мира! Космополит, нескрываемый космополит и т. д... К слову, главным редактором журнала был тогда Константин Симонов.

А теперь мне придётся перескочить в моём рассказе лет через пятнадцать. Я уже занимался переводческой работой под руководством прекрасного, ныне покойного специалиста — Григория Львовича Германа (он печатался обычно под псевдонимом Пермьяков). Однажды у него в гостях я встретил незнакомого мне пожилого человека. Тот представился: «Рубинштейн». А Григорий Львович пояснил: — Вы, возможно, читали его статьи, он пишет под псевдонимом Виктор Важдаев. Память меня не подвела, и я спросил — не вы ли писали когда-то в «Новом мире» статью «Проповедник космополитизма» об Александре Грине? Да, писал, — ответил Рубинштейн. Я спросил (вежливо, подчёркиваю — вежливо): вы писали это всерьёз? «Ай бросьте, — усмехнулся он, — в те времена за такие статьи хорошо платили!» Тогда я плюнул в чашку

чая, выплеснул её в гнусную морду «Важдаева», извинился перед хозяйкой, добрейшей Надеждой Осиповой, и направился к выходу. «Ничего, ничего, — бормотал Рубинштейн, утираясь салфеткой, — молодой человек погорячился...»

Но в начале моих студенческих лет до этого было ещё далеко, наша молодёжная компания просто возмущалась мерзкими измышлениями неведомого нам критика. Понятно, что такие публикации существенно охладили моё намерение следить за новинками. А вот желание писать не пропадало. Учебный год у нас начался 1 сентября, и вскоре комитет комсомола задумал провести поэтический конкурс к годовщине революции (7 ноября). Особенно суетился неприятный мне парень по фамилии Сорокин (после окончания института он стал партийным работником — его взяли в райком партии, не комсомола, а партии, что означало крупный шаг в карьере.) Он всем рассказывал, что пишет стихи, и давал почитать. Помню строчку из его скучнейшего и бездарнейшего стихотворения о Маяковском: «Поэт всегда был близок к народу».

Вступать в одну компанию с Сорокиным мне совершенно не хотелось. При этом надо сказать, что хотя к тому времени я уже много читал Маяковского, но не допёр до мысли, что и на подобные темы можно писать хорошо. И я уклонился от участия в комсомольской затее, но зато вместе с Андреем Ивановым задумал провести параллельный, неофициальный конкурс. Нет, нет ни в коем случае не антисоветский, просто — абсолютно вольный и как можно более юмористический. Нам было по семнадцать-восемнадцать лет, когда, как говорится, палец покажешь — и уже смешно. Выбрали тему — «воспеть» одну нашу студентку, у которой были разные глаза, один голубой, другой — синий. Мне присудили первое место за стихотворение

Он в этом баре ошивался,
Не чуя зада под собой.
Он синим глазом любовался,
Не отрицая голубой.

Желтело пиво в грязной кружке,
Они сидели у стола.
Она была его подружка,
Она не брезгуя пила.
Кончалось пиво в этом баре
И сердце гаркнуло «отбой!».
Он в синий глаз её ударил,
Потом ударил в голубой.

А назавтра меня вызвали на комсомольское бюро и впяли выговор. Первый мой выговор «за идеологию». Хорошо ещё, что я отделался просто выговором — мне пытались (кажется, тот же Сорокин) приписать авторство «безыдейного, вредного и политически неправильного» стихотворения про Льва Толстого. Слава Богу, нашлись нормальные люди, девушки, которые выступили против и подтвердили мои слова о том, что эти стихи декламируют нищие в электричке, которой мы ездили в институт с Казанского вокзала. (Кстати, именно девушки не раз выступали в мою защиту на подобных судилищах.) Это стихотворение я помню до сих пор:

Писатель русский знаменитый
Лёв Николаевич Толстой
Не ел курей и рыб убитых,
Зато любил народ простой.
Жена его Софья Андревна,
Она совсем наоборот,
Она кричала очень гневно
На весь советский наш народ.
Писатель русский знаменитый
Лёв Николаевич Толстой,
Под Севастополем убитый,
Давно лежит в земле сырой.
Жена ж его Софья Андревна,
Она совсем наоборот,
Она продалась ТрумЭну,
Теперь в Америке живёт

Позор, позор такой нахалке,
В неё презренье от людей,
А Лёв Толстой горит, как факел
Коммунистических идей.

Через несколько десятилетий один мой приятель-историк уверял меня, что эту песню написал его однокурсник, фамилию которого он не мог вспомнить. Что ж, вполне возможно. Но вернёмся в мои студенческие годы. Первый выговор меня не особенно испугал, и мы с Андреем Ивановым решили последовать примеру попрошаек в электричке. (Кстати, о Льве Толстом они распевали ещё одну песню, из которой мне запомнились только первые строчки:

Великий наш русский писатель
Граф Лев Николаич Толстой
Не кушал ни рыбы, ни мяса,
Ходил по аллеям босой...)

Мы с Андреем взяли в репертуар сверхпопулярную фольклорную песню, в авторстве которой нас никто бы не смог обвинить:

Позабыт, позаброшен с молодых юных лет,
Я остался сиротою, жизни, счастья мне нет...

Когда было настроение, мы снимали шапки и шли по вагонам, заунывно распевая эту песню. И нам подавали, как правило смеясь при этом. Одежда у нас мало отличалась от одежды нищих, но лица, конечно, не походили на физиономии пропойц. Иногда набирали на пиво. Правда, и на этот раз кончилось строгой беседой в комитете комсомола — нас настойчиво попросили «больше не компрометировать облик студентов нашего славного института».

Ещё раз повторю — никаких антисоветских настроений у нас не было, было одно баловство. В конце первого курса мы торжественно отметили первомайский праздник. Одна

наша однокурсница жила в доме, ныне отошедшем к Большому театру. Квартира, насколько я помню, коммунальная, но эта семья занимала громадную (по тогдашним меркам) комнату, где поместилось человек двадцать, а то и больше. Окно выходило на Большой театр, на Театральную площадь, то есть на самый центр Москвы. Первым взял слово Грант Габриелов из Армении. И сказал примерно следующее: «Я предлагаю поднять наш первый тост за человека, благодаря которому мы, дети разных народов, собрались вместе за этим дружеским столом, — за великого Сталина!» И все мы с огромным энтузиазмом и — подчёркиваю — совершенно искренне закричали «ура!». Сейчас прилитературные прощелыги, стремясь зашибить деньгу, пишут о том, что они якобы ещё с детского сада становились ярыми антисталинистами. Враньё всё это. Конечно, были какие-то вражески настроенные семьи, но не думаю, что они составляли какую-то ощутимую долю в народе. И сидели они тихо. А вот дураки, видевшие «контру» там, где ею и не пахло, тихо не сидели, напротив — стремились как можно громче заявить о себе, выдвинуться, быть отмеченными и награждёнными. Добирались они и до меня.

Вот пример. Мы готовили институтский вечер, и основным блюдом в программе самодеятельности была постановка по книге американского негритянского, естественно, прогрессивного писателя Лэнгстона Хьюза «Нравы белых». Говоря современным языком, фишкой этого замысла была музыка — запретная тогда джазовая музыка. Правда, в нашем институте этот запрет наловчились не то чтобы обходить — несколько ослаблять. У нас, как и во многих других советских вузах, учились испанцы (из тех, кого как детей республиканцев эвакуировали в СССР во время гражданской войны в Испании в 1936–1939 годы; среди них, чуть старше нас, был известный всей стране футболист Агустин Гомес.) Несколько человек из них играли на разных инструментах, одна девушка, помню её имя — Кончита Порес, хорошо пела. И под видом испанской народной музыки наш институтский оркестр исполнял танго, румбы и другие «западные» танцы. (К слову — в то время

на городских танцульках действовала норма «три бальных — один западный»; скажем, краковяк, па-де-патинер, па-де-грас, а затем фокстрот или танго.) Ну, а мы с Андреем Ивановым просили несравненную Кончиту читать нам стихи на испанском языке, прежде всего, конечно — Федерико Гарсиа Лорку...

Но я отвлёкся от рассказа о вечере. Наш друг, известный радиолобитель и коллекционер Слава Махонин предложил для постановки пластинки до того практически никому из нас неведомой Эллы Фитцджеральд. На предварительном прослушивании программы институтский парторг строго спросил — что это за певица? Негритянская, заверили мы его — в контексте разговора негритянская означало угнетаемая, а значит прогрессивная. А точно негритянская? — переспросил парторг. Слава показал фотографию пластинки. Программу утвердили. А назавтра нас троих (Махонина, Иванова и меня) вызвали в партком. Парторг рвал и метал: «Кого вы, такие-сякие, пытались мне подсунуть? Сторонницу самых реакционных кругов американского империализма, поджигателей войны?!» Мы ничего не понимали, парторг сунул нам свежий номер «Правды». А там была статья о предвыборной кампании в США, о том, что в империалистической стране президентские выборы превращаются в разнузданное шоу. И красным карандашом была обведена фраза: Певица Элла Фитцджеральд на митингах республиканцев поёт песню «I like Ike». Ай лайк Айк — мне нравится Айк (кличка генерала Эйзенхауэра). Как нам потом разъяснили знающие люди, видимо, парторг боялся огласки «политического дела» и поэтому никаких карающих документов нам не выписал...

Кто поспешил сообщить в партком о «злодеяниях» великой Эллы и нашей политической близорукости, я не знаю, но хорошо знаю, кто настучал на меня за любовь к Сергею Есенину. После второго курса, летом 1952 года, мы проходили подготовку в военных лагерях. Физически, конечно, было тяжело, но оставались силы на веселье, «на юмор». Так, мы с Андреем Ивановым перевели на английский язык нашу строевую песню «Москва-Пекин». Китайская

революция победила всего три года до того, отношения между нашими странами были превосходными. Весь текст я давно забыл, помню лишь, как мы передали строку «Сталин и Мао слушают нас, слушают нас, слушают нас»: «Stalin and Mao liss'n our song, liss'n our song, liss'n our song». Старшина одобрил нашу затею, изрёк нечто вроде «Пусть весь мир узнает о советско-китайской дружбе» и не возражал, если в общем ротном хоре будут звучать наши «английские» голоса.

Жили мы в палатках, в которые для удобства ната-скали сена. Соседом моим был мой однокурсник Виктор Ольшевский. Перед сном мы подолгу читали друг другу стихи — у нас обоих была хорошая память. А после лагерей на одном из комсомольских собраний Витя рассказал, что он просвещал меня, читая лучшие произведения лучших советских поэтов, а я растлевал его идейно-упадочными стихами Сергея Есенина. Нашлись ретивые активисты, которые предлагали исключить меня из рядов ленинского комсомола (что означало автоматическое изгнание из института), но большинство собрания горой встало за меня. Причём, насколько я понял, дело было не в политике: яростней всего на меня нападала одна особа (фамилию называть, естественно, не буду), с которой я незадолго до того прервал отношения, и девчат возмутило сведение личных счётов под идейно-политическим прикрытием. Возмутило их и то, что под раздачу попал и Андрей Иванов, который в лагерях служил в другом взводе, жил в другой палатке и «растлевать» Виктора Ольшевского есенинскими стихами никак не мог.

Это было, повторю, в 1952 году. А последний донос на меня за стихи был сделан в... 2012-м. Круглая дата получается! Дело было так. На международных литературных чтениях в Польше я оказался в одной компании с моим коллегой по «Литературной газете» Игорем Гамаюновым (известным журналистом и, мягко выражаясь, средненьким писателем). На Чтениях участники по очереди проводили творческие вечера. Провёл и я. После моего выступления Гамаюнов обрушился на меня не то что с резкой

критикой — с оскорблениями (вы не писатель, вы графоман, мракобес, я вам руки не подам и т. д.). Я сказал, что не желаю скандала и не буду отвечать на ругань, что, надо отметить, очень понравилось аудитории. Слушатели дали положительную оценку моему выступлению, а польский сопредседатель Чтений профессор Франтишек Апанович обнял меня и сказал, что воспользуется моими стихами и другими материалами в работе со своими студентами.

Но это не конец конфликта. В Москву мы вернулись в разгар жаркого июльского дня, и Гамаюнов с большим чемоданом поехал не домой, а в редакцию, где вылил на меня ушат своих обвинений, в ксенофобии и антисемитизме в том числе. Но никаких продолжений не последовало — злобные выкрики стукача были приняты равнодушно. Видать, 2012-й — это не 1952-й. И не только эпохой разнятся события, но и персонажами. Нам с Витькой Ольшевским было по девятнадцать-двадцать лет, нам с Игорем Гамаюновым — за семьдесят. Но всё равно юбилей — прошло ровно 60 лет с того времени, как Витя обвинял меня в его растлении есенинскими стихами. В этом промежутке мне не раз доставалось за стихи, но имён моих недругов я не назову — слишком много чести для них.

И ещё маленькое дополнение. Уже после всего я узнал, что за несколько лет до поездки в Польшу, вскоре после моего появления в «Литературной газете», Гамаюнов, случайно ознакомившись с моим сборником «Открытым текстом», «выражал возмущение» и призывал «дать мне оценку». Никто его не поддержал, и тогда эта информация до меня не дошла. Так и хочется привести цитату из Зошенко: «Он ничего не сказал, но затаил в душе некоторое хамство». Может быть, с юных лет у некоторых людей заводится в душе склонность к стукачеству. А может быть, срабатывает традиционное для многих русских людей деление на плюс и минус, на хороших и плохих, на наших и не наших, которое в разные времена принимало форму противостояния революционно настроенных и охранителей, красных и белых, сталинистов и троцкистов, космополитов и почвенников, ностальгирующих по СССР и его

ненавистников, демократов и патриотов и т. д. А иногда люди просто «не понимают жанра», скажем, в шутке ищут серьёзный политический смысл. Так в студенческие годы было у меня с одним юмористическим стихотворением, в котором была строфа

Бочком у двери деканата,
здесь я бессилён, как кастрат:
наш деканат помельче НАТО,
но агрессивней во сто крат.

Еле-еле я отделался тогда от «доберман-пинчеров» (помните у Алексея Толстого в «Буратино» образ доберман-пинчеров, «которые не верили никому и самих себя подозревали в государственной измене»?) Я до сих пор не знаю — эти злобные личности всерьёз полагали, что я ставлю наших милых сотрудников во главе с добрейшим Игорем Васильевичем Кушмановым на одну доску с кровавыми американскими генералами или просто хотели выдвинуться, раздув политическое дело. Но подонок Рубинштейн, о котором шла речь выше, уж точно, по его собственным словам, «просто» хотел заработать денег. И таких, как он, было много.

Помню, в перестроечные годы часто выступал по телевидению критик с местечковым акцентом (то ли Свободин, то ли Слободин — точно не скажу), который, саркастически усмехаясь, громил советские фильмы — ну разве такая была жизнь в колхозе, как в кинокартине «Кубанские казаки» или в «Свадьбе с приданным»? Таки нет! Я сцепился тогда с одним таким «знатоком народной жизни» и спрашивал его — а могут петь сложнейшие арии работницы табачной фабрики? Козел не понял, о чём речь, и сказал — нет. «А в „Кармен“ поют», — сказал я. «Так то — опера». «А „Свадьба с приданным“ — мюзикл», — говорю я. Мой оппонент не сдавался — тогда надо было предупредить в титрах, что в действительности такого не бывает. «А в голливудских фильмах пишут?» И что вы думаете? «Голливуд правдиво отражает американскую

жизнь», — ответил местечковый козёл. Много было у меня таких споров...

Но я далеко отошёл от студенческой поры. И этот раздел я хочу закончить давним воспоминанием из институтских лет. Как-то я выходил из учебного корпуса и одна моя однокурсница спросила, что за книга зажата у меня под мышкой. Я показал ей: Апулей, «Золотой осёл». Помню её раздражённую реакцию: «Опять читаешь всех этих!» Из вредности я усмехнулся: «Ты хоть знаешь, кто такой Апулей?» Она отбила удар: «Знаю! Не наш, не наш! Лучше бы Трифонова читал!». (Нам навязывали чтение повести Юрия Трифонова «Студенты», получившей в 1950 г. Сталинскую премию. Повесть отвратную, пронизанную ненавистью к русской интеллигенции, раздражавшую нас многими частностями, например, издевательским отзывом о песнях Петра Лещенко, очень популярными в народе и в студенчестве в том числе. Будущий кумир антисоветчиков был тогда зубодробительным соцреалистом.)

КОЕ-ЧТО О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

Из предыдущих главок можно заключить — и это будет справедливо — что происходившее у нас в Институте связи меня и не особенно-то интересовало. Внутренняя моя жизнь в значительной мере проходила не в МЭИСе и даже не в Москве. Почему? После военных лагерей 1952 года, я поехал по путёвке в дом отдыха «под Ленинградом». Точнее — «под Лугой». Не помню, до какой железнодорожной станции надо было доехать — меня больше интересовало, есть ли там, где купаться. Попутчики заверили меня — есть, твой дом отдыха стоит на берегу речки (название которой я тут же забыл). Мама, доставшая мне путёвку, работала в системе морского флота, поэтому большинство отдыхающих составляли рабочие и инженеры ленинградских профильных предприятий и организаций.

Двенадцать дней в том доме отдыха запомнились мне как непрерывное веселье — от танцев, купания, прогулок по лесам и т. д. до ловли раков в реке (помню, например,

как мы, молодые идиоты, подожгли дерево, стоявшее посередине лесной поляны, и плясали вокруг него.). А через двенадцать дней я продал вторую половину путёвки. Почему? Как я объяснил в телеграмме домой, мне захотелось поосновательней познакомиться с Ленинградом. Ведь я там раньше не был, по дороге на отдых проехал на трамвае от вокзала до вокзала и всё, а после окончания путёвки и до начала занятий в институте должен был два дня прожить у старушки-родственницы; но разве за два дня всё осмотришь? На самом деле всё было не совсем так или совсем не так, и причина моего внезапного решения была стара, как мир. А дело в том, что мне очень понравилась одна девушка, чьё пребывание в доме отдыха заканчивалось на половине моего срока и она уезжала домой в Ленинград. Ехали мы вместе, намереваясь увидаться завтра же. Прощаясь, девушка сказала: ты мне знаешь что подари на память — стихотворение (я уже читал ей свои вирши)... И обязательно о речке напиши — кстати, я забыла, как она называется...

Назавтра, заглянув в карту, я уточнил речкино имя — Оредеж... Если этот текст читает современный образованный человек, он, разумеется, воскликнет: «О, Оредеж! Набоковские места!» Но в 1952 году мне это название ничего не говорило, никаких ассоциаций не вызывало, так же как и название Рождествено, где сейчас музей Набокова. Напомню, что тогда ещё не была написана «Лолита», с чего в 1955-м началась всемирная слава писателя, сначала скандальная. Конечно, уже были созданы такие его шедевры, как «Дар» и особо любимый мной «Подвиг» — на русском языке, под псевдонимом Сирин. Кроме очень узкого круга специалистов, «допущенных» до сокровищ спецхрана, вряд ли кто-то в нашей стране это читал. А «Другие берега» ещё не вышли. Так что не надо удивляться, что в 1952-м, находясь в «набоковских» местах, ни я, ни моя подруга понятия не имели о существовании этого писателя, о его тоске по Батову и Рождественю, откуда он был изгнан революцией, о стихах, посвящённых реке Оредеж, о заросшем черёмухой овраге, давшем

строку знаменитому ныне стихотворению... Но я выполнил «заказ» — много, много лет спустя. Не буду пересказывать всю историю прозой, лучше приведу само стихотворение.

ЧЕТЫРЕ ХРИЗАНТЕМЫ ДЛЯ КАРЕН Б.

Каждый помнит какую-то русскую реку,
но бессильно запнётся, едва
говорить о ней станет: даны человеку
лишь одни человечесьи слова.
А ведь реки, как души, все разные... нужно,
чтоб соседу поведать о них,
знать, пожалуй, русалочий лепет жемчужный,
изумрудную речь водяных.

Владимир НАБОКОВ. «РЕКА»

(Берлин, 1923)

Она смеялась, ласками дразня:
«А коли любишь — так прославь меня!
Ты мне такие выдумай слова,
Чтоб повторяла их весь день листва,
Ты мне стихи такие напиши,
Чтоб их шептали ночью камыши,
И спрячь тетрадку с ними под копной,
Где целовались мы вчера с тобой, —
Как талисман, что здесь пришла любовь,
Что мы сюда приедем вновь и вновь.
И мне ещё, пожалуйста, потрафь:
Ты речку эту тихую восславь —
Мол, ей навеки благодарен ты
За все красоты, чащи и кусты,
За отпуск, лето, дни и вечера,
Эт сетерá, мой друг, эт сетерá...
Прославь же речку, милый мой поэт!
О ней нигде упоминаний нет;
И хорошо — не Волхов да Нева,
Понадобятся новые слова,

Ты их ищи, выдумывай, дерзай,
Вот только имя речкино узнай.
Я знала, да забыла — извини;
Спроси кого-нибудь и в справочник взгляни...»
...Я был ужасно молод и горяч,
Не верил в нерешаемость задач.
Я счастлив был, а потому и глуп.
О, этот запах сена, сладость губ!
О, лунные округлости в руке —
Купание в неведомой реке!
Восславлю ж речку с помощью поэм,
А то течёт, не знаема никем...
...Но весь любовный летний жгучий пыл
Осенний ветер мигом охладил,
И ни строфы во славию реки
Не написалось, клятвам вопреки.
Ах, как удачен был финал такой:
Ведь Оредеж — название речки той.
Вот был бы срам, неграмотная прыть
Себя Колумбом здешним объявить!
А мог свалить такого дурака —
Набоков был спецхрановским з/к.
Не знал я ни о нём, и ни о том,
Что он томится оредежским сном,
Что об «узорной, узкой» той реке
Давно писал в берлинском далеке,
Что «изумрудной речью водяных»
Он расцветил изгнаннический стих...
...Как странно судьбы сходятся у нас,
И для меня тот пламень не погас:
Ведь Оредеж и в той ночи костёр —
Одна из ностальгических опор,
Как Летний сад, Фонтанка и Нева,
Как прочие волшебные слова;
На них наш мир стоит, как на китах,
В чужих и в псевдорусских городах.
...Вот так, Набоков. Мы разобрались,
Взаимно вежливо друг с другом разошлись,

А Оредеж по-прежнему течёт,
«Жемчужный лепет» слышится из вод.
Его русалкам классик приписал,
А я б чуть-чуть не так истолковал:
То наша юность сыплет жемчуга
На взрослые «другие берега»
И вечно мне передаёт привет
От той, кого давно на свете нет...

Вечером следующего дня мы, как и договорились, встретились в условленном месте на набережной у Кировского (Каменноостровского) моста. Отмечался День Военно-Морского флота, на Неве в окружении дворцов стояли празднично разукрашенные военные корабли. Я совершенно обалдел от всей этой красоты, которую увидел впервые. Конечно, современные праздники гриновских Алых Парусов выглядят ярче и наряднее, но ведь то было так давно. И это стало началом моей ленинградской эпопеи, которой не суждено было кончиться. Я по-прежнему жил в Москве, учился в московском вузе, но Ленинград стал для меня не меньшей реальностью. Я не намерен рассказывать о связанных с ним делах сердечных — при желании всё можно узнать из моих стихов разных лет. А если кто возьмётся за это дело — пусть для начала прочтёт стихотворение «Фото сталинских времён» («Анжелика, Ляля, Карен — не московские повадки...» и т. д.). Это с Карен я встретился на берегу реки Оредеж, а она познакомила меня со своими подругами. Я воспринял эту троицу как символ города, стоящего одной ногой в Европе: Карен Б. со шведскими, Анжелика Л. с французскими корнями и чисто русская красавица Ляля П. (Троица быстро рассыпалась — вскоре Анжелика исчезла из этого круга.)

Через некоторое время в доме у Карен я получил хороший урок политграмоты. Будучи у неё в гостях, я вышел покурить на кухню, а там стоял сосед (в коммунальной квартире жили две семьи). Я вежливо поздоровался, сосед стал меня расспрашивать, кто я такой, откуда приехал и т. д. Но тут вышла моя приятельница и жёстко сказала:

не надо с этой поганой мордой (выразилась она резче, если не сказать — грубее) разговаривать, пойдём... И мне поведали историю взаимоотношения двух семей. До Отечественной войны семья Карен (она, отец и мать) занимали бóльшую комнату, соседи — меньшую. Отец Карен пропал без вести на фронте. И сосед написал донос — он, мол, перебежал к своим, к фашистам, потому что скрывал свою немецкую национальность и прикидывался шведом. Разумеется, указал на то, что «вражеская семья» занимает большую комнату, а он, честный советский патриот, ютится со своими домочадцами в маленькой. «Компетентные органы» не стали долго разбираться, а велели семьям поменяться комнатами. Доносчик раззвонил об этом по всему дому, и Карен встретила день Победы как с клеймом. Хотя — награждена была медалью за то, что однажды ночью, когда мама была на работе, увидела в окно, как спускается парашютист и тут же позвонила «куда следует». А было ей девять лет! Но в День Победы не об этом толковали соседи, а об «измене» её отца. Спустя несколько лет, незадолго до нашей с Карен встречи, её мама нанесла ответный удар подлецу-соседу. Разворачивалась кампания против космополитизма, и она написала «куда следует», что сосед, оклеветавший её мужа, уклонившийся от призыва в армию и участия в войне, будучи евреем по национальности, ведёт антисоветские разговоры в духе космополитизма. И «компетентные органы», как говорится, «исправили свою ошибку» — велели двум семействам поменяться комнатами в обратном порядке. Много лет прошло, но я хорошо помню гнусную морду этого соседа — может быть, потому, что на него очень похож один ныне хорошо известный театральный режиссёр либерального направления, уродующий классику, ставящий, как говорится, пьесы задом наперёд.

Познакомился я со всей многочисленной семьёй Ляли П. В том числе с её девятилетним племянником, разумеется, не предвидя, что это будущий знаменитый художник Михаил Шемякин. Меня, конечно, больше интересовала его двадцатилетняя тётюшка... Мы с ней ходили на танцы

на Кировские острова, гуляли по городу (и я навеки заразился его очарованием), а в следующем, 1953 году регулярно проводили вечера в шикарном ресторане «Астория»; бедному студенту он был не по карману, но тогда сестра моей подруги работала там официанткой, и в её смену, через день, в строго назначенный час она встречала нас у входа (не показывая, само собой, знакомства) и усаживала за свой столик. В конце вечера, наворковавшись и натанцевавшись (в ресторане, естественно, играли только западные танцы) мы имитировали расчёт. А завтракал я в столовой на Малом проспекте Васильевского острова, где жил в комнате старушки-родственницы, проводившей лето на даче. Меня заметила раздатчица — добрая толстая пожилая тётка. Я брал самое дешёвое — двойную порцию овсяной каши со стаканом молока, она же, не увеличивая платы, накладывала мне шесть порций, ставила два стакана молока и приговаривала — ешь, ешь сынок, ишь, худенький какой... Так наевшись на целый день, я шёл в «Эрмитаж» или в Русский музей — до вечера.

Современному читателю надо пояснить, что в те времена экспозиция «Эрмитажа» была урезана. Это потом, годы спустя, я буду подолгу сидеть у полотен Матисса — «Музыка» и «Танец», тогда же они находились где-то в закрытых для публики залах. А пока я имел довольно смутное представление о постимпрессионизме. Но не считаю это большой бедой. Шедевры русской живописи я уже знал неплохо, потому что множество раз ходил в Третьяковскую галерею. Теперь «пробил час Запада». И я изучал, впитывал час за часом, день за днём сокровища европейского искусства. Его вершины, Фра Беато Анжелико и Лукас Кранах, Пуссен и Ватто, Рубенс и Ван Дейк, Дюрер и Эль Греко формировали мой вкус. И, конечно, шедевры Русского музея. И слава Богу, что именно так случилось, что не шарлатанский «Чёрный квадрат» Малевича и не модернистские уродцы Пикассо с тремя ушами и глазами на затылке встречали меня в этих прославленных сокровищницах живописи...

Иногда надо было нанести визит вежливости — съездить к старушке-родственнице, в чьей комнате я жил. Она проводила лето в Парголово, которое тогда было дачной местностью. Однажды хозяйка дачи, пожилая женщина, попросила меня помочь ей в беде. Дело в том, что сразу после войны ленинградцев призвали окружить город кольцом садов. Газеты и радио прославляли тех, кто на своих участках насадил больше яблонь и других фруктовых деревьев. И вот теперь, когда они подросли и стали плодоносить, их обложили налогом — да таким, как будто это Крым или Кубань. А спиливать деревья нельзя было под угрозой уголовного наказания. И законопослушные дачники и жители окрестностей Ленинграда вынуждены были покупать на рынке у вездесущих кавказцев фрукты и «сдавать налог». Кое-то попытался пилить корни, чтобы деревья засохли, но участковые с помощниками бдительно за этим следили, выслушивая в ночной тишине звуки пилы, и выявляли «преступников». (Много лет спустя в одном фильме, название которого я не помню, герой на этом попался и загремел в тюрьму.) Поэтому хозяйка дачи попросила меня не перепилить, а перерезать корни одного дерева ножом. И я всю ночь этим занимался. Как позднее я узнал, работа моя увенчалась успехом — яблоня засохла и была вычеркнута из списка налогооблагаемых деревьев. А если бы меня застукали?

Ну, а в Москве, хотя я уже не так балбесничал, как на первом и втором курсе, я по-прежнему уделял много внимания чтению и постижению искусства. В те времена и небогатым людям были доступны билеты и в оперу, и в драматические театры, и в консерваторию. Главное было — достать билет, а не заплатить за него. Приходилось и ночами стоять, дожидаясь открытия касс Большого театра. Тогда его спектакли шли и на основной сцене, и в филиале, где ныне располагается театр оперетты (Дворца Съездов ещё не было). Несмотря на доступность, заядлым театралом я не стал. Кроме оперы, часто ходил в Малый театр, где тогда ещё играли прославленные «старухи», такие, как

Турчанинова и Рыжова, где блистал Михаил Царёв. Ещё «моим» был Театр Советской Армии — потому что мой дом находился неподалёку. И — кукольный театр Образцова: у одной моей приятельницы мама была актрисой этого театра.

Но чаще я ходил в консерваторию, восстановив после десятилетнего перерыва проникновение в глубины классической музыки. Может быть, более молодым читателям будет интересно узнать, что тогда произошла замена деревянных стульев в Большом зале на мягкие, что вызвало яростные споры (я как человек любопытный ходил на собрания слушателей и был их свидетелем). Одни знатоки доказывали, что от перемены мебели ухудшится звук, другие их опровергали. Мне, юнцу, было очень интересно слушать их пререкания. Что касается репертуара, помню единственный случай, когда участник собрания сказал — я был в командировке в Вене, слушал симфонию Малера, мне очень понравилось, почему бы у нас её не исполнить? На что представитель администрации ответил — формалистическую музыку Малера мы исполнять не будем. Нет, я не заикливался на чём-то запрещённом. У меня хватило ума понимать, что Консерватория предлагает безбрежное море прекрасной музыки и дай Бог мне услышать самое лучшее, самое главное. Реже ходил я в Зал Чайковского — не знаю, почему. Кстати, тогда я не знал, что это здание первоначально предназначалось для фокусника Мейерхольда, а если бы и знал, то и тогда порадовался бы, что этого не случилось: ещё не читая книг и статей на эту тему, от старших в семье, прежде всего от бабушки, которая видела много его спектаклей, я знал, что за русофобский фрукт был сей «новатор».

И об эстраде. В конце нашей студенческой жизни на сценах стало появляться ранее недоступное, оно манило, как всегда манит запретный плод. Насколько я помню, первым джазовым исполнителем в Москве стала шведская певица Соня Шёбек (многих потом забыл, а её, как видите, нет). Мы пришли на её концерт в Зелёном театре парка имени Горького, и я до сих пор помню

название песни, с которой она начала свой концерт — «Я ничего не могу предложить тебе, кроме своей любви». Само собой, мы были в восторге, хотя, скорее всего, уровень и певицы и песни был невысоким. Нас можно простить — мы впервые слышали живой заграничный джаз. Но подготовка у нас была неплохая, пусть и через звукозапись, и спустя несколько лет мы выдержали серьёзный экзамен по этому предмету. В СССР приехал всемирно известный и действительно первоклассный оркестр Бенни Гудмана и не имел, однако, особого успеха. Мы с приятелем тоже были на его выступлении и не то что-бы были разочарованы, но — приняли его без ожидаемого восторга. А потом в газете появилось интервью, перепечатанное из американской газеты. Корреспондент спросил маэстро, почему, по его мнению, москвичи не смогли оценить его должным образом. Гудман ответил — у московской публики оказался очень тонкий слух. И пояснил — мы не смогли сыграть на своём уровне, потому что на пересадках сначала в Рейкьявике, а потом в Лондоне у нас забрали несколько музыкантов, а нам в оркестр посадили кому-то нужных джентльменов, которые, к сожалению, не умели играть хорошо...

Но сильнейшим «эстрадным» впечатлением тех лет стал, конечно, не джаз. Мне выпало счастье несколько раз слышать и видеть Александра Вертинского. Никогда не забуду, как, начиная концерт, Александр Николаевич объявил со своим неподражаемым выговором: «„Над розовым морем“; слова Георгия Ив́анова». (К слову, я тогда впервые услышал имя «первого поэта русской эмиграции», который со временем станет одним из моих кумиров.)

Все эти мои увлечения и равнодушие к учебному материалу привели к тому, что до защиты диплома меня не допустили. И чтобы получить право взять новую тему и защищать её на будущий год, я должен был покорно подписать распределение на работу, куда был направлен в чине не инженера, а техника. В следующем, 1956-м, я всё же со скрипом защитился и получил право писать в анкетной графе «образование высшее».

НЕПОНЯТЫЕ ЗНАКИ

Множество раз приходилось читать, что судьба посылает человеку знаки, многие из которых он не в силах распознать. И со мной это было. Когда я учился на третьем курсе, мне стукнуло двадцать лет. А через месяц умер Иосиф Виссарионович Сталин. Для меня, как, я убеждён, и для подавляющего большинства народа, это представлялось трагедией. Но истинной глубины её я оказался не в силах осознать. Я не понял, что это событие стало началом конца государства, в котором я родился, вырос и жил — Советского Союза. И, думая о будущем (а кто в двадцать лет не думает о будущем!) я видел себя в сталинском СССР, хоть и без великого вождя. А уж о самоубийстве (капитуляции, если угодно) 1991 года я, естественно, и помыслить не мог. Тогда же мы, юнцы, рассуждали о том, что не видим никого персонально во главе державы и полагали, что следует сформировать высший орган в виде тройки маршалов — Жукова, Василевского и Рокоссовского (отозвав его из Польши, где он тогда был министром обороны), а председателем Совета Министров поставить Молотова — как «старейшего сталинца».

Но это общенародный знак. Бывают и персональные. Ещё до дипломных страданий, в начале пятого курса, был мне послан судьбой знак, не понятый мною. Так я сейчас, подводя итоги жизни, трактую внезапное предложение без отрыва от учёбы, конечно, поработать в журнале «Радио». Не знаю, к кому сначала обращались редакционные гонцы, но мне известно, что несколько хороших студентов-радиолюбителей отклонили это предложение — их больше привлекали институтские лаборатории, куда можно было поступить на ставку или полставки лаборанта и, самое главное, набраться инженерного опыта. Здесь спрос превышал предложение. А что редакция? Там ни осциллографа, ни вольтметра не увидишь. А я посмотрел на проблему совсем с другой стороны, главное увидел в возможности заработать. Тем более, что предложили полную ставку, что почти вдвое превышало стипендию.

(А стипендии у нас на радиофакультете были повышенные — начиная со второго курса, таково, как нам торжественно сообщили, было решение лично И. В. Сталина, придававшего особо важное значение нашей отрасли). Эта ставка плюс стипендия практически равнялись зарплате рядового инженера, примерно столько же получала моя мама.

Так я впервые попал в редакционную обстановку, не предугадывая, что это моя судьба. Я старался хорошо выполнять свои обязанности, но смысл их видел только в том, чтобы в положенный день получить в кассе зарплату. Конечно, научно-популярный журнал — это не общественно-политическая газета, куда жизнь приведёт меня через двенадцать лет, но, повторю, я не смотрел на редакцию как на среду, в которой мне надо как можно лучше осваиваться, закрепляться, в которую нужно вращаться и — тем более — которую нужно полюбить. И я даже не вспоминал, что в далёком 1949 году я записался в кружок юных журналистов при Московском университете. Туда меня влекли не мечты о журналистском будущем, а скорее красивые девушки, которые пришли на собеседование. Так что, как видите, знаки судьбы я прочесть не сумел.

Но, с другой стороны, а почему я пошёл в тот, а не в другой кружок при университете? И почему я так охотно согласился попробовать поработать в редакции журнала? Ведь я понимал, что там мне будет незнакомо абсолютно всё, а если я пойду лаборантом к профессору Горону (он меня приглашал), я хотя бы буду понимать назначение предметов, среди которых я окажусь. Так что, может быть, что-то в глубине подсознания вело меня верной дорогой?

НЕ В СВОИХ САНЯХ

В этой главе речь пойдёт о двенадцати годах (1955–1967), прожитых мною в инженерном мире. Сразу скажу — я вошёл в этот мир, уже понимая, что это «не моё». И, естественно, покинул его без сожаления. Тем не менее эти годы не были пустыми для меня, не были и только тягостными. Нет, конечно. Прежде всего — я набрался такого жизненного опыта, который иначе как бесценным не назовёшь. И — впечатлений, выходящих далеко за рамки профессиональной деятельности. За эти годы я сменил четыре места работы, и подробно рассказывать о том, чем я занимался — не буду, потому что это в основном были, как тогда выражались, «закрытые» предприятия. И хотя исчезла, покончив самоубийством, держава, секреты которой я обязался хранить, и многие из этих секретов давно перестали быть таковыми, но я, как говорят в армии, присягу не нарушу. Тем более, ведь главное для данного повествования — это не технические подробности, не устройства разных аппаратов, а люди, с которыми приходилось общаться, жизненные ситуации, в которые я попадал.

ЭТО БЫЛО ТАК ДАВНО

В 1956–1959 годах я несколько раз ездил в командировки в город Ковров Владимирской области. Сначала приходилось искать жильё «в частном секторе», т. е. проситься на постой к какой-нибудь хозяйке, потом построили

заводскую гостиницу и мы там останавливались. Хозяйки не любили молодых постояльцев (пить будут, девок водить), но опытные командировочные советовали нам брать для расплаты сахар (в Москве он продавался в каждой булочной, а в Коврове был «в дефиците»), поэтому я и мои ровесники шли у тёток нарасхват. В те времена город был мрачным, он ещё не изжил прошлого, когда находился на 101-м километре, границе для вышедших из тюрем. Наш поезд приходил туда среди ночи, нас ждал заказанный гостиничный номер, но, бывало, мы, трое мужчин-инженеров ждали рассвета на вокзале. Местные сами, окая, говорили: «Ковров — город пьяниц и воров».

Но там по-своему боролись за порядок. Запомнился один случай. В воскресенье мы ходили в центр города, в ресторан обедать. Как-то в трескучий мороз милиционеры увидели среди группы московских артистов, приехавших на гастроли, женщину в брючном костюме и с воплями «баба в штанах — задержать!» потащили её в отделение. Напрасно её коллеги уверяли служивых, что «все дамы в Москве носят брючные костюмы». «У вас там пусть хоть голые ходят, а у нас надо приличия соблюдать!»

Смешно, но не торопитесь осуждать ретивых милиционеров «из глубинки». Совсем недавно, году в 2018-м, слышал я в новостях рассказ ветерана телевидения, который вспоминал, что примерно в те годы тогдашний начальник не разрешал пускать в московский телецентр женщин в брюках. А я ещё раз столкнулся с этой проблемой в конце 1970-х в Усть-Каменогорске, в обкоме партии. Помощник первого секретаря, прежде чем допустить меня пред светлые очи шефа, осмотрел мои руки — «хорошо, что не носишь обручальное кольцо, иначе бы оставил у меня на хранение», а потом показал шкаф, полный женских юбок всевозможных размеров и расцветок. «Переодеваю коммунисток перед приёмом, таковы у нас правила», усмехнулся помощник. Между прочим, первым секретарём обкома партии тогда там был выдающийся деятель, замечательный хозяйственник и народный любимец Александр Константинович Протозанов. Он, в частности, железной

рукой проводил ликвидацию трущоб — так называемых «шанхаев», оставшихся ему в наследство от гулаговских времён, где жила немалая часть горожан. Причём ни в коем случае не принимал дом с недоделками, даже без детской площадки не принимал, несмотря на все клятвы строителей. Да и снабжение продовольствием было у него поставлено лучше, чем в соседних областях. Конечно, слово «шанхай» бытовало и в других городах СССР, но я именно из Усть-Каменогорска привёз его и со временем использовал в заголовке повести «Шанхай по пути на ЮБЛО».

Надо сказать, что рядовым инженерам в те времена устроиться в гостиницу было непросто. Мы возили с собой из Москвы коробки конфет, но не всегда они помогали. Иногда помогал анекдот, который я рассказывал дежурным. «Приехал командировочный, пожилой, усталый мужчина. „Номеров нет“. „Ох, я так плохо себя чувствую, помогите, пожалуйста“. „Ладно, обещаю, первый освободившийся номер — ваш“. Тут из гостиницы выходит женщина с чемоданом — я уезжаю. Мужчина радостно бросается к стойке, но дежурная его останавливает: „Эта дама из двухместного номера, там ещё женщина, так что нельзя“. „Но может быть она не будет возражать — я так устал...“ „Хорошо, я узнаю...“ Звонит по телефону, объясняет ситуацию — „Ладно, идите, она согласна“. Мужчина со всеми извинениями располагается в номере, гасит свет. Через минуту соседка просит: „Я замёрзла, не могли бы вы закрыть форточку?“ „Конечно, конечно“. Ещё через минуту: „Мне так жарко, лежу вся голая, не могли бы вы открыть форточку?“ „Конечно, конечно“. И так несколько раз. Тогда мужчина говорит: „Мы с вами оказались в такой ситуации... Не согласились бы вы провести со мной эту ночь как жена с мужем?“ „О, я согласна!“ „Ну тогда, стерва, встань и сама закрой форточку!“» Ох, как смеялись гостиничные дежурные, прослушав этот анекдот! И давали мне номер.

Но молодость есть молодость. Веселились мы по любому поводу. В командировки в Саратов мы ездили обычно втроём — Витя Сыров, Лёва Шварц и я. Витя был у нас

атаманом и выручал, когда все наши деньги кончались. Тогда он шёл «обслуживать» буфетчицу в гостиничном ресторане (глагол «трахать» ещё не вошёл в обиход). Приходил поздно, делал вид, что выдохся, мы с Лёвой, дурачась, услужливо клали его на кровать, снимали ботинки и выгребали из карманов пальто добычу — куски колбасы и сыра, остатки батонов хлеба и недопитые бутылки водки и других спиртных напитков. «Жрите, дармоеды, — ворчал Витя, — пока вы тут книжки читали, я за вас своим членом работал...»

Помню новогодний бал на одном оборонном заводе — мы застряли и вынуждены были на праздники задержаться в командировке. Танцевали в клубе с девушками и хором пели песню, переделанную из популярного тогда шлягера:

Ракета межконтинентальная
Лети в Америку, лети,
Многоступенчатая, дальняя,
Уже в пути...

Да и в Москве, в родном «почтовом ящике» с юмором было всё в порядке. Трудился у нас в лаборатории молодой парнишка В., сексуально озабоченный, видимо, девственник. И вот он объявил, что женится и берёт положенный трёхдневный отпуск. Начальник нашей лаборатории Глеб Кукушкин, большой юморист, дал команду: «Как В. вернётся, ни в коем случае ничего у него не спрашивайте, не заговаривайте на тему свадьбы — обязательно сам проговорится». Так и вышло. Молодожён недолго выдержал всеобщее молчание, а потом выдал: «Ребята, там не так тесно, как вы мне рассказывали...» Надо ли говорить, каким хохотом заливалась вся лаборатория.

Разумеется, было много чего кроме юмора. В том числе и в связи с женитьбой. Помню, как исключали из комсомола (при том подразумевалось, что за этим последует увольнение) одного сотрудника. Он совершил «ужасный» поступок — вечерами, после работы работал кровельщиком на ремонте церкви (это была его старая профессия).

Объяснял он своё «преступление» тем, что после женитьбы и рождения ребёнка жить ему стало негде — у родителей было слишком тесно. Его срамили по идеологической линии, а насчёт жилья походя сказали, что надо потерпеть несколько лет — и получить квартиру, как положено, от советского государства, а не «от попов». Притом никаких конкретных планов жилищного строительства у этой организации не было. Против исключения руки подняли двое — я в том числе.

(Прошло много лет, я уже работал в печати, нечто подобное случилось в армейской газете «Красная звезда». Там один офицер-журналист стал подрабатывать вечерами после службы в газете; нет, не в церкви, а в магазине — рубщиком мяса, это была его старая профессия, ещё до армии. Уволили его как только стало об этом известно, даже без обсуждения.)

Но ещё большее впечатление произвело на меня разбирательство дела инженера Владимира Николаевича Иванова — одного из самых талантливых в нашем коллективе и, что немаловажно, безупречно честного и бескорыстного. И вдруг Иванов «пошёл не по нашей дорожке», как выражались его хулители. Он взял патент на своё изобретение! До этого не брал, а тут взял. Как только его не обзывали! Рвач, хапуга, носитель частнособственнических инстинктов и т. д. и т. п.

Я ничего не изобретал и ничего патентовать не мог, но в один прекрасный день вдруг оказался обвинённым в тех же самых грехах. Дело было так. Без отрыва от производства я закончил двухгодичный вечерний факультет в Институте иностранных языков, кое-что читал и иногда помогал товарищам по работе разбирать какие-то английские тексты. И вот однажды подошёл ко мне — нет, не друг, не приятель, даже не хороший, а просто шапочный знакомый и попросил перевести книгу о йоге (тогда они не издавались). Книга стандартного формата, страниц на 200–250. Я спросил — как ты это представляешь. Он ответил — на машинке не обязательно, можно ручкой. И сколько думаешь заплатить? — спросил я. Вот тут

и началось! В общем, я был ославлен на весь НИИ как рвач, хапуга и т. д. Моя дурная слава была ослаблена тем, что любитель йоги перегнул палку: он орал, что если я знаю язык, я «должен» переводить ему всё, что ему нужно. Его еле уговорили, показав ему переводные книги с фамилиями переводчиков и объяснив, что это профессия, которой люди кормятся, и кормятся неплохо. Но всё равно какое-то пятно на мне осталось. Само собой, любитель йоги со мной больше не здоровался.

Попав в эту ситуацию, я стал задумываться, насколько глупо ведут себя наши идеологи, наша пропаганда, которая сделала бранными слова «рыночная торговка», «частник», «приобретатель», «скопидом» и т. д. Так, я считаю, Советский Союз подрубал свои корни. Особенно тревожными стали подобные мысли, когда я начал работать в печати, но об этом — позже.

На этот период моей жизни приходится важнейшее историческое событие — состоявшийся в феврале 1956 года XX съезд КПСС, доклад Хрущёва «О культуре личности и его последствиях». В это время я работал на подмосковном радиоцентре, откуда мы командовали глушением враждебных радиопередач. Утром в тот день я пришёл на работу и увидел всю предыдущую смену, сидящую в наушниках. «Хрущёв говорит против Сталина», — коротко сказали мне. Я надел наушники и стал слушать. Впечатление было такое, что небо упало на землю. Сразу, конечно, я не смог понять иезуитскую лживость доклада в целом и отдельных его деталей. По психике били рассказы Никитки о пытках, которым подвергали видных партийных деятелей «в застенках НКВД». Я даже не осознал, что руководитель партии говорит только о видных партийцах.

Впрочем, не буду повторять того, что писалось тысячу раз и мною в том числе. Скажу только, что сразу мы и не задумались, почему закрытый доклад через несколько часов после его оглашения читается по радио из-за рубежа. (Прошли годы, и два технических работника с нерусскими фамилиями хвастались в печати, что это они передали доклад на Запад.) И я не сообразил,

какую хитрость провернул Хрущёв, рассказывая о своём «унижении» перед Сталиным. Меня тоже унижали, патетически воскликнул он. Однажды на приёме в Кремле кто-то из гостей спросил, а что за танец — гопак. И Сталин сказал — а вот у нас Хрущёв украинец, он вам и спляшет. И пришлось плясать! И я не сообразил тогда, что так Хрущёв превращает себя из палача в жертву. И тем более не мог я сообразить, что о главных жертвах необоснованных репрессий — о простых людях, прежде всего раскулаченных крестьянах, ничего не сказано в докладе.

Вскоре я стал замечать, что о XX съезде партии, об «антисталинском» докладе Хрущёва говорят в более высокопоставленных кругах общества, а среди «простонародья» такие разговоры услышишь нечасто. В этом мнении меня особенно укрепило пребывание в больнице. Там в восьмиместной палате оказалось шесть пожилых мужиков, разговоры которых я вначале не совсем понимал. Они не произносили слов «коллективизация» и «раскулачивание», но все их воспоминания сводились к этим событиям, перевернувшим жизнь их семей, их деревень четверть века тому назад. Поначалу я и мой друг психолог Кирилл Бардин, оказавшийся в той же палате, видимо, казались чужаками нашим соседям, но постепенно, видя наш интерес к их рассказам и усвоив, что мы — не из тех, кто громил их деревни, что мы не из «начальства» и семьи наши отнюдь не богаты, мужики стали более откровенными.

К тому времени я, конечно, кое-что знал о коллективизации, но не представлял себе её всеобъемлющего охвата. Я по наивности думал, что она затронула узкий слой сельских жителей, богатеев, «кулаков», а в рассказах моих соседей по больничной палате открывалась совсем другая картина, картина всеобщего погрома, геноцида русского крестьянства. К тому времени я уже превращался в «литературного» человека и не мог не заметить, что волна «правдивых» книг, поднявшаяся после XX съезда, практически умалчивает о селе, о крестьянстве, а повествует в основном о «честных партийцах», о «пламенных

большевиках ленинской школы», об очастных столичных профессорах-доцентах.

С темой репрессий мне пришлось столкнуться и непосредственно. Отец моей жены, экономист-бухгалтер по профессии, был сначала сослан в сибирскую глухомань, на среднее течение Енисея, а потом арестован и приговорён к десяти годам заключения без права переписки. Семья, разумеется, не знала, что эта формулировка обозначает смертную казнь. И весной 1956 года мы с женой пошли «на Лубянку» узнавать о судьбе моего тестя, Дмитрия Петровича Воеводина. Мне рассказывали, что впоследствии лубянские чины вели себя предупредительно и проявляли терпение, но тогда они ещё не осознали крутизны перемен и особой вежливостью не отличались. В приёмной (ныне этот дом снесён) было тесно, посередине стоял большой деревянный стол, весь изрезанный ножами. Выделялось крупно написанная стихотворная строфа. Нет, это был не Мандельштам, которого упорно выдвигают в первый ряд «борцов с коммунистическим произволом», вряд ли его знали посетители мрачного места на Малой Лубянке. Это был великий русский поэт народный любимец Сергей Есенин:

Много в России троп,
Что ни тропа — то гроб,
Что ни верста — то крест,
До енисейских мест
Шесть тысяч один сугроб.

Для нас эта строфа имеет огромное сугубо личное значение. Моя жена Нина Дмитриевна родилась именно там, на Енисее, в семье ссыльного.

ТЫСЯЧА КОПИЛОК ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Кроме работы, в инженерные годы я много учился — как уже говорилось, английскому языку, затем, после перехода из исследовательской лаборатории в отдел

информации, редакторскому делу в Полиграфическом институте и в вечернем Университете марксизма-ленинизма на факультете партийно-хозяйственного актива. Я подал заявление в партию в 1964 году, на следующий день после того, как был снят со всех постов и отправлен на пенсию Никитка Хрущёв. Оказалось, что одновременно со мной подали заявление ещё семь инженеров. В парткеме, естественно, встревожились — получалась своего рода политическая демонстрация.

Для беседы нас вызывали, естественно, по одному. Мне напомнили, что мне уже предлагали вступать в партию, но я уклонялся. Почему же вдруг сейчас возникло такое желание? Я ответил — потому что от власти отстранён ненавистный мне Хрущёв, под знамя которого я не хотел становиться. А теперь, дословно сказал я, хуже не будет, потому что самое худшее уже позади. (О, если бы я мог предвидеть восшествие на партийный престол врага народа Горбачёва!) Не знаю дословно, что говорили другие претенденты на партийный билет, но смысл их объяснений был примерно такой же: Хрущёв нас не устраивал, теперь другое время.

Эти годы я несколько раз побывал на Юге. До этого лишь однажды, в студенческие времена, я съездил на Чёрное море (на Кавказ), где, кстати, посетив Сочи, дал клятву никогда больше сюда не приезжать (и слова не нарушил). Теперь я то же самое проделал в Ялте. Из моих курортных, вернее, пляжных поездок наибольшее значение для меня имело пребывание в Коктебеле. Там я познакомился с людьми, сыгравшими важную роль в моей жизни. Да и посещение дома Волошина, знакомство с его вдовой Марией Александровной, которая разрешила мне переписать много его стихов (они тогда ещё не издавались), стало для меня знаковым событием.

Именно в эти годы я стал гораздо серьёзнее писать стихи. Вскоре после Коктебеля, в конце 1959 года, я попал в поэтический салон Галины Андреевой. Сейчас она поминается то в тех, то в других мемуарах, о ней можно прочесть в Интернете, а тогда её имя было известно очень узкому

кругу. Но кругу грамотному и, надо сказать, очень спесивому. Незадолго до моего появления из салона изгнали Беллу Ахмадулину — за то, что она напечаталась в советском издании. Таков был этот круг оголтелых диссидентов, самым талантливым из которых был несомненно Станислав Красовицкий. Мне как новичку Галя Андреева устроила экзамен (конечно, в форме дружеской беседы). Будучи у меня в гостях, она предложила как бы игру — мол, я начну читать стихотворение, а ты продолжай. Я не провалился ни на Гумилёве, ни на Гиппиус, ни на Анненском, ни на ком другом, провалился только на Владимире Нарбуте, которого не знал совсем. Впрочем, и сейчас, спустя почти шестьдесят лет, я не считаю это провалом — Нарбут, как говорится, не та фигура, чтобы переживать о незнании её. Важно другое. Кружок Галины Андреевой показал мне, что и стихи не для публикации должны быть написаны очень профессионально. Такой пример, кроме упомянутого Станислава Красовицкого, подавали и Валентин Хромов, и сама хозяйка салона, и кое-кто ещё. А расстался я с ними через небольшое время — и по своей воле. Исполненные спеси, они позволили себе классовое хамство в отношении некоторых членов моей семьи, а для меня это недопустимо.

В эти годы мы с женой много ходили по музеям и, конечно, не пропускали «знаковые» выставки. К ним прежде всего надо отнести выставку картин Дрезденской галереи, которая возвращалась в Германию (Германскую Демократическую Республику). И, конечно, выставку Зинаиды Серебряковой в 1965 году, незадолго до её смерти в Париже. И — выставку Николая Рёриха. На все эти выставки приходилось стоять в очередях по несколько часов, но, как говорится, оно того стоило. С тех пор Зинаида Серебрякова стала одним из моих любимейших художников всех времён и народов, и моя любовь к ней не развеялась со временем. Много раз меня спрашивали — ну, а если бы тебе предложили повесить у себя дома любую картину из художественных сокровищ человечества, что бы ты выбрал? Естественно, с учётом размера твоей комнаты в малогабаритной квартире. Я выбираю автопортрет

Зинаиды Евгеньевны Серебряковой — тот, где она подпирает голову рукой. Примерно равным ему я считаю портрет Лукреции Панчиатики работы Аньоло Бронзино из галереи Уффици во Флоренции, но та безусловно гениальная картина была бы слишком яркой для моей квартиры, для нашего московского климата. Я не смеюсь...

Конечно, мы рвались на «просмотры» зарубежных фильмов, которые устраивались в самых неожиданных местах, причём информация о них доходила до нас самыми фантастическими путями. Ходили и в театры. Жена больше, чем я — я уже начал охладевать к этому виду искусства. Но успел понять, что Плисецкая, которой восхищалась вся «демократическая интеллигенция», больше физкультурница, чем балерина. На эти годы пришлось и появление Театра на Таганке — с большим интересом посмотрев «Добрый человек из Сезуана» и «Десять дней, которые потрясли мир», я решил, что с меня хватит «любовщины» и позднее если и бывал там, то с какой-нибудь дамой. Последний спектакль (не помню, в каком театре), который произвёл на меня сильное впечатление — «Преступление и наказание» с Бортниковым в главной роли. А когда судьба занесла меня на какую-то постановку в «Современник», где не играл, а выкобенивался Константин Райкин, я вообще перестал ходить в театры. Это при том, что появление «Современника» с Ефремовым, но без Райкина («Голый король») я принял хорошо. Ну, и в Большой по возможности ходил, пока он — уже в нынешние времена — совсем не опаскудился.

Несмотря на всё это обилие занятий, у меня, как ни странно, оставалось ещё немало времени, которое я тратил не лучшим образом — переписывал джазовую музыку, для чего нужно было везти куда-то свой магнитофон (а компактных ещё не было). Дошло до того, что жена начала меня срамить за пустые вечера, и была права. Но судьба (не знаю, с большой буквы писать это слово или с маленькой) решительно вмешалась в ход событий. Телефона у меня не было, но мне в мой закрытый НИИ смогла каким-то фантастическим образом (вроде бы через мою

мать) узнав, где я работаю, дозвониться одна моя старая, ещё со студенческих лет приятельница — И. Е. (Тут надо заметить, что в нашей конторе разговоры «с городом» не поощрялись, и пробиться до абонента было нелегко.) Преодолев сопротивление начальников, она добилась связи со мной и назначила мне свидание у станции метро «Кировская» (ныне «Мясницкая»). Я очень боялся, что не узнаю её. Но узнал сразу.

Ещё раз я не распознал вещего знака, посланного мне Судьбой. Эта встреча сыграла исключительно важную роль в моей жизни. После обстоятельного разговора о том, как идёт наша нынешняя жизнь, И. Е. рассказала, что работает редактором восточной литературы в издательстве «Наука» и предложила мне «заняться настоящим делом», то есть редактированием и переводом книг, уж коли я худо-бедно научился читать по-английски. Но для этого нужно выдержать экзамен — поговорить со специалистом, от которого будет зависеть, откроется ли передо мной дверь в этот мир.

И экзамен состоялся. Доброжелательный пожилой человек, Григорий Львович Герман, провёл его в форме непринуждённой беседы о прочитанных книгах за чаепитием у него дома, причём И. Е. не присутствовала. Но потом она сказала мне, что Григорий Львович выставил мне высший балл. Особенно, по словам И. Е., его впечатлило, что я назвал столько же перевоплощений индийской богини Парвати, сколько знал он сам. (В ту пору я, действительно, одну за другой глотал книги по индийской, персидской, китайской, японской, арабской культуре.) И я был допущен до внештатной работы в издательстве. Для начала мне поручили редактирование, но вскоре доверили и переводы. Это было в начале 1960-х годов, первая книга, на последней странице которой я был обозначен как редактор, «Сказки народов Дагестана», вышла в 1965 году.

Потом вышли ещё три книги. Возможно, эта моя работа и продолжилась бы, но в отношениях с этим издательством наступил конец. Это было уже после того, как я ушёл из инженерного мира в журналистский. Почти

одновременно у меня возникли два конфликта. Один, очень резкий, с Натальей К., опытным и уважаемым редактором. И возник по поводу, не связанному с этим издательством. В один из моих визитов туда, в ходе обычного для наших отношений дружелюбного разговора я поделился печальной новостью — умер поэт Николай Рубцов. На это Наташа ответила, что «у интеллигентных людей» нет повода для печали — Рубцов это малопривлекательная тёмная личность, реакционер, «едва ли не антисемит». Естественно, я возмутился и, не думая о последствиях, дал резкую отповедь «интеллигентке».

Примерно в те же дни, а может быть и в тот же день (точно не помню) я поспорил с одним из руководителей издательства Сергеем Сергеевичем Ц. В ходе довольно академического разговора он сказал, что Библия (Ветхий Завет) ничем не отличается от других мифологических сочинений, таких, как «Сказание о Гильгамеше» и т. д. И герои этих эпосов ничем друг от друга не отличаются. Я возразил, сказал, что героя, подобного ветхозаветному Аврааму, нигде больше нет. Герои эпосов гибнут в борьбе за правое в их понимании дело, в борьбе за честь рода или любимой женщины. Авраам же полагал: чтобы уцелеть, выжить, можно отдать жену на потеху чужеземцам, так же поступил и сын его Исаак. В результате я в издательстве прослыл антисемитом...

...Наступил последний этап моей инженерной жизни, но я этого не знал. В то время я работал редактором в отделе научно-технической информации большого НИИ. Не боясь быть обвинённым в похвальбе, скажу, что со своими служебными обязанностями я справлялся — и справлялся хорошо — наверное, за четверть отводившегося на это времени. Но в этом и коренился конфликт, нараставший у меня в отношениях не только с начальником (это был малограмотный аферист-азербайджанец Азиз Керимов), но и с коллективом, состоявшим почти полностью из женщин. У них то же оставалось свободное время, пусть и не такое большое, как у меня, и они тратили его на бесконечную глупую болтовню. А мне строго не разрешалось читать

«посторонние книги» (текущую общественно-политическую периодику разрешалось), и уж подавно нельзя было «тратить драгоценное рабочее время» на переводы, то есть «на левую работу». Приходилось прибегать ко всякого рода ухищрениям. Кроме того, моих ленивых дам раздражала информация о моей внеслужебной жизни, которая волею неволей им становилась известной. Я, например, не смотрел любимые ими телепередачи и кинофильмы, не читал любимые ими книги, а читал совсем другие. Ну, а главное — их раздражало, с какой лёгкостью я справлялся с самыми неуклюжими фразами наших авторов — превосходных инженеров и превращал их в грамотные тексты. Тем более — что я мог делать выжимки из иностранных технических журналов.

Естественно, я задумывался о своём будущем. С одной стороны, меня устраивал мой НИИ, тем более находившийся недалеко от моего дома, небольшая практически нагрузка. Но были и минусы. Становилось всё труднее использовать свободное время, я понимал, что появление книг в моём переводе озлобит моих баб ещё больше. Кроме того, здесь не было никаких перспектив на получение квартиры (а мы жили в очень плохих условиях) — наш НИИ не вёл жилищное строительство, а то небольшое, что он получал от города, мне в ближайшие годы не светило. Рассматривал я (теоретически) и такой вариант — уйти в какое-нибудь научно-техническое или научно-популярное издательство с более вольным режимом, здесь было очень строго с приходом-уходом, и если нужда заставляла отпроситься на часдругой, за это время вычитали из зарплаты. Но никаких связей во внешнем мире у меня не было.

Ситуация разрулилась помимо моей воли. И опять Судьба послала мне вещий знак, который я чуть-чуть не упустил. Но не упустил. Дело было так. В начале лета 1967 года, в выходной день (тогда ещё он был единственным — в воскресенье) я пошёл на книжную толкучку в проезде Художественного театра в надежде купить или выменять что-нибудь интересное. Не помню, что именно я прихватил для обмена, но почти сразу увидел желанную

добычу — Анну Ахматову в серии «Библиотека поэта», которую я жаждал приобрести. По тем временам это был дефицит из дефицитов. Денег на неё у меня не хватало, я решил продать свою книгу, доложить и приобрести вожеленный синий однотомник. Упросил его хозяина подождать, и довольно быстро нашёл покупателя на свой обменник. Только я взял деньги и отдал книгу, как меня крепко взяли за руки: «Милиция. Пройдёте». Отвели в отделение, присудили штраф десять рублей «за спекуляцию». А главное — сообщили по месту работы.

Что там началось — объяснять не надо. На партийном собрании кто только не вытирал об меня ноги. Припомнили все мои «грехи», и реальные и вымышленные. Не забыли, конечно, историю с переводом книги о йоге, слова «жадность», «рвачество», «торгашеская натура», «спекулянт» повторялись тысячекратно. Кончилось дело тем, что я, чтобы избежать партийного взыскания, должен был уволиться по собственному желанию. В общем-то меня это устраивало. Беспокоило только — сумею ли найти работу за месяц, по тогдашним законам это было необходимо, чтобы не потерять некоторые права. Тем более одна симпатичная женщина по имени Люся, недавно перешедшая из нашего НИИ в издательство, издававшее литературу по радиотехнике, хорошо относившаяся ко мне (не все же там были злобными сплетницами и завистницами), обещала решить мою проблему. Она рассказала, что у них в издательстве скоро уйдёт на пенсию один мужчина, и я вполне подхожу на его место. Но этот вариант не прошёл.

Когда я пришёл в свой уже бывший НИИ сниматься с партийного учёта и оформлять увольнение, меня с иезуитскими улыбочками пригласили на партийное собрание. А там, ещё раз потоптавшись на мне, вынесли выговор, правда, без занесения в учётную карточку. Я пытался было возражать — но мы же, мол, договорились, что я уволюсь без партийных взысканий, на что мне с деланным возмущением было сказано, что партия никаких закулисных сделок не заключает. И ещё сюрприз преподнесли

мне — уволили по коварной статье (забыл её номер), которая формально означала «по собственному желанию», но формулировка которой имела дополнение, говорившее, что администрация не возражает против этого. В обиходе эту статью называли «скатертью дорожка».

Кстати, видимо, не все читатели знают механизм партийных выговоров без занесения в учётную карточку. Их невозможно было скрыть, потому что текст взыскания существовал, но его не вписывали в учётную карточку («не заносили»), а вкладывали туда на отдельной бумажке. Вот с таким приданым я покинул «круг первый» — да, этот была та самая шарашка, в которой в своё время сидел Солженицын, о которой он написал паскудную клеветническую повесть и которая стала местом действия нескольких кинофильмов.

В тот день я сделал последнюю попытку исправить положение — пошёл к Константину Фёдоровичу Калачёву, заместителю директора по науке, который курировал мою работу и с которым у меня, как мне казалось, сложились хорошие неформальные отношения (в частности, мы много говорили о прочитанных книгах). Но Константин Фёдорович принял меня очень холодно и сказал, что «здесь такого поведения, как у вас, не любят». Обычно, расставаясь с чем-либо, я стараюсь помнить хорошее, а не плохое, но в данном случае это не получилось.

Вспомнил, например, одну историю — из личного опыта. Вскоре после моего поступления в этот НИИ меня ввели в состав редколлегии стенгазеты. Главным редактором была пожилая дама, увядающая красавица. В отношениях с ней я принял шутливо-почтительный тон, не раз говорил, как я жалею, что мы разошлись во времени. Надо думать, это ей льстило, и она любила со мной разговаривать о том, о сём. Как-то в нашей болтовне были упомянуты деньги, и Красавица сказала — ты же понимаешь, у меня кроме оклада есть и пенсия от Комитета (КГБ). И пояснила — я же не всегда такой ерундой занималась, в лучшие годы я выявляла врагов народа среди ленинградской интеллигенции...Когда её хоронили, к воротам нашего НИИ

съехалось очень много солидных машин с солидным номерами. Ах, как я жалею, что забыл, как звали мою Красавицу.

И, конечно, я вспоминал только что прогремевшее партийное собрание, разнообразные оскорбления, которые мне пришлось выслушать, крики моего теперь уже бывшего начальника афериста-азербайджанца Азиза Керимова: «Ты нэ наш чилавэк!» (он так и не изжил отвратительного акцента, хотя давно уже ошивался в России).

Вот с такими мыслями и с тревожными перспективами в июне 1967 года я вышел за ворота Круга Первого с нехорошей статьёй в трудовой книжке и с партийным выговором. Я отнюдь не был уверен, что меня с такими бумагами возьмут в издательство, место в котором мне обещала Люся. Мне было тридцать четыре года. На следующий день я позвонил ей рассказать о своих осложнениях, она же сообщила мне, что кандидат в пенсионеры, получив к шестидесятилетию положенный юбилейный сервис, упёрся, а уволить его нельзя, так как он — ветеран Великой Отечественной войны.

В тот день начался отсчёт дней месяца, после которого у меня прервался бы непрерывный стаж, я нервничал. Звонил разным знакомым, но ни у кого ничего не светило. Звонил и Люсе — по её предложению. И в один из дней она сказала: «Нашего ветерана мы дожмём, он уже не тянет, а тебе надо временно где-то пристроиться, чтобы не прерывался стаж. Есть вариант — я недавно снова вышла замуж, мой новый муж работает в газете „Труд“, там практикуется приём на временную работу, особенно летом, в период отпусков, сходи-ка к нему».

И назавтра впервые в жизни я перешагнул порог газеты. Надо сказать, что газеты в моём тогдашнем представлении были чем-то вроде попсы — нечто вульгарное, второсортное, к чему порядочные люди не имеют никакого отношения. При всём при том я их читал исправно. Может быть, на моё предвзятое отношение повлияло то, что у нас в школе в параллельном, кажется, классе учился некий Хаскин, которого все мы дружно презирали за дурной тон, пёрший из каждого его слова и жеста. Вскоре после школы

он стал работать в «Московском комсомольце» и всячески выкобенивался на ежегодных встречах выпускников. Да и общение с Галей Андреевой сыграло свою роль. Коротко говоря, я вошёл в здание газеты с фигой в кармане — мол, пооблетаю у вас пару месяцев, а потом, даст Бог, уйду в издательство. Но сначала нужно было поступить в газету со всеми моими подпорченными бумагами.

ШАГ В НЕВЕДОМОЕ

Забегая вперёд, скажу, что для меня это был день тройного везения. Новый муж Люси, Александр Васильевич Лихобабин, старый журналист, инвалид войны, истекал мёдом, услышав имя своей молодой жены и принял меня как родного сына. Коротко поговорив, он направил меня «к начальству». Главный редактор, Александр Михайлович Субботин, руководитель довольно жёсткий, был в отпуске — и я предстал перед его заместителем, замечательным человеком Валерием Сергеевичем Ермолаевым. Я, конечно, не знал его истории, а он натерпелся партийных и прочих расправ не моим чета; достаточно сказать, что он сидел по Ленинградскому делу. В разговоре со мной он сразу взял такой тон, что я шкурой почувствовал — этому человеку надо говорить правду, одну только правду и ничего, кроме правды. И я выложил ему причину своего ухода-изгнания из НИИ во всех деталях, начиная с желания приобрести однотомник Анны Ахматовой и кончая партийным выговором. Ермолаев слушал внимательно, подперев голову рукой и, видимо, остался доволен разговором. Задал только один вопрос: вы когда-нибудь что-нибудь печатали? Я рассказал ему о связях с издательством «Наука», о том, что вышла отредактированная мною книга дагестанских сказок, что я готовлю переводы. «Значит, ничего не печатали, — меланхолически заметил Валерий Сергеевич, — но это не страшно. Хорошо, что у вас инженерное образование и опыт работы на производстве. Думаю, вас можно взять на испытательный срок, только поговорите с редактором отдела». Редактор отдела, Олег Кузнецов,

как я вскоре узнал, злой и вредный, был в отпуске, со мной говорил его заместитель Рустем Урманцев, человек вполне вменяемый. Он задал лишь один вопрос: «Я сейчас спрошу, и если ты ответишь „да“, всё путём, а если „нет“ — расстанемся. Ты член партии?» Да, ответил я. Урманцев позвонил в отдел кадров и сказал, что по решению замглавного меня надо оформить на временную работу на два месяца с выплатой половины оклада. Это было 8 июля 1967 года.

Ох, тяжело дались мне ближайшие недели. До того я никогда близко не подходил к газетной журналистике, не знал даже многих терминов; например, не сразу понял, что такое «врез». Вычитка, сверка, правка — вот чем я занимался, о написании каких-либо заметок и речи не заходило. Особенно тяжело стало когда ушёл в отпуск Урманцев и наш отдел (производственно-экономический) возглавил собкор в Горьком (ныне Нижний Новгород) Глеб Похвиснев, специально вызванный в Москву. Он сразу дал мне задание: приближается профессиональный праздник — День работника нефтяной и газовой промышленности, поезжай завтра в министерства и возьми интервью у министров, если вечером не привезёшь — подам рапорт, чтоб тебя уволили.

И я привёз! Я не знал, как берут интервью у министров, не знал о существовании помощников руководителей, которые работают с прессой, ничего не знал. И я поступил с журналистской точки зрения совершенно нестандартно. Я пришёл в министерский партком и откровенно рассказал, что я новичок, не знаю технологии этого дела и прошу мне помочь. И мне помогли. Прежде всего объяснили, что министр интервью даёт «Правде» или «Известиям», а «Труду» — замминистра. А уж когда я получил черновой вариант текста и на глазах у помощника очень быстро довёл его до кондиции, он был так доволен, что дал мне машину доехать до редакции. Получив за один день оба интервью, Похвиснев просто поразился и признался, что проиграл пари — он с кем-то поспорил, что странный новичок ни за что не справится с заданием и будет уволен (я Глебу не понравился).

Потом приехал из отпуска редактор отдела Олег Кузнецов и тоже дал мне «невыполнимое» задание, предупредив: не сделаешь — уволю. На этот раз мне велели длинную статью (аж 32 страницы) какого-то инженера сократить до заметки в 32 строки, оставив, естественно, главную мысль. И с этим заданием я справился. Фактически это было издевательство, причём жестокое. Если я кому-то задавал вопрос, то часто получал презрительный ответ: знать надо. Но, конечно, не все вели себя так спесиво. Время отсеивает людей, и сейчас, по прошествии полувека, я могу сказать, что дружба связала меня только с одним трудовцем — ныне покойным Валерием Лавруком. Приятели были, но друг — один.

Жизнь, как известно, лучший режиссёр. К сожалению, я не помню числа, когда это произошло, но точно — где-то на подходе к 8 сентября 1967 года. Мне (в редакцию) позвонила Люся и сообщила, что ветерана «дожали», он уходит, и я могу приехать для разговоров-переговоров с заведующим. Только я положил трубку, зазвонил местный телефон и Настя, секретарша главного редактора, коротко сказала: Баранов — давай быстро на редколлегию. Такой вызов не сулил ничего хорошего — видно, где-то допустил ошибку, пропустил ляп, и теперь меня будут воспитывать. В тревожном состоянии поднялся я в кабинет главного. И услышал: «Теперь о Баранове. Твой срок ещё не кончился, но уже видно, что ты можешь работать. Поэтому тебе предлагается перейти на постоянную работу, естественно, на полную ставку. Согласен?» «Спасибо, — сказал я. — Конечно, согласен». «Ну, поздравляем. Можешь идти».

И я вышел в новую жизнь. Как сказал один остряк, газетная журналистика это такая шлюха, от которой человек или отшатывается с отвращением или волочит за ней всю жизнь. А Люсе я позвонил и извинился за причинённые хлопоты.

ЭПИЛОГИ, ПРОЛОГИ, ЛОБОВЫЕ АТАКИ

Итак, с июля 1967 года, как говорится, до конца своей трудовой деятельности я работал в журналистике. Но так как бывших журналистов, как и бывших чекистов, не бывает, то поставить точку в этом разделе воспоминаний невозможно. Да и нужны ли они? Столько писано-переписано, издано-переиздано мемуаров пишущей братии, что невольно возникает вопрос — а есть ли в них смысл, смогут ли они быть кому-либо интересными? Ответ, думаю, один — это смотря что в них написать (и, само собой, — как).

Общение с молодыми и очень молодыми коллегами, которые по возрасту годятся мне в дети и внуки, а кое-кто уже и в правнуки, а также, конечно, чтение мемуаров показало мне, что писать не то что надо — необходимо. Потому что знания о прошлых временах уходят (и это естественный процесс), да к тому же нередко сознательно искажаются, чаще всего в угоду политическим соображениям, ведь наша страна пережила при жизни нашего поколения социальную катастрофу — слом общественного строя.

Когда-то, в начале 1970-х годов, инженер на уральском заводе сказал мне, тогда корреспонденту ТАСС: какая огромная ответственность лежит на вас, мы ведь смотрим на мир вашими глазами. Я часто вспоминал этот разговор. Смысл его сохранился, хотя уже и ТАСС (ныне ИТАР-ТАСС) не монополист, и много чего изменилось, но по-прежнему обычный человек воспринимает события в результате

их отбора, сделанного людьми прессы, СМИ в целом. Тогда (возьмём те же семидесятые) в число топ-новостей входили обычно сведения о пуске новых производств, о трудовых достижениях лучших коллективов, о решениях органов власти, о театральных премьерах, о событиях за рубежом — о войнах, политических переворотах, состоянии экономики тех или иных стран, о событиях в мире советского и мирового спорта. Сейчас это прежде всего сплетни из жизни эстрадных (не оперных) артистов, об их свадьбах, разводах, изменах, о скандалах всякого рода, от кражи драгоценностей у какой-нибудь «светской львицы» (то есть проститутки или содержанки) до ареста губернатора-взяточника (пардон — «коррупционер»), о бешеных заработках шутов гороховых и футболистов, это непроверенные слухи о богатствах руководителей государства — и реклама, реклама, реклама о новых сортах женских прокладок, средств от поноса и презервативов.

Журналисты моего поколения хорошо помнят, как переход от первого ко второму совершался под бешеным напором политических сил, уверявших почтеннейшую публику, что она этого хочет, что ей будет интереснее. Что предложение по законам рынка должно следовать за спросом. Что если раньше диктатура не разрешала написать о том, что у певички такой-то матка скособочилась, то теперь — можно. И не имеет значения, так ли это на самом деле, главное — вызвать интерес читателя. А читателю не нужны новые домны и прокатные станы. Под этим прикрытием заводы легче было раздавать жуликам, назначенным Мировой Закулисой (воротилами западного бизнеса) и легче было их разрушать (надо ли доказывать, что целью «катастрофки» было не развитие производства, а его уничтожение). Каюсь: я не сразу это понял, и какое-то (очень короткое) время писал исходя из веры в то, что в конечном счёте дело пойдёт к лучшему. Это было уже на завершающем этапе моей службы. Но всегда я стоял на национально-государственнических, по-иностранному говоря, на этатистских позициях.

Я никогда не скрывал своих взглядов, да и по наивности думал, что уж где-где, а в советской печати все такие. Но вскоре убедился, дело обстоит не совсем так. Несколько человек здесь, в моей журналистской альма матер, в газете «Труд» отличались не открытой, конечно, антисоветчиной, но — не особо скрываемой оппозиционностью, что ли. Внешне это выражалось в неумеренном восхвалении Солженицына (он появился в печати за несколько лет до того) и назойливым муссированием темы «сталинских» репрессий. Причём репрессий только 1930-х годов — репрессий времён коллективизации, революции и гражданской войны их не тревожили. Назову лишь некоторых из этих «борцов за демократию». Это Александр Нежный, Юрий Скворцов и внештатный литконсультант Григорий Левин, который поддерживал модернистов-космополитов и не поддерживал начинающих писателей почвеннического направления. Спустя пару десятилетий они станут ярыми перестройщиками.

Получить сведения о А. Нежном нетрудно — в Интернете. Его, прямо скажем, русофобские труды неоднократно подвергались критике в печати; о том же грехе Ю. Скворцова, занимавшего впоследствии важный пост на телеканале «Культура», тоже приходилось немало слышать. Помню один скандал с Гришей Левиным — уже, кажется, в начале 2000-х годов. Мой приятель, ныне покойный Николай Сергеев, был руководителем литературного кружка в МГУ. Однажды встал вопрос — назвать кружок именем какого-либо писателя. Немедленно выскочил Г. Левин, почему-то там оказавшийся, и внёс кандидатуру И. Бродского. Ему возразили — а он-то причём? В университете не учился, в Москве не жил. Н. Сергеев предложил назвать кружок именем Дмитрия Веневитинова, поэта Пушкинского круга, выпускника Московского университета. Г. Левин поднял дикий шум — настаивал на своём, намекал на антисемитские мотивы своих оппонентов. Когда его притязания отвергли, с визгом покинул зал. А вскоре кружок принимал иностранную гостью — филологиню из Англии, которая удивлялась, что нашла в справочнике

только один кружок имени Дм. Веневитинова, рассказала, как она ценит этого поэта и пишет о нём...

Но всё это было значительно позднее. А в 1967-м я учился и учился журналистскому ремеслу. Подчёркиваю — именно ремеслу, а не искусству. Излагать мысли грамотным и даже образным языком я уже умел, а вот как находить информацию, как вытягивать её из человека, как находить людей, нужной тебе информацией располагающих, — не умел. Один из ветеранов газеты напророчил мне, что через два года я начну понимать, чего от меня хотят. Спустя год он меня похвалил и сказал, что я это уже понимаю. Иначе говоря — я начал соображать, какая информация нужна газете сегодня, именно сегодня, а какая не нужна.

ЛЕНИНСКИЙ НАЦПЕРЕКОС И ДР.

Конечно, учёба давалась нелегко. Первый раз в журналистскую командировку меня послали в Таджикистан. Когда я сдал первый материал — о строительстве завода — меня вызвал Александр Михайлович Субботин (главный редактор), что случилось нечасто. Я понял, что он будет учить новичка. И это произошло. «Хорошую статью ты написал, — сказал Главный, — но мы её сейчас выброsim в корзину. Почему? Ты добросовестно и подробно рассказал о лучших рабочих на стройке. Это Кох, Вайсмюллер, Брейтенбах, Вагнер и другие. Все — немцы. Ясно, что из сосланных. Конечно, они хорошо работают. С экономической точки зрения твой материал безупречен, а с политической — негоден. Дело происходит в Таджикистане, но ни одного таджика. Всем известно, что в промышленности они не тянут, не могут, но писать об этом не следует. И привлекать внимание к проблеме сосланных немцев лишний раз не надо». Человек с детства политизированный, я не то что не обиделся, я был очень благодарен Александру Михайловичу за этот урок. Ну, а так как я привёз из этой моей первой командировки не один материал, всё обошлось хорошо.

Несколько лет спустя, уже работая в другой редакции, я опять столкнулся с проблемой российских немцев. В парткеме одного завода мне дали справку о предприятии, где, в частности, было сказано, что коллектив здесь — интернациональный («представители почти сорока национальностей», — горделиво говорилось в справке) и что «в цехах можно встретить грузин, киргизов, азербайджанцев, дагестанцев, уйгуров, кара-колпаков и многих, многих других». С видом Ивана-дурака я попросил расшифровать справку и узнал, что в основном здесь работают русские (около трёх тысяч), а грузин, киргизов, азербайджанцев, дагестанцев — по паре человек, один кара-колпак, один уйгур, около ста немцев, «которых просто забыли включить в документ», и «много татар». Когда же я захотел узнать точные цифры, мне сказали, что писать об этом не следует, это будет «политически невыгодно». И ещё больше встревожился секретарь, когда я просил уточнить состав «многонациональной» делегации предприятия, которая ездила в братскую ГДР — Германскую Демократическую Республику (что по тем временам было очень престижно). В неё вошли, конечно, и грузин, и киргиз, и азербайджанец, и дагестанец, и кара-колпак, и уйгур, заняв места не только русских, но и татар, и немцев, хотя, как сказал мне тот же секретарь, абсолютно все немцы работали очень хорошо. Мне показалось, что я учуял гнусный смрад ленинизма. Повторю не в первый раз — я не был антисоветчиком, но национальная политика ленинской партии мне всегда казалась неверной. Конечно, тогда я был недостаточно информирован и не понимал, что именно национальный вопрос, как мина замедленного действия, заложенная Лениным, Каменевым (который первым восстал против сталинского плана единого Советского государства) и другими интернационалистами-русофобами, вскоре взорвёт СССР. И что он будет терзать и постсоветскую Россию. Но с проявлениями дури в национальной политике я сталкивался постоянно.

На эту тему много писали авторитетные авторы, такие, как мой бывший шеф по «Литературной газете» Юрий

Поляков, да, пожалуй, и все национально мыслящие русские писатели, так что повторять общеизвестное я не буду. Скажу только о некоторых фактах, с которыми пришлось сталкиваться мне лично, особенно как журналисту. Вот пример из писем в газету «Труд»: на многих транспортных предприятиях нерадивых шофёров наказывали переводом на машины «Колхида», производившиеся в Грузинской ССР. Но писать об этом было нельзя — чтобы не обидеть прекрасный братский грузинский народ, якобы такой трудолюбивый, якобы такой мастеровитый. Не раз мне жаловались производственники на «госплановское идиотство», когда высокопроизводительное современное (и дорогостоящее) оборудование, закупаемое за границей, направлялось не на российские заводы и фабрики, на которых трудились квалифицированные и дисциплинированные кадры, а в «национальные» республики, где его не умели толком использовать. Были и вопиющие случаи, когда, например, в таджикском городе Ура-Тюбе построили трикотажную фабрику и оснастили её новейшим английским, кажется, оборудованием, а она не вошла в строй. Потому что отцы таджикских семейств не отпускали дочерей на производство. Тем более рассчитана фабрика была на трёхсменную работу. «Что, девушка одна пойдёт поздно вечером по городу?!» — ужасались аксакалы. Почему же в далёкой Москве решено было построить эту фабрику именно там? А потому что статистика показывала — там больше всего свободных трудовых резервов, то есть безработной молодёжи. А мусульманские нормы поведения в отчётах не учитывались. Поэтому, думаю, этот идиотизм следовало называть не госплановским, а цековским (от слов ЦК КПСС).

Помню жалобы текстильщиков в Казахстане. Там, а не в Иваново, построили сверхсовременное предприятие с импортным оборудованием. Специалисты уговаривали — его надо строить в текстильном Ивановском крае. Нет, отвечали «верхи», нужно развивать национальные окраины, ковать национальный рабочий класс (русские, по их представлениям, не национальность).

Что в результате? Кадры стали завозить из Иваново... Сейчас, по прошествии полувека, после развала СССР и возникновения на его руинах этнократических «государств Востока», какова судьба этих русских мастериц? И ещё я думаю — конечно, не те мелкие отраслевые чиновники, а деятели повыше, не нарочно ли всё это устраивали, чтобы, во-первых, не усиливать промышленный потенциал России, а главное — размазать русский народ по чуждым просторам Средней Азии? Я уж не говорю о бытовых конфликтах. В Москве повздорили два парня, дагестанец выбил глаз моему знакомому русскому, шофёру по профессии, в результате лишившемуся работы. Следователь говорил мне — если б наоборот, истолковал бы как межнациональный конфликт, а так не могу, и статья будет лёгкая, ничего не поделаешь — интернационализм.

Я уж не говорю об общественном проявлении национального неравенства. Случилось мне проехать пол-Литвы с посещением сельских библиотек. Никакого сравнения с уровнем этого дела в русских сёлах. И вот что интересно. Когда я делился этими своими впечатлениями, московские «интеллигенты» из космополитов-руссофобов считали, что причина в том, что «литовцы, конечно же, культурнее русских». И с пеной у рта отрицали тот факт, что в Литовской ССР, так же как и в других «национальных» республиках, ассигнования на культуру (и не только на культуру) гораздо выше, чем в РСФСР.

Когда рухнул коммунизм, я по наивности надеялся, что уж этот-то перекося уйдёт в прошлое вместе с авторитетом Маркса и Ленина. Ничего подобного! Он усилился! Первый раз я столкнулся с его проявлением во время работы в московской областной газете. На одном совещании в администрации губернатора (тогда — Тяжлова) зашла речь о том, что с завода в Северной Осетии вагонами-эшелонами поступает палёная водка. Я предложил применить к республике дискриминационные меры, как это принято во всём мире рыночной экономики. Что тут началось! Жирные «демократы» сразу вспомнили

об интернационализме. Ну, а потом, как цунами, стала нарастать проблема нашествия «южан» с Кавказа и Средней Азии. На деловой конференции в правительстве области женщина — заместитель одного из министров сообщила в докладе, что отдельно взятый гастарбайтер может быть экономически выгоден России, но когда он перевозит сюда свою многочисленную семью, социальные траты на жену и детей перекрывают пользу от его работы. Я привёл эти данные в своей статье. На следующий день перепуганный главный редактор (глупый и необразованный человек по имени Александр Забелин) спросил меня, откуда я взял эти сведения. Я рассказал, упомянув, что есть диктофонная запись выступлений. Редактор успокоился, со мной на эту тему больше не говорили, а вот женщину-замминистра из правительства области уволили.

ОПЕРА БОРОДИНА В РЕАЛЕ

В одной из моих поездок по Центральной (Средней) Азии произошёл инцидент, когда я оказался в роли князя Игоря из великой оперы Бородина, а принимавший меня большой начальник — в роли хана Кончака. Хотя прошло много лет, но я сознательно воздержусь от указания места действия и персоны начальника; честно говоря, боюсь повестки в суд. И если я назову этого азиата (и если он ещё жив, конечно), он наймёт дюжину адвокатов, которые докажут, что я никогда с их клиентом не встречался. Что же было тогда? Хан (большой начальник) спросил, есть ли у меня конюшня со скаковыми лошадьми (не знаю, то ли он издевался надо мной, ставя меня в ранг очень больших начальников, то ли просто не понимал реалий российской жизни), а узнав, что нет, предложил девушку. Буквально, как оперный Кончак, который пел «Хочешь пленницу с моря дальнего...». Поездив по союзным «социалистическим» республикам, я уже хорошо знал, как берут в плен приезжих и проезжих русских красавиц. Много лет спустя я написал на основе этих событий стихотворение:

ВСТРЕЧА С КОНЧАКОМ

Воспоминание об одной командировке в советские времена

— Такой работой вашей можно лишь гордиться, —
Сказал владыка мраморного офиса-дворца. —
Хотите, прикажу отправить вам в столицу
Из табунов моих любого жеребца?

— Благодарю, раис¹, но должен отказаться:
Куда мне конь в московский наш содом.
Да и к тому же, должен я признаться,
Давным-давно не ездил я верхом...

— Ответ достойный, вам стесняться не придётся;
Был тут один до вас, чуть пол не целовал,
С великой радостью он принял иноходца —
И перепродал, как я вскорости узнал.

Тогда давайте так, пока ещё вы с нами,
Берите, пользуйтесь — есть с дальних берегов
Красавица с зелёными глазами
И с кожей белою, белее облаков.

...Мы выпили чуть-чуть (здесь в этом деле мера)
Французского (не местного, конечно) коньяка,
Но мне почудилось, что будто из партера
Я слушаю — поют бахвальства Кончака.

Сегодня пленниц с моря дальнего хватают
В гостиницах, наркотик подложив,
Потом до полусмерти их пугают,
В клоповник на полсуток посадив.

А там она подпишет что угодно —
И в секс-рабыни, в ужас и дурман,

¹ раис — начальник, общепринятое обращение к вышестоящему лицу.

А чуть состарится и станет непригодной,
Так продадут в Китай, в Афганистан.

И я сослался на недомоганье,
Просил великодушно извинить,
А в знак особого, сердечного вниманья
Хотел с автографом бы книгу получить.

Я знал, что этот тип стишки кропает,
(Бессовестный поэт их перевёл).
Для графомана слаще не бывает,
Что кто-то речь «о творчестве» завёл.

...Конечно же, я человек культурный,
Сказал я сам себе, в душе смеясь,
И в Домодедово я книгу бросил в урну,
Не просто под ноги, не просто прямо в грязь.

Забыл, как звался тот владыка дома —
Мамед, Ахмет, Фикрет, Али, Берды,
Но помню должность — секретарь обкома
КИРГИЗ-КАЙСАЦКИЯ ОРДЫ¹.

Закончить этот раздел я хочу воспоминанием о своём конфликте со статистической службой Московской области. Я был у неё в чести — много писал на эти темы, активно участвовал во всероссийской переписи населения 1997 года и был за это награждён. Но отношения разладились, когда я однажды запросил сведения о национальном составе преступников. Такие данные приводило МВД, но не по области, а по городу Москве. Начальница статуправления (забыл, как её звали) прочла мне лекцию на тему, что «преступность не имеет национальности», что «все нации равны», что такие данные «враждебны интернационализму» и «МВД поступает безответственно»; помню, долго несла она эту марксистско-ленинскую бредятину. Мы вконец разругались и больше со статуправлением я не сотрудничал

¹ строка из стихотворения Г. Р. Державина «Ода к Фелице».

ВМЕСТО ИНТЕРЛЮДИИ

Когда вспоминаешь, на фоне обычного течения событий вдруг выскакивают какие-то яркие факты. Не всегда они шагают в календарном строю, но сейчас, по прошествии многих лет, разве это важно?

СИРЕНЬ ПО-ХРУЩЁВСКИ

Я пришёл работать в газету «Труд» вскоре после падения Хрущёва. Стал ездить на трудовскую турбазу под Лопасней, как все упорно продолжали называть город Чехов (переименование произошло за десяток лет до того). Естественно, мы с женой поинтересовались, а не пропала ли знаменитая лопасненская сметана. Нет, не пропала, мы покупали её у окрестных колхозников. Да, о сметане-то мы были наслышаны, а вот о сирени только здесь узнали. Славилась окрестные деревни сиренью, перед каждым домом был красивый палисадник. Но потом пришло указание Хрущёва сократить приусадебные наделы.

Колхозники пытались схитрить — сняли заборчики вокруг палисадников с сиренью, тем самым, мол, уменьшили ненавистные начальству личные наделы (огороды, располагавшиеся позади домов, оставили нетронутыми). Но не тут-то было. Ну, раз у вас теперь перед домами палисадников нет, а есть улица, расчистите её от кустов. И вырубали сирень. Крестьяне ходили в те дни

по дачникам и предлагали бесплатно взять себе кусты, «чтобы красота не гибла». А начальство торопило — давай, давай, задерживаешь «благоустройство улицы».

Спустя пару лет мне довелось разговаривать с этим самым лопасненским начальством — во время командировки в Чехов. Спросил как бы между делом и о сирени. Что сирень, отвечали мне начальники, они на траве наживались! Как это? А так: было запрещено окашивать канавы, так они детей — детей! — посылали ночью с ножом и мешком — траву резать. А зачем, спросил я, прикидываясь столичным недоумком. Как зачем?! Скотину кормить, мясо продавать, сметану делать (слыхали, небось, про лопасненскую сметану?), наживаться. Они только о наживе думают...

И сидел же с этими сволочами в их райкомовских-исполкомовских кабинетах, разговаривал...

ВОСЛАВИМ БЕССОНОВЦЕВ

С более крупной сволочью в ранге заместителя заведующего отделом обкома партии довелось мне познакомиться во время командировки в Пензенскую область. Я тогда работал в газете ЦК КПСС «Экономическая газета» (даю точное название), и меня всюду возили с большим партийным почётом. Перед командировкой моя жена-агроном дала мне совет: поинтересуйся бессоновским луком; раньше там выращивали замечательный лук, его вся Россия знала.

Совет жены я, конечно, забыл, но вспомнил, когда сопровождавший меня в поездке по области замзавотделом обкома сказал: «Обратите внимание, мы проезжаем Бессоновку. Здесь исстари выращивают лук и сильно на этом наживаются — глядите, каких домов понастроили. Уж что мы с ними ни делали — и такими-сякими налогами обкладывали, и разные инспекции насылали, и штрафовали, ну как только ни боролись, а всё равно — хорошо живут!».

Это было в 1970-х, при Брежневе.

САМОЕ ПОСТЫДНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Через несколько дней после того, как я начал работать в «Экономической газете», умер великий русский полководец маршал Жуков. В день его похорон со мной произошёл такой эпизод. Я поднимался по лестнице нашего здания, где тогда располагалось множество редакций, а навстречу мне спускалась, направляясь в столовую, группа одесского типа юмористов из «Крокодила». Они громко и весело разговаривали, что показалось мне неуместным: радио громко транслировало передачу о похоронах Жукова. Когда мы поравнялись, один из крокодильцев ёрническим тоном спросил другого: «Зяма, у тебя есть деньги?» «Всего на бутылку кефира», ответил тот. Первый заржал: «Ну, как раз хватит на поминки по маршалу».

И я не избил его, не вмазал по морде, даже матом не обложил. Я смолчал, и мы разминулись, только, видимо, на моём лице что-то отразилось, потому что я уловил недоумение с примесью испуга во взгляде одесского пакостника. Да-да, во мне сработал самоконтроль, трусливый самоконтроль. Я был здесь новичком, меня никто не знал, в случае нормальной русской реакции мой поступок был бы скорее всего расценен как проявление не патриотизма, а хулиганства или даже антисемитизма. Наверняка я бы не смог ничего доказать, и вылетел бы с работы, без сомнения — и с партийным взысканием. А по ряду семейных обстоятельств материальное положение моё было весьма нелёгким.

Но как бы то ни было, я струсил. И многие из нас в аналогичных ситуациях тоже струсили. А в результате «одесситы» уже не только в частных разговорах, но и публично и печатно глумятся и над маршалом Жуковым и над всеми нашими святынями.

НЕ СТРОЙ ИЗ СЕБЯ ЭРУДИТА

Брянщина — одно из любимейших моих мест в России. С каким удовольствием ездил я по этой прекрасной земле,

не уставая восхищаться пейзажами, памятниками истории и, конечно, замечательными людьми. Началось с того, что я последовал совету главного редактора газеты «Труд» Александра Михайловича Субботина: «В командировках пьянствовать, конечно, не надо, но не бойся выпивать с рабочими людьми. Мы же русские, так принято. Откажешься — вызовешь недоверие. Но меру знай». Первым испытал меня шофёр, по дороге с вокзала в гостиницу — «Не откажетесь, если я предложу выпить? Вот в этом магазине у меня подруга работает, у неё в каптёрке спокойно, никто не потревожит». «Почему бы и не выпить за знакомство», — ответил я. Молодому читателю надо пояснить, что тогда никаких баров в советских городах, особенно нестоличных, не водилось, и, купив бутылку водки или настойки, надо было искать место, где бы её в безопасности, не опасаясь милиции или общественного патруля, распить.

Итак, мы расположились в каптёрке продмага, и подруга шофёра принесла нам стаканы. Разговор с шофёром оказался очень полезным. Узнав, что мне надо написать очерк о передовом рабочем машиностроительного завода, мой собутыльник посоветовал: «В парткоме, в профкоме вам будут предлагать М. и В., а я бы вам посоветовал встретиться с З. Мужик отличный, мастер что надо, его все уважают, но никаких чинов-орденов не имеет».

Я послушался совета, познакомился с этим мастером, действительно оказавшимся превосходным, и написал о нём. Потом я ездил по партизанским местам, да много чего видел. В одном райцентре завезли меня в райком партии. Небольшой домик, палисадник, как положено, два бюста на лужайке. Они меня огорчили и, проходя мимо, я с вежливой грустью заметил — скульптор у вас не особо, Маркса и Энгельса только по длине бороды различишь. На что мне сопровождающий ответил: «Да нет, мы недавно сюда переехали, а раньше здесь была музыкальная школа. С короткой бородой — это Глинка, а с длинной — Римский-Корсаков». А мне казалось, что я никогда не был столичным снобом...

«ДОКЛАД ТОВАРИЩА ШАЛЯПИНА»

Много было забавных случаев во время моей работы в газете «Голос Родины», издававшейся для соотечественников за рубежом. В 1970–1980 годы многие люди, особенно чиновники, пугались одного слова «эмиграция», для них оно прежде всего ассоциировалось с деникинцами, врангелевцами и прочей «белогвардейской сволочью». Приходилось терпеливо разъяснять, что за границей живут русские люди, в большинстве своём не имеющие и не имевшие никакого отношения к «белогвардейщине». Но укоренившиеся представления были сильны. Помню, в одном городе (не хочу его называть) я в ходе ознакомительной встречи долго рассказывал высокому начальнику о русском зарубежье, Он внимательно меня слушал, а в завершении беседы сказал — спасибо за интересную информацию, а теперь идите к моему помощнику, он будет с вами работать, введёт вас в курс здешних дел. Я пошёл к помощнику, оказавшемуся весёлым журналистом, и он со смехом приветствовал меня: «Здорово, колчаковец! Пока ты шёл по коридору, мой босс предупредил меня: смотри в оба, ничего не говори о наших здешних делах — к тебе идёт эмигрант».

И, конечно, не забыть беседу с ещё одним руководителем. Выслушав мою лекцию о русском зарубежье, о его выдающихся представителях, таких, как Бунин, Рахманинов, Шаляпин, он одобрительно подытожил: я с вами согласен. Я тоже знал товарища Шаляпина, несколько раз слушал его выступления. Прекрасные выступления! Очень глубокие доклады, все товарищи слушали очень внимательно...

Я не сразу понял, да и говорил он с акцентом, что он имеет в виду Шелепина — одного из руководителей Коммунистической партии и Советского государства того времени. Видимо, он решил, что я неправильно произношу его фамилию. Во всяком случае, эта путаница пошла мне на пользу — меня хорошо устроили, прикрепили машину и т. д.

А ВЫ КАДРИЛЬ СПЛЯСАТЬ МОГЛИ БЫ?

Ой, не всегда эмигрантская тематика приводила к нравственно-психологическим победам. Был я в США, а там в 75 милях к северу от Нью-Йорка, недалеко от городишки Монро есть такое местечко — Арроу-парк. Русская, а точнее славянская база отдыха. У главного корпуса стоят бюсты Пушкина, Шевченко, Якуба Коласа, потом (я уже этого не застал) к ним прибавился Мицкевич. Довелось мне там побывать в командировке от газеты «Голос Родины» (официально она была оформлена как частная поездка по приглашению одного старого белоруса — посланцу нашей газеты американские власти в 1978 году визы бы не дали). Был митинг с речами в пользу дружбы народов и мира во всём мире, а вечером торжественный ужин и танцы.

И вот тут-то я опозорился. Русские американцы начали с кадрили и, естественно, вызвали на круг и меня. Спросили — какую кадрили я люблю танцевать — рязанскую, смоленскую, курскую, не помню, какую ещё. А я ни одной не умею! Я — живущий в России! Я восхищался их танцами (а потом писал о том, как это хорошо, что они не утеряли свою русскость), но я-то опозорился по полной.

И ЕЩЁ О НАЦИОНАЛЬНОМ ВОПРОСЕ

Коль вспомнил Америку, расскажу об одном дорого обошедшемся мне конфликте, зародившемся в этой поездке. В числе прочих интересных мест посетил я культурный центр лемков (другие наименования этого народа — карпаторусы, русины). Большая их колония переселилась в США после первой мировой войны, когда немцы перебили сорок процентов этого немногочисленного славянского народа. Никто, конечно, в данном случае не вопит и не стонет о холокосте или хотя бы о геноциде, поэтому для специалистов надо кое о чём напомнить. Лемковщина (так лемки называют свою родную землю) находится в Карпатах. История распорядилась так, что они оказались частью под властью Австро-Венгрии, частью — России. Наша

псевдорусская энциклопедия Брокгауза-Ефрона о российской части Лемковщины не упоминает. Не приходилось мне в популярной литературе читать о том, что пособниками немцев выступали тогда местные поляки и евреи, но об этом с горечью рассказывали мне в Лемка-парке в штате Нью-Йорк. Кстати, купили переселенцы этот участок потому, что он напоминал им их историческую родину в Карпатах — гористая местность, поросшая хвойным лесом.

Я практически свободно понимал речь лемков, гораздо лучше, чем украинскую. И это не удивительно — сами себя они считают ветвью русского, а не украинского народа. Я, естественно, об этом написал, написал и о том, что во время второй мировой войны лемки дружно выступали за помощь Советскому Союзу, собирали деньги на борьбу с Гитлером. На эти деньги, в частности, был построен корпус в Боткинской больнице в Москве, который много лет так и назывался — карпаторусским. Статья моя была в штыки встречена в Киеве: из-за того, что я «приписал» их к русскому народу, а они — «украинцы». Кстати, в упомянутой дореволюционной энциклопедии их называют «северо-западной частью украинского племени». Так же и в Советской энциклопедии, которую я не удосужился посмотреть. Украинские инстанции выразили возмущение моему московскому начальству, начальство проконсультировалось в ЦК КПСС, а там его заверили, что украинские товарищи совершенно правы. Так я попал в русские шовинисты и враги украинского народа. Ни больше, ни меньше. А подаренную мне в Америке книжку, в которой лемки объявляли себя ветвью русского (великорусского) народа, которую я представлял как доказательство своей правоты, начальство у меня конфисковало.

P.S. Это «идеологическое пятно» имело и чисто практические последствия. Вскоре после моей поездки в США у нас с женой наступал юбилей — серебряная свадьба. За несколько месяцев до этого я обратился в Союз журналистов с просьбой предоставить нам путёвку в международный дом отдыха журналистов социалистических стран

на озере Балатон в Венгрии. О, желающих слишком много, сказали мне. Я подкрепил просьбу ссылкой на свой юбилей. В который раз вы женаты? — спросили меня. Я ответил, что в первый. Редкий случай, сказали мне, вносим вас в список. (Современному молодому читателю это, наверное, мало件нятно; сейчас как — заплатил деньги — и поезжай куда хочешь, но речь идёт о конце 1970-х годов.) Но когда подошло время «оформлять» поездку, то есть получать разрешение парткома, мне отказали — вас опасно выпускать за границу. А как же моя командировка в США, где меня антисоветские провокаторы подбивали стать невозвращенцем? Вы вернулись, это хорошо, но совершили политическую ошибку в национальном вопросе, в отношении карпаторусов-лемков. Нет, разрешения ехать в Венгрию не будет... Серебряный юбилей мы отмечали в родных пенатах.

ВИТЯ КУПЦОВ, ТЫ ЕЩЁ ЖИВ?

Не помню, в какой редакции у нас работал хороший толковый парень — шофёр Витя Купцов. Как-то уволилась женщина-курьер, а нужно было срочно доставить какой-то документ в какое-то учреждение. Витя случайно услышал этот разговор и предложил — давайте я отвезу. Кому там надо отдать? Ему объяснили, Витя съездил и выполнил две функции — водителя и курьера. Это очень понравилось нашему кадровику, и он предложил — давайте оформим Виктора Купцова курьером. Ему приработок, а нам — решение проблемы. Начальство дало добро, так и сделали. Раньше Витя, отвезя курьера куда надо, дремал в машине, пока тот поднимался в контору, сдавал бумагу, получал расписку и возвращался. Теперь всё делал он один.

Всё было хорошо, пока не нагрязнула инспекция из Министерства финансов. Кто разрешил платить одному человеку за двоих?! Но он же и работает за двоих! Кто разрешил? Это самоуправство и нарушение закона. Редакция еле-еле выпуталась из этой истории. А Витя Купцов уволился, найдя более высокооплачиваемую работу.

Это было во времена провала «косыгинской реформы». Когда я пришёл работать в газету «Труд», в 1967 году, мы всю воспевали «щёкинский эксперимент». На химическом комбинате в Щёкино (Тульская область) попробовали сократить численность рабочих бригад, подняв зарплату оставшимся. Казалось бы, всё гениально просто — работали трое, один ушёл, его заработок разделили на двух оставшихся. В условиях нехватки кадров, которая тогда ощущалась, всё было бы прекрасно, но... Но оставшимся стали прибавлять не по половине, а гораздо меньше, и эксперимент практически вылился в снижение расценок. Так советские экономисты губили своё государство, не давая ходу разумным начинаниям. Сейчас, по прошествии полувека, узнав очень многое о том времени, чего мы тогда знать не могли, я думаю, они это делали нарочно. Не все, конечно, но многие учёные в душе лелеяли мечты о переходе на рыночную экономику — с тем, чтобы их детки стали капиталистами. Да, так, я в этом убеждён. Витя Купцов, если ты ещё жив, я бы очень хотел, чтобы ты прочёл эти страницы. Привет тебе, дорогой!

СЛАВА ТРУДУ — ЛОЗУНГ ИЗ ПРОШЛОГО

За годы работы в газетах перевидал я немало известных людей. Но сейчас хочу рассказать лишь об одном из них. Довелось мне встретиться с Алексеем Григорьевичем Стахановым. Знаменитого шахтёра я видел незадолго до его смерти, он был стар, но красив и крепок — помню его рукопожатие, его ясные глаза и живое лицо. После падения коммунизма о Стаханове стали писать — и сейчас пишут — всякие гадости. Дескать, всё это была пропаганда, никакого рекорда не было, и всё стахановское движение — сплошная туфта. Причём, что особенно позорно, в тему стали лезть и те, кто раньше всё это восхвалял, например, журналист Авдеенко. Думаю, на том свете его за это наказали. Что уж говорить о таких потешных фигурах, как обделённая талантом поэтесса Элина Сухова, у которой в одном из бездарных антисоветских

стихотворений есть такая строчка: «Стаханов лез в забой, кайло звенело...». Откуда знать этой дамочке, что когда на шахту поступила новейшая по тем временам (1935 год) техника — отбойный молоток, пришедший на смену кайлу, первым его получил Алексей Стаханов, один из самых лучших, самых искусных рабочих в коллективе. Борзописцы квакают, что-де рекорда не было — Стаханов только рубал уголёк, а крепи ставили два подсобника. Так и было задумано, а «нарубал» он при таком методе в четырнадцать раз больше, чем раньше, в расчёте не на трёх, а на одного члена бригады. На каждого пришлось четырнадцатикратное превышение прежнего показателя, на каждого! Но я не собираюсь пересказывать известные факты. Кто хочет — сам прочитает. Злобствуют враги СССР и по поводу того, что Стаханову были предоставлены ошутимые льготы — начиная с квартиры и кончая ложей в клубном театре. Но молчат борзописцы о том, что этот пример был подхвачен в западных странах, где внимательно изучали опыт сталинских пятилеток, — и там отличившихся рабочих стали материально и морально поощрять. Так, им давали дополнительные отпуска и посылали в оплачиваемые фирмами круизы по тёплым морям. А для этого переделывали круизные суда — роскошные каюты для «мистеров Твистеров» разгораживали на несколько скромных кают для рабочих...

Конечно, ошибкой было то, что Стаханову дали надуманную должность в наркомате и превратили в чиновника, но он-то в этом не виноват. В Москве поселили его в знаменитом «Доме на набережной» для высшего начальства. И до сих пор там висят мемориальные доски в память об одиозных фигурах, которые наверняка варятся в адских котлах на том свете, а доски с именем Стаханова — нет. Вышиб его из этого дома и из Москвы Никитка Хрущёв. Дело было так. Приехала в СССР делегация французских коммунистов и кто-то из делегатов, будучи на приёме у Хрущёва, спросил его о Стаханове. Никитка не знал, запросил справку и когда узнал, где живёт прославленный герой труда первых пятилеток, разъярился — нечего

ему здесь, в Москве, делать. И выгнали Стаханова из столицы. Он вернулся в Донбасс, в родной город, и его приютил бывший парторг его шахты Петров, которому удалось выбить для Алексея Григорьевича скромную квартирку. Вот в это время он и приезжал в Москву по приглашению газеты «Труд», где я его и видел.

Через несколько лет издательство «Молодая Гвардия» заказало мне для серии «Жизнь замечательных людей» написать книгу о другом герое предвоенных пятилеток — знаменитом сталеваре Макаре Мазае, которого называли Стахановым от металлургии. Это был, как я сразу понял, взявшись за работу, очень достойный и очень интересный человек, жизнь которого оборвалась трагически рано — его убили немцы в оккупированном Мариуполе. Не мне судить, какая книга у меня получилась, но когда я её закончил, у нас в стране произошла смена общественного строя. Теперь у нас другие героини, — сказали мне в издательстве, — аванс можете не возвращать... Да, вскоре Ельцин похвалит пацанов, которые продают кока-колу и сигареты водителям, шныряя между автомобилями, а элитой страны объявят не учёных и не стахановцев, а спекулянтов и проституточного пошиба певичек. А на доме напротив моего снимут лозунг «Труд — источник богатства». А в серии «ЖЗЛ» начнут издавать книги о личностях вроде Марины Мнишек, Чингиз-хана или Троцкого, причём руководитель издательства скажет в одном из газетных интервью, что настанет время и они выпустят книгу о Гитлере. Не хочу называть фамилию, но этот деятель руководил издательством и в те годы, когда там неоднократно отвергали предложение издать книгу о Третьякове, потому что тот был капиталистом-эксплуататором.

СПУТНИК НАД ПАСТБИЩЕМ

Это было в Туркмении, в Ашхабаде. Я сидел в гостях у корреспондента газеты «Труд» Саши Панасенко — украинского хлопца, которого после окончания университета «распределили» в Туркмению. Там он женился на местной

девушке (русской) и, как говорится, стал пускать корни. В тот день, вернее утро (учтите ещё разницу во времени с Москвой) позвонили из редакции и дали команду — только что запустили спутник (это было начало космической эры), давай в номер отклик на событие. Будет подборка откликов — от рабочего, учёного, студента, солдата, ну сам знаешь. С тебя — чабан. Срочно, срочно! Саша уже обзавёлся полезными связями, он сразу позвонил пограничникам и они согласились взять его в обзорный полёт вдоль границы с Ираном. Мне, к сожалению, отправиться с ним было нельзя, а Саша был у военных оформлен для подобных случаев.

Вернувшись через несколько часов, он рассказал: «По дороге в вертолёте написал текст — мол, я, такой-то, Ахмед Мамедов, пастух такого-то колхоза, горячо приветствую очередной успех советской космонавтики, за развитием которой мы в нашем колхозе внимательно следим. И главное — подпись. Летим, командир говорит — глянь, вон чабан отару овец пасёт. Сгодится? О кэй, говорю. Садимся. Я бегу к чабану — каждая минута дорога. Объясняю, в чём дело — запустили спутник, нужен ваш отклик. Чабан — величественный старец. При моём появлении не шевельнулся. Когда я кончил говорить, плавно провёл рукой и промолвил, именно промолвил, а не сказал (на приличном русском языке): „Не суетись, сынок. День долог, а солнце ещё высоко“. В этот момент я понял, закончил Саша, в сколь разных мирах мы живём».

Я тоже испытал острое ощущение того, что Киплинг выразил знаменитым стихотворением «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись». Вернее — несколько раз испытал. В той же Туркмении я совершил длительную поездку по нескольким городам с министром местной промышленности республики — женщиной средних лет. Везде нас, конечно, угощали. За столом сидели «товарищ министр», местный раис (начальник), несколько должностных лиц рангом ниже и я. Блюда подавали из-за занавески дочери хозяина — девочки-подростки, которым ещё можно было показываться перед



чужими мужчинами с открытыми лицами. Однажды меня посадили так, что я при открытии занавески мог видеть кухню и командовавшую там жену хозяина дома. О, с какой ненавистью, с каким презрением смотрела она на женщину-министра! Она в ней видела бесстыдницу, сидящую за дастарханом с чужими мужчинами, бесстыдницу с открытым лицом и с открытыми почти до колен ногами (министр носила европейское платье).

Вариация этой сцены случилась, когда я был в гостях у туркменского чиновника среднего уровня. Мы ужинали с ним вдвоём, блюда подавала его дочка лет девяти-десяти. В ходе беседы чиновник сказал — да, наша республика ещё во многом отсталая, многие наши люди не показывают жену гостям. А я не такой. Тут он хлопнул в ладоши, и немедленно из соседней комнаты (видимо, кухни) показалась женщина. Вот моя жена, сказал чиновник и махнул рукой. Женщина тут же исчезла.

А в таджикской глубинке в магазине я увидел немислимо желанный для москвичек дефицит — английские трикотажные костюмы (это было в 1960-х). Никто их не брал. Кстати, иногда ляпы советской торговли, ориентированной на равенство, вернее — одинаковость народов, я иногда горячо приветствовал. Так, в одном среднеазиатском райцентре (не помню, в каком) я увидел дефицитнейшую книгу — стихи Андрея Белого в Большой серии «Библиотека поэта». В Москве её достать было невозможно. Здесь я взял вожделенный синий том и на всякий случай спросил — а ещё одного экземпляричка у вас не найдётся? Продавщица пожаловалась, что прислали десять штук этой книги, которую никто не берёт. Я купил все десять, она меня благодарила. Вернувшись в Москву, я был обеспечен подарками друзьям... Но продолжу рассказа о магазине в таджикской глубинке, где покупательницы равнодушно проходили мимо английских трикотажных костюмов. Там же я увидел, как выставили на комиссионную продажу пару больших фарфоровых ваз. «Китайская работа, — восхищённо сказал мне сопровождающий, — но у меня таких денег нет». Я постарался задержаться в магазине

и наблюдал, с каким восторгом рассматривали эти вазы посетители.

А в одном казахстанском городе при виде очереди в кассу кинотеатра я пожалел, что не смогу попасть на новый французский фильм. Но мой спутник успокоил меня — да кому он нужен, очередь стоит за билетами в другой зал, там идёт индийская картина. Прав, прав старина Киплинг!

БЕСПОРТЕЙНЫЙ КОММУНИСТ

По понятным причинам не буду называть фамилию знатной стахановки-птичницы 1960–1970 годов, с которой у газеты «Труд» сложились хорошие отношения. Мы все её очень любили. Юмор у неё был бесподобный. Вот один из её рассказов (если будете читать этот текст, имейте в виду её окающее произношение).

«Приехал однажды ко мне на ферму секретарь райкома (коммунистической партии). И тут пошёл очень сильный дождь. От моего дома, где секретарь полóжил вещи (гостиницы у нас в колхозе ещё не было) до фермы не дойдёшь — грязь по уши. Делать нечего, сидим, беседуем, потом я ужин собрала, выпили маленько. А дождь не перестает. Что делать? Остался секретарь на ночёвку, я ему постелила в другой комнате. Ну вот. А ночи в августе томкие, я ворочаюсь, он ворочается, я и говорю — иди ко мне, секретарь. А он — нельзя мне, я портейный... Так и промаялись кое-как всю ночь. А дождь-то стих. Утром пошли на ферму. Секретарь хмурый, в глаза мне не смотрит, всё ему не так. И построен птичник мой не так, и оборудование не такое, и вообще, говорит, с чего это у тебя куры так плохо несутся? А я говорю — а с чего им хорошо нестись-то, ведь петухи у меня все портейные...»

Понятно, какой поднялся хохот в нашем редакционном кабинете. И тут гостья добавила: «А вот ваш-то корреспондент по нашей области Юрочка Пискунов (имя и фамилия подлинные Ю. Б.), хошь и коммунист, но совершенно беспортейный!»

КОНКУРС НА ПЕРЕДОВИЦУ

Журналисты-газетчики знают: самое тоскливое дело — это писать передовые. Например, «Навстречу выборам в народные суды», причём не раз, а раза три с небольшим интервалом. Во всяком случае, «в моё время» так было. Бытовала тогда в нашей среде поговорка «Сначала письма, потом передовые, потом всё остальное». Имелось в виду — письма читателей, на которые согласно постановлению высших инстанций, необходимо было отвечать в десятидневный срок. А писем приходили — мешки. Помню, в 1960-е годы в отделе писем была норма на работника — 52 письма в день. Это вступление для ясности, в чём заключалась проблема.

А дело было такое. Однажды у нас в редакции (в какой — по понятным причинам не назову) заспорили — кто быстрее напишет передовицу. Разработали условия: всем объявят одну тему, запрут в комнате без телефона и других связей с внешним миром и с запретом общаться друг с другом. Жюри, естественно, потом проверит — годен ли текст. Соревноваться решили три молодых человека и одна женщина (назовём её Эльвирой, Элей), молодая, заметим, и красивая. Я «стоял на шухере», т. е. в соревновании не участвовал, но должен был находиться «на стрёме» и контролировать соблюдение правил.

Итак, четверо сели каждый за отдельный стол, я объявил тему и дал сигнал: начали! Кто-то начал с размышлений, видимо, выстраивая в голове план статьи, кто-то принялся немедленно что-то строчить, а Эля спокойно разделась до пояса, оставшись, говоря по-иностранному, топless, и неспешно приступила к работе. Ох, как вся троица старалась не поворачивать голову в её сторону! Но — поворачивала. Только тут я понял, почему Эля упорно настаивала на том, чтобы сесть за задний стол (они стояли один за другим). Ведь если бы она сидела за передним, как ей предлагали, её соперники видели бы только её голую спину. Надо ли говорить, что Эля первая сдала мне свой текст. Остальные — с большим отставанием. Жюри, которое не знало об обстоятельствах «гонки», подивилось

такой впечатляющей победе единственной женщины, которая, можно сказать, нокаутировала известного мастера передовиц Николая К.

ВETERАН БРЕГМАН

Когда я работал в газете «Водный транспорт» (это были годы так называемой «перестройки»), случилось мне быть на чествовании ветерана газеты Брегмана (забыл его имя-отчество). Это был очень уважаемый в коллективе человек, участник войны, полярник, энтузиаст, много раз совершавший трудные плавания — в частности, он прошёл на хлипком судёнышке путь Семёна Дежнёва, открывшего проход между Азией и Америкой (названный именем Беринга — не ценит Россия своих героев), причём, как и Дежнёв, проплыл он со стороны не Тихого, а Ледовитого океана. Словом, Брегман был человеком вполне заслуженным.

На торжестве он, как водится, пустился в воспоминания. И начал издалека. Со своей комсомольской юности, которая пришлась на годы коллективизации. Жил он тогда в Ростове-на-Дону. Как с гордостью рассказывал Брегман, он, совсем юный, выполнял ответственные задания крайкома комсомола, которым, конечно, руководил крайком партии. А крайкомом партии руководил видный коммунист Шеболдаев. Так вот, юный комсомолец Брегман получал задания — поехать в такую-то станицу и выяснить её политическое лицо. За два дня, хвалился ветеран, мне удалось определить политическое лицо станицы — лояльна она к советской власти или нет. Возвращался в Ростов, докладывал. Если я считал станицу враждебной, её окружали войска НКВД и выселяли на Дальний Восток. Видно, Брегман выпал из времени и не соображал, в каком году он делает эти признания. Я с ужасом смотрел на него, а он всё похвалялся и похвалялся своей политической зрелостью в юные годы...

Теперь в Интернете нетрудно получить сведения о том, что Шеболдаев заносил такие станицы на «чёрные доски»

и что это были за станицы. А я вспоминал опубликованный уже тогда рассказа Василия Аксёнова «На полпути к Луне», в котором герой рассказа вспоминает, что он когда-то жил в донской станице, но потом она «почему-то» решила переселиться на Дальний Восток. Вот из-за таких Брегманов и Шеболдаевых и «решила». И ещё я вспоминал, с какой слезой Никитка Хрущёв говорил в 1956 году на XX съезде партии о горестной судьбе товарища Шеболдаева, которого истязали в 1937 году перед тем, как расстрелять. И ещё я жалел, что в своё время не расстреляли и Брегмана.

В БОРЬБЕ С ПЕССИМОКРАТИЕЙ

Моё вращение в журналистскую среду проходило в общем-то быстро, но всё же я довольно долго числился в новичках. Причиной тому был мой возраст. Ведь я пришёл в газету в тридцать четыре года, а не в двадцать два, как выпускники журфака МГУ. (Потом это представление обо мне как о «перестарке» повторится в писательской среде.) И многих вещей я, действительно, не понимал — разумных вещей, но идущих вразрез с профессиональными догмами. Вот пример. Вскоре после моего прихода в печать, через несколько месяцев, в декабре того же 1967-го, южноафриканский хирург Кристиан Барнард сделал первую в мире пересадку сердца. Моё политизированное мышление тут же вывело меня на вопрос — а в условиях господствовавшего тогда в Южной Африке апартеида, то есть строжайшего раздела между людьми белой и чёрной расы, допустимо ли будет пересадить белому сердцу негра или наоборот. И я написал короткий фельетон. Перед тем как понести его в международный отдел я решил посоветоваться с ветераном отдела и вообще работы в печати, всеми уважаемым Феликсом Родионовым. Он ничего не сказал о тексте, но устроил мне форменную выволочку: «Ты что, международник? С чего это ты возомнил, что ты что-то понимаешь в международных делах? Чего ты лезешь не в свой огород? Ишь, зарвался — на внешнеполитические темы

решил писать! Это неслыханно!» И т. д. и т. п. Порвал мою заметку и выбросил её в корзину.

И я отступил перед напором уважаемого ветерана. Но буквально через несколько дней в «Известиях» появился фельетон, построенный на том же рассуждении, что у меня. Это был важный для меня день. Я вспомнил, как много лет тому назад в больнице важный дядька из райисполкома признался мне, что мечтает однажды прочесть в газете весть о революции в Америке, и тогда я понял, что я, шестнадцатилетний юнец, лучше его разбираюсь в международном положении. Сейчас в несколько иных формах повторилась та же ситуация. И я взял номер «Известий», обвёл красным фломастером заметку об операции доктора Барнарда, положил перед Феликсом Родионовым и сказал: «С сегодняшнего дня советоваться с тобой я не буду, потому что кое в чём я соображаю лучше тебя». Он промолчал. Но и я больше «не рыпался», кроме одного раза, когда я «влез» на территорию другого отдела, написав статью о рабочем, которого призвали в милицию и он стал хорошим участковым. Её тоже отклонили. Правда, несколько юморесок я в «Труде» всё же опубликовал...

Ушёл я из газеты с тяжёлым сердцем — уж очень «достал» меня редактор отдела Олег Кузнецов. Претензий по работе он ко мне не имел, но вымогал деньги. А у меня по ряду семейных причин было очень сложное материальное положение. Разумеется, брал Кузнецов не купюрами из рук в руки, а бесконечными попойками в ресторане, где я должен был за него платить. Кстати, не один я облагался этой данью, передо мной один человек сумел сбежать в другой отдел. Мне же это не удалось — звали меня в отдел фельетонов, но главный редактор возразил: Баранов, дескать, нужен как знающий производство человек. Вскоре после меня вознамерился уходить заместитель редактора отдела, на котором многое держалось, и только тут до Главного стало доходить, что с Кузнецовым что-то не то. Он провёл дознание, выяснил, как он обирает не только своих сотрудников, но и соборов газеты. Из Сибири должны были везти ему рыбу,

из Средней Азии и с Кавказа — фрукты и т. д. На дознании выяснилось, например, что корреспондент по Киргизии Лёша Молдокматов, приезжая в Москву, покупал на Центральном рынке несколько арбузов и дынь, преподносил Кузнецову и уверял, что чуть ли не самолично набрал их на бахче в родной республике. Кузнецова не уволили, но, как говорится, сильно «пригнули», да и отдел был уполовинен (разделён надвое).

Я очень жалел, что пришлось уйти из «Труда». И перед А. М. Субботиным испытывал чувство неловкости — ведь незадолго до того я получил от газеты квартиру, что решило очень болезненный для меня жилищный вопрос. Квартиру на окраине, вдали от метро, но — перед домом проходит Савёловская железная дорога. От двери квартиры до вагона электрички — шесть минут ходу. Это открыло перед нами с женой возможность без излишних сложностей ездить в лес.

«Я счастлив в лесах», — говорил Бетховен. Да, да, немец Бетховен, что уж говорить о нас, русских людях. В те первые годы, когда мы были молоды и здоровы мы, бывало, уезжали с первой электричкой, а она уходила с нашей платформы в 4.13 утра. И через час двадцать мы уже сходили на нашей любимой станции. До леса (не до опушки, а до леса) там полчаса ходьбы, причём не по городу, не по посёлку. У нас с собой — кофе в термосе, сок, бутерброды — что ещё нужно. Рай, одним словом. Кстати, одно из моих стихотворений о лесе так и называется — «Рай».

Господи, да разве можно рассказать о лесе? В стихах ещё кое-что можно, а прозой — плохо получается, у меня во всяком случае. Да и не всем это интересно. В разгар нашего увлечения лесом начался в стране туристический бум (я имею в виду поездки за границу). В значительной мере из-за леса он меня не затронул. Побывал я в командировках в США и в Чехословакии (в её чешской части). Позднее, уже в писательское время, дважды ездил в Польшу — на международные литературные Чтения. А больше никуда не ездил. Хотя и мог, конечно. Но — читайте об этом в моих стихах, там всё сказано.

О стихах. Я почему-то перестал их писать в 1967 году по двум, как мне представляется, причинам. В начале того года умерла моя бабушка — горячо любимый мной человек, и почему-то её кончина, как говорится, выбила у меня из рук перо. Не знаю, почему, но так было. И вторая причина — в том же году, как уже говорилось, я круто изменил род занятий — ушёл из инженерного мира в журналистский. Может быть, работа со словом с утра до вечера отвлекла, отбила меня от стихов. Особенно, как помнится, это сказалось во время работы в ТАСС (ныне ИТАР-ТАСС), куда я перешёл из газеты «Труд».

Туда я пришёл уже не новичком, а выходцем из солидной уважаемой газеты, самой тиражной в СССР. Кстати, когда я поступил в «Труд», в стенгазете был помещён лозунг «Даёшь три миллиона!». И дали, а потом каждый год прибавляли по миллиону. Дело дошло до того, что на местах некоторые партийные органы пытались тихой сапой ограничить трудовскую подписную кампанию — профсоюзная газета перегнала центральный партийный орган — «Правду». Сейчас это кажется странным, особенно при том, что профсоюзы совершенно заглохли в нашем «демократическом» государстве, хотя должно было быть наоборот. Работать в ТАСС приходилось на износ. Не случайно, когда я оформлял своё поступление, заведующий управлением кадров с улыбочкой сказал мне: «Вовремя вы собрались к нам, вовремя, ведь вам через два месяца стукнет сорок, и мы бы уже вас не взяли!» «За сорок» брали только звёзд, но я не был звездой.

ТАСС был очень хорошей школой. Пришлось выучиться не только суровой дисциплине, но и умению собирать волю в кулак и независимо от состояния здоровья и настроения выдавать материал точно в срок. И — уметь писать коротко, не теряя главного. И — точности, достоверности, полному отсутствию ошибок. Наш главный редактор Николай Владимирович Колесов говорил: «Проверяйте все цифры, даты, цитаты, факты, фамилии вплоть до подписи. Подписали — Иванов. Вы знаете свою фамилию, но на всякий случай посмотрите в паспорт».

Приведу один пример. В том 1973 году в Чили произошёл государственный переворот, народное правительство Сальвадора Альенде было свергнуто военной хунтой генерала Пиночета, президент убит. Писали, естественно, об этом много. И вот — западные агентства со злорадством сообщают, что ТАСС врёт, что жена свергнутого президента Альенде не убита, она в Мексике, жива и даёт интервью. Об этом ЧП тут же доложили генеральному директору ТАСС Леониду Митрофановичу Замятину. Тот приказал немедленно выявить источник дезинформации. За пару минут нашли — сообщение о гибели вдовы президента написал такой-то сотрудник международной редакции. Немедля вызвали его «на ковёр». Откуда ты взял сведения о гибели госпожи Альенде? Тот, молодой парень, насколько помню, выпускник МГИМО, отвечает: Ну, я читаю сообщения из Чили — жену такого-то министра убили, такого-то убили и такого-то убили, ну, думаю, уж супругу-то президента наверняка убили... «Вон, — закричал Замятин, — уволить немедленно и диплом погасить!» Не знаю, как насчёт диплома, а уволили дурака немедленно.

(Прошло много лет, я давно уже работал в другом месте, читаю сообщение корреспондента ТАСС из Швеции о присуждении Нобелевских премий. В числе прочего собкор написал, что первую премию по литературе в начале XX века присудили французской поэтессе Салли Прюдом. Неграмотный козёл не мог разобраться, что это поэт-мужчина Сюлли Прюдом. Я разозлился и позвонил в ТАСС, представившись, естественно, бывшим сотрудником. Мне равнодушно ответили, что от ошибок никто не застрахован и даже не поблагодарили за информацию. Сказали также, что, конечно, наказывать и уж тем более отзываться корреспондента не будут. Вот до чего докатился ИТАР-ТАСС в эпоху «демократии». Не удивлюсь, если узнаю, что сейчас зарубежным корреспондентом могут за деньги назначить любого джигита, купившего диплом на восточном базаре.)

Интенсивная работа в ТАСС с текстами привела к тому, что я совсем перестал писать стихи, но зато — усилилась потребность слушать музыку. В это время я собрал

неплохую коллекцию пластинок (виниловых — дисков ещё не было) и очень часто ходил в Консерваторию. Да, в каждой редакции, в которой пришлось мне работать, были свои минусы, но и плюсы, полезные для повышения мастерства.

Полной противоположностью ТАССу я бы считал газету «Голос Родины», издававшуюся для Русского Зарубежья. Теоретически мы должны были конкурировать с западными изданиями, поэтому клише типа «Правды» — «Известий» вроде «Воодушевлённые решениями такого-то съезда КПСС, трудящиеся всё теснее сплачиваются вокруг родной коммунистической партии и её Центрального Комитета во главе с выдающимся деятелем коммунистического и рабочего движения верным ленинцем товарищем таким-то...» здесь не проходили. Вот сейчас листанул своё досье и попалась мне на глаза моя передовая статья под заголовком «Тысяча долларов за ночной дождь». Где, кроме «Голоса Родины», такое было возможно? А речь в статье шла о том, что безопасность на улицах московских городов, когда парочки могут спокойно гулять по ночам, дорогого стоит. (Нет, я не врал, я и сам так гулял большую часть своей жизни, но не мог, конечно, предвидеть, что с воцарением «демократии» всё это кончится. Что если раньше поздно вечером я выходил из пустого вестибюля станции метро, то при «демократии» я буду проходить через толпу озабоченных мужчин — отцов, мужей и братьев, ждущих своих женщин, чтобы довести их до дому...)

Годы работы в «Голосе Родины» (1976–1984) я считаю самыми плодотворными с профессиональной точки зрения. Именно там я научился совершенно свободно выражать свои мысли. Я занимал должность редактора отдела контрпропаганды (в разговорах с иностранцами и в печати он именовался отделом публицистики). Резко расширилась тематика моих материалов. Если раньше я писал практически только на экономические темы, то теперь я занимался в основном вопросами политики, в том числе внешней, и культуры. Причём значительный удельный вес в материалах занимала тема зарубежья,

эмиграции. А также, что немаловажно, — истории. Интересно было работать, очень интересно. В отделе у меня была два хороших журналиста — Анатолий Афанасьев, философ по образованию, эрудит, защитивший, работая в редакции, кандидатскую диссертацию (потом он ушёл, сделал большую партийную карьеру, а после «перестройки» и роспуска КПСС, занялся бизнесом и был убит кавказскими конкурентами) и Алла Осадчая. Анатолий был мастером научных статей, Алла могла написать то, чего мы с Анатолием не могли, — что-нибудь чувствительное о судьбе несчастной женщины; в общем, мы хорошо друг друга дополняли и жили очень дружно.

Изменился, разумеется, и круг авторов. Мы печатали статьи солидных учёных, известных журналистов, общественных деятелей. У нас часто бывали члены нашего редакционного совета великая певица Людмила Зыкина, знаменитый футболист Лев Яшин, космонавт Павел Попович, артисты Людмила Касаткина, Алексей Баталов, Михаил Ножкин, историк Анатолий Филиппович Смирнов и другие. Некоторые из них ездили от нас в загранкомандировки, что по тем временам было большой редкостью. Тогда, во времена холодной войны, нужно было соблюдать определённые рекомендации. Так, Булат Окуджава поехал от нас в Париж с единственной просьбой — не будировать польскую тему (как раз в это время образовался профсоюз «Солидарность» во главе с Лехом Валенсой, в Польше было неспокойно). На вечере Окуджавы собрался весь «русский Париж» — от советских дипломатов до диссидентов. Выйдя на сцену, бард воскликнул — о, я вижу здесь своих польских друзей и потому начну концерт с песни «Ещё Польшка не сгинела...». За это попало Афанасьеву — именно он оформлял бумаги Окуджаве для командировки. К слову — мы решили тогда не то что отомстить — позлить знаменитого барда. Разговор с ним повернули на тему о книгах. Окуджава стал восхвалять труды антисоветчиков, и тогда я сказал — вы ещё Авторханова не упомянули. Окуджава аж взвился — это лжец, это подлец и т. д. Я говорил о книге изменника Авторханова, чеченца,

перебежавшего к немцам; он поливал грязью СССР, но тонкость была не в этом, а в том, что он назвал отца знаменитого барда, видного партийного работника 1920–1930-х годов Окуджаву-старшего «сталинским стукачом».

А вот Владимир Высоцкий никаких подобных демонстраций не устраивал. Посылали мы во Францию и великую нашу певицу, которая давала концерт «Людмила Зыкина для Русского Парижа». Опытные менеджеры заранее подгоняли к концертному залу машины скорой помощи — они знали, чем дело кончится. Людмила Георгиевна завершала концерт гениальной песней «Изда-лека долго течёт река Волга». На словах «Когда придёшь домой в конце пути, свои ладони в Волгу опусти» раздавались рыдания старых русских эмигрантов (разумеется, не колбасноджинсовых диссидентов, сбежавших из СССР по израильской визе), несколько человек теряли сознание и падали в обморок... Интересный инцидент случился с Алексеем Баталовым. На встрече со зрителями фильма «Срочно требуются седые волосы» один старый русский парижанин сказал (цитирую по памяти): хороший фильм, но вы его испортили, сделав местом действия проклятый Свердловск, город, где убили царя. Баталов на это возразил — но вы живёте в Париже, где, как известно, казнили королей. Парижанин растерялся: я как-то об этом не подумал...

Отбою не было от авторов в редакции «Голоса Родины» — требовался «вольный стиль» материалов, многие хотели попробовать свои силы. Получалось, конечно, не у всех. Ну, и, разумеется, приходилось тщательно проверять достоверность статей на эмигрантскую тему, мало кому известную по тем временам — ведь это было до так называемой перестройки. Помню, пришла как-то дамочка с претензиями эрудита, принесла статью о художнике Шагале. Говорила с таким апломбом, что сразу мне не понравилась. Потребовала тут же прочитать статью и сказать, когда она будет опубликована. Я прочёл первый абзац и понял, что сейчас дам ей отлуп. «Вы, говорю, плохо знаете биографию вашего героя, поэтому статью я отклоняю». Дамочка

аж задохнулась: я не знаю? я еврейка, я специализируюсь на статьях о евреях — деятелях искусств; а вы вообще слышали о Шагале? и т. д. и т. п. Я говорю (признаюсь, с издёвкой): «Читаю ваш первый абзац — мама зовёт маленького Шагала обедать „Марик, Марик!“, а обед-то был очень скудным... Не владеете вы темой». Почему — возмутилась дамочка, семья была бедная. И тут я наношу удар: «Дело в том, что Шагала звали Моисеем, а псевдоним Марк он взял себе, когда уже стал художником». Я исправлю, пробормотала дамочка. Нет, отрезал я, вношу вас в список авторов, которым нельзя доверять...

В эти годы я много общался с иностранцами (с американцами в основном) — и в редакции и за её пределами. Случайно (через одну родственницу) познакомился с её соседкой, почтенной пожилой дамой, бывшей преподавательницей музыки. У неё племянник был американцем, много лет работал в СССР на дипломатической службе, а так как жила тётушка в знаменитом Доме на набережной, в самом центре Москвы, у неё часто собирались русско-американские компании. Бывали там и дипломаты, и артисты, и вообще самые разные люди, бывал даже один американский сенатор и посол США в СССР господин Джек Мэтлок. Бывал и я и напивался очень интересной информацией.

Как-то американский племянник старой музыкантши рассказал мне, что он опросил несколько сот русских людей и всем задавал один вопрос: кто у вас первый поэт XX века? Две трети ответили — Есенин, одна треть — Блок; и это его поразило. Я сказал — по-моему, ты собрал объективные сведения. На что американец воскликнул: неужели вы, русские, не понимаете, что первый у вас — Мандельштам?! Но добавил, что говорило о его честности: правда, я никогда не бывал в русской деревне и не знаю взглядов тамошних жителей. Из политкорректности я не сказал, что, возможно, его мнение связано с национальными предпочтениями — это был человек с еврейскими корнями.

Но не всегда разговоры наши носили столь академический характер, тем более это были годы, когда у нас

началась «перестроечная» смута. Однажды заговорили о статье в нашей газете, где за русофобию был подвергнут резкой критике известный американский политолог Ричард Пайпс. Среди присутствовавших оказался один молодой человек, который у него учился (в США), и он сказал: мой учитель имеет два основания быть русофобом — он поляк и он еврей (настоящая фамилия польского еврея Пайпса — Пипес). И я заметил, как более опытный американский гость наступил молодому человеку на ногу — мол, не болтай лишнего. (Забавно и грустно — в 2019-м году, десять лет спустя после смерти озверелого антисоветчика влиятельного критика Валентина Оскоцкого его дружки опубликовали его статью, в которой он доказывал, что Пайпс отнюдь не русофоб; увы, не переводится русофобская братия в нашей стране, увы...) Ещё помню из времён «Голоса Родины», как повеселил меня разговор с одним американцем, который спросил — какую фракцию в советской компартии я поддерживаю (тогда, действительно, в КПСС завелись разные фракции). Я ответил — по работе я знаю одну ферму, там сейчас скотницы боятся, что её закроют и они останутся без работы. Я за ту фракцию, которая стоит за этих женщин. Американец: я имел в виду, какая фракция стоит за свободный выезд за границу... Я: а этим крестьянкам наплевать на границу, им важно, чтобы уцелело единственное место работы в их посёлке. Американец: но свободный выезд — это важный показатель демократии! Я: что важнее — свободный выезд или отсутствие безработицы?

Так мы «вели идеологическую борьбу», в которой я потерпел поражение, потому что у нас верх взяли такие, как Гайдар, который на вопрос, а что хорошего дали его реформы, ответил: многопартийность, свобода печати и свобода выезда за границу. По поводу последнего «достижения» этот козёл, ставший премьер-министром, заявил, что за свободный выезд в России боролись с XV века. Гайдар плохо учился в школе (хотя уверял, что хорошо) и не знал, что в XV веке русские люди больше всего боялись, как бы их не угнали в полон за границу и не продали

в рабство на плантации, на галеры, на строительство Венеции или не оскопили бы для восточных гаремов или итальянских капелл.

Увы, не всё, далеко не всё в «Голосе Родины» было хорошо. Тут надо пояснить, что редакция нашей газеты и журнала «Отчизна» была частью формально общественной организации — общества «Родина», «общества по культурным связям с соотечественниками за рубежом». Аппарат общества состоял в основном из малообразованных мелких служащих, грубо говоря, из отходов партийных органов и Министерства иностранных дел.

Большую часть времени при мне председателем Общества был Г. В. Горшков, бывший работник посольства СССР в Италии (говорили, что его поперли с дипломатической работы за какие-то махинации с автомобилями, но точно ли это, я не знаю). Однажды в Москву приехала и посетила нашу контору солидная дама из Парижа (забыл, к сожалению, её имя и фамилию), известный французский адвокат, член ЦК компартии Франции, русская по происхождению. На приёме у Горшкова она задала ему вопрос об отношении советской компартии к еврокоммунизму (это были идеологические нюансы разногласий между партиями), на что наш начальник ответил: «Сейчас я дам вам книгу, в которой вы найдёте ответы на все интересующие вас вопросы». И протянул ей «Речи и выступления Л. И. Брежнева». Наша гостья сразу поняла, с кем имеет дело, вежливо поблагодарила и, сделав вид, что забыла о важной встрече, заторопилась. Мы с Анатолием Афанасьевым вышли её проводить, и на улице гостья сказала: «Я понимаю, как вам сейчас стыдно за вашего начальника, но уверяю вас, что к вам у меня кроме симпатии и уважения ничего нет». В другой раз Горшков отказался принять дар двух старых русских парижан — письма Марины Цветаевой («а, эта, да зачем она нужна»). Гости буквально обалдели.

Не лучше был и заместитель председателя П. И. Васильев. Интересен мой первый конфликт с ним. В Москву из Лондона приехал князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский, известный собиратель произведений

театральной живописи, созданных художниками-русскими эмигрантами. Он передал список работ, выставку которых он предлагал устроить в обществе «Родина». Буклет был на английском языке, Васильев поручил мне перевести и разобраться, надо ли нам это. На следующий день я доложил ему, что собрание Лобанова-Ростовского превосходно, в нём представлены первые имена русского искусства начала XX века — Серебрякова, Бенуа, Корвин, Головин, Малютин, Рёрих и др. И что такую выставку несомненно нужно устроить в наших стенах. Васильев ответил, что подумает. Через пару дней он вызвал меня и в крайне резкой форме сказал, что я хотел его «подставить», что ему стало известно, что «этот князь, оказываётся», скупал картины и рисунки, воспользовавшись бедственным положением их прежних владельцев. Я пытался пояснить ему, что деятельность всех коллекционеров так и протекает: кто-то богатеет, кто-то начинает нуждаться в деньгах и вынужден продавать... Но начальник остался непреклонным. На прощание я задал вопрос: как мне мотивировать Никите Дмитриевичу наш отказ. «Придумайте что-нибудь», — буркнул Васильев. «Э нет, — возразил я, — моё мнение: выставка нужна, я сообщу гостю ваше мнение». «Не моё, а мнение нашей организации, — прорычал начальник, — скажите, что нам плотный график мероприятий не позволяет принять его предложение». Дело кончилось тем, что выставку с удовольствием устроил у себя Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, а я с того дня впал в немилость у Васильева.

Именно тогда в мой лексикон вошло слово «пессимократия», которое я позаимствовал у одного знакомого, эрудита и полиглота. Пессимократия — власть худших. Почему так часто неглупыми, хорошими людьми командуют плохие? Толчком послужило общение с Горшковым и Васильевым, но только толчком. Пессимократию приходилось наблюдать в разных сферах и на разных уровнях. Оглядываясь назад, я первым делом вспомнил Никитку Хрущёва — вот уж классический пример высшей пессимократии. Увы, я надеялся, что такое больше не повторится

и не мог, разумеется, предвидеть явление Горбачёва и Ельцина — но об этом позднее. Вспомнил я и афериста-азербайджанца Азиза Керимова, который заведывал нашим отделом в НИИ. Вспомнил, конечно, многих других придурков, которые были начальниками моих друзей и знакомых...

Что касается рядовых чиновников из общества «Родина», то это была сплошь серая масса. Больше всего они жаждали поехать в заграничную командировку и на сэкономленные деньги купить каких-нибудь шмоток. О поездке они писали жалкие малограмотные справочки. Я как-то не думал об этом, но после моей командировки в США главный редактор сказал мне — перестань писать, ты и так уже опубликовал пять статей и несколько раз выступал по радио, уймись, неужели ты не понимаешь, какую ненависть это вызывает у работников Общества? И так было не только со мной. Кроме нашего отдела отличные материалы давали Наталья Щеглова, Леонид Мезинов и кое-кто ещё.

А вот «верхушка» редакции была уровнем ниже. Сам главный редактор Олег Куприн был достаточно квалифицированным журналистом, но руководителем негодным и заместителей он набрал хуже некуда. Феномен известный — хороший руководитель подбирает хороших замов, плохой, боящийся конкуренции — плохих. (Хотя вроде бы Куприну не нужно было бояться конкуренции — его отец-журналист был лично связан по работе и находился в товарищеских отношениях с самим генсексом ЦК КПСС Л. И. Брежневым.) Но факт есть факт — замом по журналу «Отчизна» у него был малограмотный Г. Фролов, к тому же лично отвратительный и подлый человек, а замом по нашей газете «Голос Родины» — проходимец А. Байгушев, бездельник и интриган. В недавние годы он сочинил книгу о том, что он якобы возглавлял некую тайную разведку ЦК КПСС — не существовавшую в действительности — и выполнял личные задания главного идеолога партии Суслова. Никакой пользы газете мой «куратор» Байгушев не приносил, никаких советов мне не давал

и не мог давать. Когда он ушёл, на его место Куприн взял невежду и дурака В. Балашова, выгнанного за пьянство из другой газеты (здесь он тоже не расставался с зелёным змием и умер в его объятиях). И вот этого болвана Куприн первым послал в круиз по Балтике с заходом в города Финляндии, Восточной и Западной Германии и т. д. После возвращения Балашов по традиции рассказал коллективу о поездке. Из двух часов беседы он сорок минут (мы с Афанасьевым фиксировали время) посвятил рассказу о журналах с голыми бабами, которые продаются в газетных киосках Гамбурга. Пессимократия в чистом виде!

Но главным моим недругом стал зав отделом кадров и спецотдела Общества отставной полковник Кошута. Он числился ветераном войны, но в окопах не сидел, из пушек и винтовок не стрелял — был следователем. О своих старых делах он писал детективы, которые иногда удавалось опубликовать. И полковник решил, что если бы в издательства он приходил не кадровиком, а редактором отдела публицистики, его бы печатали охотно. Он не скрывал этих планов и открыто уговаривал главного редактора: да переведи ты Баранова на любую другую должность, а меня поставь на его место. Тогда мы с главным, кстати, однолетки, были в нормальных отношениях и он мне откровенно об этом рассказывал. Но постепенно отношение ко мне менялось, и вот уже, не знаю, по чьей инициативе, была затеяна «экспертиза», целью которой была низкая оценка моего профессионализма. Думаю, что это была идея или Кошуты или замглавного Г. Фролова, откровенно ненавидевшего меня. В качестве экспертов пригласили трёх видных журналистов, специалистов по иностранной прессе и по работе на зарубежную аудиторию. Из них я помню только одного — главного редактора газеты «Московские новости» Николая Ивановича Ефимова, до того долго работавшего, кажется, в Англии. Им представили материалы нашей газеты без указания авторов. Результат был ошеломляющий для Фролова и Ко.: эксперты сочли, что мои материалы отличаются от всех остальных в лучшую сторону!

Следующим накатом было обвинением меня в рвачестве. На партийном собрании зачитали размер моего партийного взноса за последний месяц — цифра на общем фоне звучала очень внушительно. Я объяснил, что это гонорар за только что вышедшую книгу, который выплачивается сразу, а книга-то писалась долго. Но кто не хочет слышать, тот не слышит. Кроме того, взрыв ненависти чиновников вызвали мои слова, что вообще-то меня и моих соавторов нужно было бы не ругать, а поблагодарить за эту книгу — ведь она пропагандирует работу нашей организации. Помню злобный выкрик одного из придурковатых участников судилища: «Коммунист должен быть скромным. А ты требуешь, чтобы тебя восхваляли!». А книга называлась «Почему мы вернулись на Родину» — о реэмигрантах, её выпустило издательство «Прогресс» тиражом 100 000 экземпляров, а вскоре ещё и на английском языке (уже после того, как я уволился, на русском вышло второе издание, расширенное и дополненное).

Я не хочу тратить время читателя (который, надеюсь, всё-таки будет читать этот текст) на подробное описание интриги, которые затеяли мои недруги — оно того не стоит. Скажу, что с самого начала было ясно, что подвергнуть меня строгому партийному наказанию не за что, но мне была создана атмосфера, в которой стало невозможно нормально работать и я в результате уволился. Но собрание было — по тем временам — хорошо срежиссировано и мастерски проведено. Анатолия Афанасьева послали в командировку, с таким расчётом, чтобы во время собрания он летел в самолёте. Аллу Осадчую пригласили на партбюро и сказали ей примерно так: «Мы тут с товарищами посоветовались и решили направить вас в командировку в Париж. Задание ответственное и почётное, кроме того, сами понимаете, там есть что посмотреть. Но, конечно, мы рассчитываем на вашу политическую зрелость и ожидаем, что на собрании вы дадите правильную оценку поведению и личности вашего начальника коммуниста Баранова». Алла ответила, что самого лучшего мнения обо мне. Ну, тогда, сказали ей, вопрос о командировке в Париж

будет скорее всего пересмотрен. На что Алла ответила: вы что меня, за девушку с панели держите? Я своего товарища и за Париж не продам.

Никогда я ей этого не забуду. И собрание началось. В президиуме сидели три гостя — из ЦК КПСС, из горкома партии и из райкома. Как только меня ни громили! (Алле Осадчей слова не дали.) Одну речь, самую короткую, но по смыслу — для тех времён — самую важную, я помню наизусть. Её произнёс главный редактор газеты Олег Куприн, с которым мы не раз пили водку, в том числе и у меня дома. Вот что он сказал: «Товарищи коммунисты! Никто из вас не был дома у коммуниста Баранова, а я был. Могу засвидетельствовать: он собрал прекрасную библиотеку. Кроме беллетристики много книг по истории, альбомов по живописи, великолепная библиотека поэзии — есть и Блок, и Есенин, и Тютчев, и Ахматова, и Цветаева... А Ленина нет. Всё, я кончил, товарищи коммунисты». Подытоживая свою жизнь, могу сказать — такого подлеца из подлецов, как Олег Васильевич Куприн, я больше не встречал.

Ушёл я из «Голоса Родины» в 1984 году, когда уже за горизонтом (для большинства народа — за горизонтом) раздавались раскаты грядущей капиталистической революции (иначе говоря — новой Русской Смуты), крушение, а вернее самоубийство Советского Союза. И эта надвигающаяся геополитическая катастрофа, конечно, была важнее моих личных волнений, тревог, бед. Поэтому о них подробно рассказывать я не буду. Скажу только, что мне предстояло ещё два раза хлебнуть мерзостей пессимократии. Чуть-чуть до ликвидации СССР — в газете «Водный транспорт», где редактором был психически, как говорится, не того, малообразованный закомплексованный коротышка Георгий Панушкин, и уже в постсоветское время — в газете «Подмосковные известия» (сменившей через некоторое время название на «Ежедневные новости. Подмосковье»). Сначала редактором при мне там был просто неграмотный дурак Александр Забелин, а потом малограмотный и честолюбивый дагестанец Омар Омаров, попавший в Московский университет по «национальному

набору», которому бы овец пасти на высокогорном пастбище, а он русской газетой руководил.

Забелин запомнился мне тем, что не мог понять, что происходит на чеченской войне и печатал проходимца, который за деньги боевиков предлагал восхваляющие их материалы, когда же я пытался объяснить ему суть дела, удивлялся: не может быть. Потом стали награждать всех медалью в честь 850-летия Москвы — всех, кроме меня, хотя я единственный напечатал серию очерков об истории нашей столицы. Когда вышестоящий начальник спросил Забелина (я слышал это собственными ушами), почему в списке представленных на награду нет Баранова, тот ответил: «На хера? Он же старик, завтра помрёт, лучше я какой-нибудь секретарше медаль дам». Мне было шестьдесят лет, Забелину пятьдесят два, через пару недель его разбил инсульт и он стал полным инвалидом до конца жизни. Я тогда вслух сказал — это его Бог покарал. Меня, конечно, осудили за жестокость. Через небольшое время один наш журналист азербайджанец Раджабли сказал по поводу печатавшейся в газете полосы «Подмосковье православное»: «Какое православное? Через одно поколение оно будет наше, мусульманское!» (Меня не было — при мне бы он не посмел.) Вскоре его единственный сын умер от передозировки наркотиков. И я ещё раз, не скрывая удовлетворения, сказал — Бог покарал! И снова меня осудили за жестокость.

А Омаров запомнился мне своим «открытием»: что поэт Фет всю жизнь считал себя Фетом, а потом оказалось, что он «всего-навсего Шеншин». Я ему сказал — не лезь в тематику, в которой не сечёшь. В чём меня обвинили? Правильно — в национализме и русском шовинизме. Нечто подобное произошло, когда его заместитель-кореец из Узбекистана (забыл его фамилию) восхвалял Чингиз-хана... И эти карлики командовали людьми, немалая часть которых была выше их на голову — например, Алексей Плотников и Наталья Кучер или фотокорреспондент Владимир Мартынюк. А чиновники из администрации Московской области!

Помню, был я на приёме аргентинской делегации. Гости рассказали, что в их стране, протянувшейся от субтропиков до Антарктики, разработаны методы ведения сельского хозяйства, выращивания разнообразных сельхозкультур в различных климатических поясах и они готовы поделиться этим опытом. На что министр внешнеэкономических связей Московской области Мегрелишвили лениво ответил — а я и не знаю, занимаются ли у нас в Подмосковье растениеводством. Аргентинцы, по-моему, ошалели. А Мегрелишвили, раскормленный грузин, на физиономии которого было написано, что он любит «харашо пакушать», не задал ни одного вопроса. О министрах печати писать не буду — мне могут не поверить, что такие личности назначались министрами. А чего удивляться — назначал губернатор генерал Громов. Это был не скажу дурак — прохиндей. Он ввёл отчётность не по произведенной продукции и услугам, а одной цифрой — по поступлении налогов в казну. Промышленность хирела, сельское хозяйство умирало, торговля сокращалась — а налоговые поступления росли. Как это? Очень просто — Громов распродал землю, которую, понятно, можно продать один только раз. А потом? Громов правил по заветам французского короля — после меня хоть потоп. Но даже все эти, повторю, пессимократические беды были мелочами по сравнению с уничтожением нашей страны — советской сверхдержавы...

Острота кризиса пришлось на то время, когда я работал в газете «Карьера». Это была частная газета, которую уже в горбачёвщину открыл мой друг Валерий Лаврук, с которым, напомним, мы когда-то работали в «Труде», а потом в «Экономической газете». «Карьера» прожила недолго — до гайдаровской реформы, когда в одночасье взлетели цены на бумагу, на типографские услуги и на всё остальное. Может быть (и наверняка) мы были слишком наивными, но нас вдохновила открывшаяся перед нами свобода печати, и мы старались изо всех сил сделать хорошую газету. И у нас получалось! А наивность наша заключалась в том, что мы не искали себе богатого хозяина-содержателя-спонсора, а полагались только

на свои силы. Но когда однажды я привёз пол-авоськи денег в издательство «Московская правда», где печаталась «Карьера», а мне сказали — с сегодняшнего дня плата возрастает в четыре раза, я впервые расслышал похоронный звон по свободе печати.

А мог бы, если бы лучше разбирался в происходящем, предвидеть его. Ведь я уже имел некоторое знакомство с капитализмом — ещё до перехода в «Карьеру», ещё в журнале «Морской флот», где я недолго пробыл. Туда часто приходил к приятелю юрист Женя Р-т, ранее работавший в представительствах Министерства морского флота СССР за рубежом. Он таким образом имел опыт общения с западными бизнесменами, и его пригласил в компаньоны Александр Смоленский, создатель банка «Столичный», одного из первых частных банков в нашей стране. Мне было интересно с ними разговаривать. Один из вопросов, который я им задал: а по благу вы своего племянника на работу возьмёте? Смоленский ответил: если он способен работать — возьму, если нет — нет, потому что своей плохой работой он лишит меня какой-то суммы из моих денег. Не чьих-то, не «казённых», а моих кровных. Мне очень понравился такой ответ. Это было ещё тогда, когда они сидели в подвальном помещении напротив дома, в котором вскоре обоснуется банк «Столичный».

Вскоре я там оказался на первом годовом собрании коллектива. Сел в конце зала, среди девушек-операционисток, мне хотелось понаблюдать за их реакцией. Сначала объявляли заслуги и премии руководящих работников, потом сказали — ну вот, список премированных на этом мы закончили. Девушки заворчали — всё начальству, а нам ничего. Но собрание не кончилось. Ведущий объявил, что молодые девушки могут потратить премиальные на всякую ерунду, потому правление решило: выдать им путёвки в США, в Майами, вместе с билетами. Сидевшая рядом со мной девушка сказала вполголоса: да теперь за такое я за нашего хозяина коммунякам горло перегрызать буду! Было это, из песни слова не выкинешь. А 54-летний Женя Р-т вскоре умер: он пошёл в частную сауну (они быстро

стали открываться в Москве) с двумя молодыми блондинками и там у него случился инфаркт. Когда в Минморфлоте старые камрады отмечали его кончину, возник тост: всем придётся умирать, но лучше, чтобы это было как у Жени, чтобы перед твоим холодеющим взглядом было самое прекрасное, что есть на свете — молодые красивые голые русские женщины!

НЕ ВТОРАЯ, А ПЕРВАЯ ДРЕВНЕЙШАЯ

ВМЕСТО ПОСТСКРИПТУМА

Второй древнейшей называют журналистику, подразумеваемая под первой проституцию. Мне это представляется неверным. Журналистика — первая. Ведь до совокупления должен быть подан какой-то сигнал, призыв. Даже грехопадение наших прародителей совершилось после того, как Ева по наущению змея предложила Адаму отведать яблоко с древа познания добра и зла. Журналистика — это передача сигнала с определённой целью, что мы и имеем в данном случае. Так что давайте отдадим ей первенство в состязании профессий.

Но не случайно, конечно, её близкое соседство с проституцией. Не всегда это проявляется наглядно, но иногда, как говорится, более чем. На моей жизни был такой период, когда обе древнейшие почти слились. Это была, сами понимаете, «перестройка». Я вошёл в это время на пороге пенсионного возраста, поэтому лично за себя особенно не волновался. Но было очень любопытно наблюдать метаморфозы, происходившие со многими представителями нашей профессии (я имею в виду — журналистики).

Конечно, можно было бы начать с «верхов». Скажем, Егор Гайдар до того, как принялся за разрушение советской

экономики, работал в журнале «Коммунист» и в газете «Правда». Да и «архитектор перестройки» А. Н. Яковлев, будучи партработником, писал статьи, в том числе знаменитую и сверхгнусную «Против антиисторизма...» Но это скорее политика, а политическая проституция не моя тема. Тот же Яковлев, выступая по телевидению, сказал, помню, — чтобы разрушать систему, находясь на самой её вершине, нужно было обладать лукавством. Обратите внимание на слово «лукавство». Не подлость, даже не хитрость, а — лукавство. Да и сам Горбачёв публично, в печати, признавался, что задумал ликвидацию СССР будучи одним из руководителей страны. Нет, не о политиках я хочу сказать, а о профессиональных журналистах. Многие, как, например, яростный антисоветчик, антикоммунист и перестройщик Нуйкин совсем незадолго до перелома в жизни страны, захлёбываясь от восторга, восхвалял коммунистов — только в них он видел спасение мира от всех несчастий. Или всё элементарно просто, как сказал мне когда-то Рубинштейн, он же Важдаев, — за это тогда хорошо платили? Думаю, именно в этом основная причина того, что журналистский корпус в массе своей с такой лёгкостью перешёл от служения одному богу к служению другому. Жить-то надо.

Проституточность новизны я ощутил на себе. В 1990 году в трёх номерах журнала «Человек и закон» (он издавался огромным тиражом) была опубликована моя документальная повесть «Майкопский негус» — о диверсионной деятельности антисоветской части эмиграции. Материалы я набрал ещё работая в «Голосе Родины». После этого я написал ещё одну повесть на ту же тему — естественно, получившуюся более профессиональной. Предложил её издательству «Молодая Гвардия», с которым у меня были тесные личные связи. Редакторша (забыл, к сожалению, как её звали) доброжелательно меня встретила, но предложила, «оставив все факты», дать им иное толкование, в духе времени: сделать чекистов отрицательными героями, а засланных из-за рубежа диверсантов — положительными. Естественно, я сказал, что не являюсь барышней

с панели и, хлопнув дверью, ушёл. Вы не поняли, что страна переменялась — кричала мне вслед редакторша...

Надо сказать (не все молодые читатели это хорошо знают), что слом общественной системы в нашей стране, иначе говоря — переход от плановой экономики к рыночной или, ещё проще — от социализма к капитализму сопровождался очень важными переменами в журналистском ремесле. (Не только в идеологии — в ремесле.) Прежде всего — отменён был запрет на враньё — под предлогом плюрализма, разнообразия мнений. Ты, мол, считаешь, что Есенин — великий русский поэт, а я так не считаю. Когда наступил новый век и новое тысячелетие, то есть 2001 год (многие неграмотные журналисты и издатели отмечали эту дату на год раньше — с наступлением 2000-го), газеты и журналы запестрели «итогами века» и разного рода «рейтингами». Например, «Вечерняя Москва» стала публиковать топ-пятерки: пять лучших писателей, пять лучших артистов, пять лучших композиторов и т. д. Маяковский не попал в лучшие поэты, Рахманинов — в лучшие композиторы, Шаляпин — в лучшие певцы и т. д. Наглые девки из газеты говорили мне тогда: мы опрашивали самых авторитетных специалистов, а вы в их число не входите, катитесь вы со своим Маяковским, его уже никто (!) не читает. Много было у меня подобных споров в те дни. Споров бесплодных: у похабных девок похабные авторитеты.

Очень большое значение имел коварный запрет на рекламу. Это значило, что ругать какой-то завод можно, а вот хвалить его продукцию — нельзя, это реклама, платите деньги. Я был на пресс-конференции в Госстандарте, где руководитель ведомства (по сути, чиновник в ранге министра) жаловался на то, что в ходе выступления по телевидению ему не разрешили рассказать о выдающихся достижениях на одном из промышленных предприятий. Это, мол, реклама, пусть они сначала заплатят. Нет сомнений, это делалось для того, чтобы российская (уже не советская — российская) экономика, наука и техника освещалась в СМИ только в негативном плане. Вот мы какие — только лапти да галоши умеем делать,

а всё хорошее, прогрессивное, передовое происходит за рубежом.

Наконец (но не в последнюю очередь) в нашу журналистику вторглась практика проплаты материалов. В советское время это было уголовно наказуемым деянием, теперь — стало нормой. И привело это к разрушению системы приоритетов. Приведу пример из собственной практики последних лет моей работы в областной газете. Мне предложили написать материал о руководителе одного из подмосковных предприятий — за приличную сумму. Он, дескать, такой-сякой хороший. Я никогда не писал на подобных условиях и отказался, тем более чутьём ощутив, что здесь что-то не то. Вскоре прочитал, что этого хозяйственника посадили за крупные махинации. Так было ещё раза два-три. К слову, узнал я тогда, что и в некоторых литературных изданиях вводится такая практика. Видимо, я был, несмотря на солидный возраст, наивен, и думал, что это «отдельные недостатки», как раньше говорили, «издержки роста», и не предполагал, что скоро чуть ли не большинство изданий перейдёт на такую систему, что резко понизит их уровень.

Так на моих глазах погибала наша журналистика. И я радовался тому, что состарился, что мне вот-вот на пенсию. И я начал её получать с февраля 1993 года, но не мог предвидеть, что жить на неё станет невозможно. И придётся искать работу. Искать — потому что месяца за три до наступления моего пенсионного срока под ударом гайдаровской реформы прекратила существование газета «Карьера», в которой я работал. И один старый знакомый предложил мне пойти в областную газету «Подмосковные известия» — на полставки. Я согласился, а через некоторое время, когда в проклятые 1990-е ельцинские годы жизнь всё ухудшалась и ухудшалась, перешёл на полную ставку, а потом ещё стал подрабатывать — делать многотиражку на заводе по ремонту вагонов метро. Да и сверх того нередко печатался в разных газетах...

СВЕТ В КОНЦЕ ДЛИННОГО ТУННЕЛЯ

Но об этих временах я писал в главе «В борьбе с пессимократией». Здесь настало время сказать о недосказанном там. В редакции еженедельника «Подмосковье» (сиамского близнеца нашей газеты «Подмосковные известия») выделялось светлое пятно — Юрий Васильевич Куксов. Мы с ним сразу стали приятельствовать, тем более у него в кабинете практически ежедневно собиралась развесёлая компания. С выпивкой и часто пением под гитару. Но, как оказалось, о Куксове я не всё знал, хотя знал уже достаточно много.

И вот однажды (помню, это было у метро «Дмитровская») на книжном развале мне попала на глаза обложка — Юрий Куксов. «Андромеда». Сборник стихов. Я листанул книжечку, в которой не было ни портрета автора, ни его жизнеописания, подумав сначала (все мы читали знаменитый роман Ивана Ефремова «Андромеда», перевернувший советскую фантастику), что Андромеда — название созвездия. Но оказалось, что это название травы, растущей в наших лесах. Естественно, в редакции я спросил Куксова — не ты ли автор книжки? Оказалось — он. «Так ты пишешь стихи?» «А тебя это интересует?» «Я тоже пишу», — сказал я. Действительно, после долгого перерыва я стал писать, в основном резкие, едко сатирические стихи, вызванные политическими мерзостями перестройки. «Так у меня же поэты собираются! — воскликнул

Куксов. — Приноси своё. Почитаем...» Так я вошёл в эту компанию. Гитарист, поэт-юморист Александр Жуков оказался ещё и издателем, и он, ознакомившись с моими стихами, предложил их издать. Так появилась маленькая книжечка «Двойная спираль» (это был 1998 год), за ней — «Рокировка», а потом — «Выпьем за нас!». Само собой, это были издания за мой счёт — капитализм вступил в свои права. В том же 1998-м я вступил в члены Союза писателей России. Начал печататься в газете «Московский литератор», в журналах «Московский вестник» и «Поэзия».

Разумеется, входили в мою жизнь не только «приятности», но и неприятности литературного мира. Я работал в подмосковной газете, когда меня пригласили участвовать в одном писательском мероприятии, связанном с выездом на три дня на одну из подмосковных баз отдыха. От областной администрации делом руководила достойная и симпатичная женщина, Надежда Андреевна Сидоркина. Я, конечно, не вникал в подробности её работы, знал только, что администрация оплачивает поездку группы писателей. Но по нашему возвращению разразился скандал. Вице-губернатор Михаил Мень (сын одиозного священнослужителя, будущий министр и губернатор забыл какой области), давший добро на поездку, отказался подписывать платёжную ведомость. Вы меня ввели в заблуждение, заявил он Сидоркиной, я думал, поедут члены Союза российских писателей, а это, оказывается, представители реакционного, ксенофобского и антисемитского Союза писателей России... До этого мне не приходилось сталкиваться с подобными оценками. Все мои новые знакомые, и Куксов, и Жуков, и буквально все остальные были членами Союза писателей России, естественно, и я вступил в этот союз и не думал о других. С трудом удалось Надежде Андреевне уломать такого «шибко демократического» вице-губернатора (как не вспомнить поговорку «яблоко от яблони...»), но ей пришлось уволиться из областной администрации. К счастью для меня она перешла в нашу газету и стала моей начальницей (редактором отдела), мы с ней подружились и поддерживаем

дружеские связи до сих пор, хотя оба давно «на заслуженном отдыхе».

Кстати, не только одиозный Мень позволял себе грубые нападки на наш союз. Несколько раз в редакции «Подмосковных известий» пришлось мне резко обрывать «демократов», поносивших Союз писателей России. На предложение — приведите конкретно факты, цитаты, фамилии авторов, которых вы обливаете помоями, ответы были такие — ну, это знают все порядочные люди, все демократы, вся интеллигенция. Что давало мне право повернуть оружие в обратную сторону — вся интеллигенция знает лично вас как малограмотного демагога и т. д.

Так началось моё вхождение в круг профессиональных писателей. В газете «Подмосковные известия» я стал вести литературную страницу — подбирать и печатать произведения (в основном — из-за краткости — стихи) писателей, живущих в области. Их оказалось много, в том числе талантливых, известных во всероссийском масштабе. Например, я давно покупал сборники Василия Казанцева, не зная, что он живёт в Реутове. Читал в журналах стихи Олега Кочеткова, жителя Коломны, а теперь познакомился с ним лично. Список, как говорится, можно продолжить. Был польщён похвалой из уст известного, ныне покойного поэта Бориса Авсарагова. Не менее известный тогда Геннадий Ступин сказал мне простодушно: «Нет, как ты, я не могу...»

Завелись, конечно, и враги. Да и не то что враги — просто иные видели во мне новичка и глядели сверху вниз, не хочу называть их имена. Словом, пошла нормальная писательская жизнь. Что касается службы в газете, я ездил по Подмосковию, знакомился с авторами, с литературными объединениями городов и районов... Кстати о поездках и о спесивых ветеранах. Как-то в одной районной библиотеке должны были выступить два московских писателя — «ветеран» (годами, кстати, моложе меня) и я. Зав. библиотекой уточняла своё вступительное слово: как вас представить? «Ветеран» перечислил с десятков, а то и больше своих званий. Женщина записала и обратилась ко мне: а вас? Назло «ветерану» я сострил — скажите

коротко: камер-юнкер Баранов. Ох, не простил мне этого «ветеран». (Кстати — я всегда терпеть не мог бахвальство наградами и званиями. Много лет спустя в Польше один мой российский коллега стал хвалиться перед несколькими польскими красотками своей родословной, которую он возводил чуть ли не к Рюрику. С почтением выслушав его монолог, они спросили меня — а вы? Я ответил, что с королями я в родстве не состою, но моего предка рисовал Микель-Анджело. Кого же? — изумились девушки. Адама, ответил я, и мой коллега понял, что я над ним смеюсь.)

Словом, начинался совершенно новый, завершающий этап моей жизни. Завершающий — говорю без кокетства, мне тогда уже перевалило за шестьдесят пять. А редко кто в этом возрасте держит в руках свою первую книжку. Я имею в виду — первую книжку стихов. О переводах я уже не вспоминал, а проза мне теперь виделась только в виде статей о литературных делах. Смешно, но и здесь я не смог предвидеть своего ближайшего будущего. Я не смог предвидеть, что замысел прозаического произведения может взять за горло ничуть не слабее, чем нарождающееся стихотворение. А так происходило через некоторое время несколько раз. От этого зародились, вызрели и родились мои повести «Шанхай по пути на ЮБЛО», «Альбом», «Династия», «Иван Сергеич». Особняком стоит повесть «К. Р.-второй», в которой я попытался изобразить раздувание литературного слона из псевдолитературной лягушки. В качестве первоосновы я использовал стихи одного моего недруга, помешанного на собственном величии (мнимом) и к тому же психически неадекватного. А чтобы не стать ответчиком в судебном процессе, его строки я не повторял, а чуть-чуть изменял. Что получилось — можно понять, прочитав эти сочинения.

А самый последний период моей редакционной службы был очень хорошим. Эти последние семь лет я отдал самой главной, самой престижной с журналистской точки зрения газете страны — «Литературной газете». Несколькими годами раньше я и мечтать об этом не мог. Сосватал меня туда известный писатель и историк Олесь Константинович

Кожедуб, ставший моим непосредственным начальником. Работал я рядом с высококвалифицированными журналистами, такими, как Игорь Панин, Анастасия Ермакова, Андрей Воронцов, Людмила Мазурова, Сергей Гловюк, Александр Неверов, Александр Кондрашов, Владимир Сухомлинов, Алексей Полубота, Олег Пухнавцев и другие (всех не назовёшь), как главный редактор Юрий Михайлович Поляков и его заместитель Леонид Васильевич Колпачков. Кончилась моя служба в ЛГ в самом конце 2012 года, за пару месяцев до моего 80-летия. Дай Бог каждому дослужить до такого возраста, дай Бог каждому такого финала перед выходом, формально говоря, на заслуженный отдых (формально говоря — потому что какой отдых у пишущего человека). И низкий поклон Литературке.

Надо ещё добавить, что в эти годы я не раз был участником международного фестиваля славянской поэзии «Поющие письмена», которые организовал и проводил Сергей Гловюк, сначала в Твери, а потом в Москве. Участвовал и в Международных литературных чтениях в Польше, проходивших под руководством Лолы Звонарёвой. Часто бывал и в её литературной гостиной в Булгаковском доме в Москве. Хорошее это было время!

И на сём я с вами прощаюсь, дорогой гипотетический читатель моих воспоминаний.

И ДО ИСТОРИИ ДОТРОНУТЬСЯ РУКОЙ...

(ДОБАВЛЕНИЕ К ВОСПОМИНАНИЯМ)

I

Для таких людей, как я, «путешествие в историю» становится наиболее захватывающим, когда оно начинается со встречи с человеком. Когда мысленно встраиваешь его персональную судьбу в ход событий широкого масштаба (уверяю вас, это необычайно интересное, увлекательное занятие); в таких случаях для меня исторические процессы делаются явственнее, нагляднее (не хочу сказать — понятнее), я их более чувственно ощущаю. Приведу очень важный для меня пример.

Мои родители развелись, когда я был совсем маленьким, они сохранили между собой очень корректные, доброжелательные отношения. Но я редко видел отца: он работал на Севере. Редкими были встречи и с его сестрой, моей тёткой. И этими встречами вся моя семья была недовольна, стараясь их по возможности сократить, потому что, по мнению моих домочадцев, она «забывала голову ребёнку» ненужными и небезопасными вещами. А «забывала она мою голову» непрерывным повторением не то что рассказа — заклинания; она хотела, чтобы я запомнил:

моего деда (по отцу) во время Гражданской войны убили в Одесской ЧК. Я до сих пор не знаю, почему в этом городе оказалась семья; если тётка и говорила, то я не запомнил, но скорей всего она и не говорила, считая это частностью. Зная, что в моей семье о судьбе её отца (моего деда) не вспоминают, она хотела только, чтобы я запомнил: моего деда в 1920 году убила в Одесской ЧК женщина-палач Дора Явлинская. В отличие от взрослых, я не воспринимал эту информацию как опасную, крамольную, но тётка строго предупреждала, чтобы я об этом ни с кем за пределами дома не болтал; взрослея, однако, и я стал осознавать, что её рассказы расходятся с фильмами и книжками о славных рыцарях Феликса Эдмундовича Дзержинского, чекистах с горячим сердцем, холодной головой и чистым руками. Ещё я запомнил две фамилии злодеев — Дейч и Вихман. Дейч был начальником Одесской ЧК. Что касается третьего палача, о котором рассказывала тётка, я думал, что по старости лет она что-то напутала, но как вежливый мальчик, а затем подросток не пытался её разубедить. Дело в том, что речь шла о негре, мастере пыток, которого все страшно боялись. Его звали (в отличие от Дейча и Вихмана я нетвёрдо запомнил его фамилию), кажется, «товарищ Джонсон». Ну откуда мог взяться негр в Одессе? Да тем более — палач, мастер пыток? Я ведь получал советское воспитание, одним из элементов которого было сочувствие к неграм, которых угнетали проклятые империалисты и линчевали расисты. И ещё мне запомнилась такая подробность: описываю свою встречу с негром-злодеем, тётка сказала, что впервые увидела его в сумерках; он был одет в белую рубашку, и она сначала испугалась: показалось ей, что идёт человек без лица.

Потом тётка умерла, и я всё реже вспоминал её наставления. Честно говоря, они меня не особенно волновали. Тем более, отец не вернулся с войны, другая его родня жила где-то в отдалении, и постепенно чисто теоретические представления о деде, которого я никогда не видел, тускнели. Но однажды, встретив в сумерках негра в белой рубашке, я поймал себя на впечатлении, что идёт человек

без лица, — и вспомнил рассказ покойной тётки. Я был уже взрослым, и подумал, что если бы она выдумывала, то не привела бы такую деталь. Может быть, тот негр-палач действительно существовал?

А вскоре грянула перестройка, и на нас обрушился водопад запретной ранее литературы, эмигрантской прежде всего. В одной из книг прочёл я о жутких пытках, которые практиковал начальник Одесской ЧК Макс Дейч; в частности, вместе со своим сообщником Вихманом он привязывал допрашиваемых к окованным железом брёвнам и вдвигал их живыми, ногами вперёд, в корабельную печь. Дейч и Вихман, Дейч и Вихман — знакомое словосочетание; откуда оно? А потом в двух книгах подряд мне попала информация о том, что товарищ Дзержинский прислал в Одессу специалиста по пыткам товарища Джонстона, негра, «интернационалиста» из Америки. Он вытягивал из людей жилы, глядя им в глаза и улыбаясь своими белыми зубами, отрезал конечности в ходе «дознания» и т. д. И я вспомнил рассказы тётки! А в книге известного историка Мельгунова (в 1922 году высланного Лениным за границу) «Красный террор в России» я прочитал о казни моего деда, Николая Семёновича Баранова, в Одесской ЧК. Оставалось найти подтверждение словам тётки о том, что убила его Дора Явлинская. И они почти полностью подтвердились. В нескольких источниках говорится о том, что 19-летняя Дора Явлинская (в одном из журналов был опубликован её портрет — удивительно мерзкая рожа) специализировалась на убийствах русских офицеров, она перебила их несколько сотен. Мой дед офицером не был, но у Мельгунова приводится, со ссылкой на очевидца, такая подробность: он был казнён «по ошибке», вместо офицера с такой же фамилией. Так что вполне вероятно, что и в данных о том, кто казнил деда, тётка не ошиблась...

Эти изыскания подвигли меня прочитать кучу книг о той эпохе, сопоставлять факты, улавливать лицемерие и прямую ложь. Например, советскую энциклопедическую справку о том, что Макс Абелевич Дейч был «рабочим из крестьян», с 1921 года перешёл на хоз. работу и умер

в 1942-м.; честно говорю — я бы предпочёл, чтобы он подох под пытками у своих коллег-чекистов в 1937-м...

Иным было рождение моего интереса к Столыпинской реформе. Мой отчим рассказывал, что пятилетним мальчиком он вместе с отцом переехал из-под Екатеринбурга на Дальний Восток. Отцу его давали землю, но он не захотел крестьянствовать, как на родине, на Урале, а стал извозчиком — возил грузы на строительство Транссибирской магистрали. И зажил неплохо. При этом отчим никогда не говорил о Столыпинской реформе; человек искренне партийный, настоящий большевик, он, в соответствии с большевистскими воззрениями, считал Столыпина реакционером, душителем революции 1905 года, который ничего хорошего по определению делать не мог. А ещё, повзрослев, я вспоминал детский опыт: во время Великой Отечественной войны, в эвакуации, некоторое время мы жили в Северо-Казахстанской области Казахской ССР, на Транссибирской магистрали, между Омском и Петропавловском. Население там было сплошь русско-украинское. Естественно, в то время я ничего не знал о Столыпине, но в разговорах с местными стариками я усваивал знания о том, что «все» приехали сюда как переселенцы «уж больше тридцати лет назад», то есть, как я уже позднее просчитал, по столыпинской программе крестьянского переселения. Старики рассказывали, что когда они приехали сюда, здесь «никого не было». «А казахи?» — спрашивал я, потому что в свои 11 лет хорошо знал, что мы находимся в Казахской ССР. «Так они южнее кочевали», — разъясняли мне старики.

За год жизни в тех краях я лишь один раз видел казахов. Через наш посёлок они гнали стадо на мясо-комбинат. Через много лет в Высшей партийной школе при ЦК КПСС мы с приятелем (он был родом из Казахстана) атаковали лектора «острыми» вопросами. Почему граница между Казахской ССР и Российской Федерацией проходит по землям, населённым практически только русскими (и украинцами), при этом дважды пересекая Транссибирскую магистраль? Лектор ответил — да, там преобладает

русское население, но в годы «сложения границ» между союзными республиками «было мнение», что следует часть Транссибирской магистрали отдать Казахстану, чтобы на базе железнодорожных мастерских ковать национальный (казахский) рабочий класс. Но мы продолжали: известно, что раньше граница проходила ещё севернее, захватывая ещё более обширные русские территории, и столицей Казахстана был Оренбург; потом границу всё же сдвинули, почему бы не довести дело до логического конца. Лектор обеспокоился и попытался клеить нам великорусский шовинизм, но мой приятель настаивал: известно, что границу проводил Йоффе, матёрый троцкист, не время ли признать, что это было ошибочное решение? Лектор вывернулся: вы же сами указали на то, что корректировка границы была проведена. Что касается Йоффе, он действительно был троцкистом, но в данном случае поступал как интернационалист...

После этой «дискуссии» я заинтересовался фигурой Йоффе и выяснил немало интересного. Он был участником переговоров о Брестском мире, он заключал мирные договоры молодой Советской республики со странами Балтии, Польшей и Финляндией, и каждый раз легко отдавал жадным соседям исконные русские земли и легко соглашался на выплату им репараций, предоставление выгодных концессий, передачу музейных ценностей. В перестройку стала доступной книга старого деятеля партии Георгия Соломона «Среди красных вождей», в которой описывалось беззастенчивое казнокрадство, которое творил Адольф Абрамович Йоффе, будучи советским полпредом в Германии. Но выходили и другие книги, в которых товарищ Йоффе изображался святым рыцарем революции и чуть ли не мучеником; он покончил с собой немедленно после политического падения своего кумира Троцкого в ноябре 1927 года. И ни слова о расхищении им русских земель! Когда после развала СССР я читал о судорогах этнократии, о безумствах национализма в бывших советских республиках, я всегда вспоминал омерзительную фигуру «товарища» Йоффе. Как-то сложилась судьба моих

приятелей, с которыми в 1944-м мы вместе пасли лошадей в той степи, которую Йоффе оторвал от России? Наверное, не лучшим образом... Вот так рядом становились те пацаны и «выдающийся дипломат ленинской школы».

II

...На исходе советских лет познакомился я в Смоленске с отцом Виктором, стареньким священником, который уже не мог служить; вдовый, жил он при епархиальном управлении, где о нём заботились. Сам архиепископ Феодосий (потом этот выдающийся деятель Русской Православной Церкви долго служил митрополитом Омским и Тарским) оказывал ему знаки внимания.

Вот история отца Виктора. В конце 1920-х годов служил он в одном сельском приходе во глубине России. Как-то поехал он в отпуск с женой, а на обратном пути встретил на железнодорожной станции мужика из своего села. Тот рассказал, что идёт погром, то есть коллективизация, раскулачивание, что партийцы-чекисты и пьянь-беднота ждут — не дождутся попа с попадьёй, чтобы отправить их в Нарымский край, а дом разграбить. Отец Виктор не стал медлить, и ближайшим поездом вместе с матушкой уехал в Москву. Он правильно рассудил, что там легче спрятаться. Человек грамотный, устроился он бухгалтером в пищевой трест, матушка стала посудомойкой в столовой. Удалось приткнуться в каком-то подвальном углу. Десять лет прожили затаившись, потом началась война, и скромный и тихий бухгалтер добровольцем пошёл на фронт. Воевал, как все, говорил мне отец Виктор.

В сентябре 1943 года его часть участвовала в освобождении Смоленска. После торжественного самодеятельного салюта вызвали бывшего бухгалтера пищетреста в особотдел. На особистов по понятным причинам он смотрел с опаской. Никогда не вызывали, а тут вызвали. Вошёл, пытаясь скрыть страх. «Ну что, отец Виктор, считай — отвоевался!», — весело сказал офицер. «У меня ноги подкосились, рассказывал мне старик, неужто дознались,

неужто посадят?» «Да ты не бойсь, — продолжал особист, — кто ты есть, мы, конечно, знали, но претензий к тебе нет, был ты хорошим солдатом. А теперь приказ вышел — на освобождённых территориях оставлять священников, которые находились в действующей армии, для организации приходов. Тут немцы свои приходы устраивали, сам знаешь, кто к ним в попы шёл, а ты наш — советский солдат. Вот и действуй!». Так после 13-летнего перерыва снова стал отец Виктор сельским батюшкой. Вызвал матушку из Москвы и принялся за дело.

В епархии к нему относились с большим уважением. «Вдумайтесь, — говорили мне, — он при Хрущёве четыре прихода открыл, при Хрущёве!» К тому времени и я уже знал, что Хрущёв был ярым врагом православия, что из всего множества разрушенных в Москве храмов две трети были разрушены в его «царствование» (1954–1964).

И в который раз я посожалел, что нет ещё у нас русского народного телевидения; какой сериал можно было бы снять о житии сельского священника отца Виктора! И чтобы в сериале обязательно фигурировала свиноподобная рожа Никиты Сергеевича Хрущёва. И был показан разговор Сталина с Черчиллем во время войны, когда советский лидер сказал британскому, что в коллективизацию «мы потеряли» десять миллионов человек. То есть, в десять раз больше, чем в репрессиях 1930-х годов, о которых фильм за фильмом снимают потомки «комиссаров-в-пыльных-шлемах».

III

...Никогда в жизни я не искал знакомств со знаменитостями — несмотря на занятия журналистикой. Я научился видеть исторические процессы в судьбах обычных людей. Но жизнь подарила мне встречу, знакомство и совместную работу с человеком необычайным, в полном смысле этого слова — человеком уникальной судьбы. Недолго это было, но — было.

Виктор Александрович Яхонтов (так его звали) был уникален уже тем, что прожил 97 лет (1881–1978), причём

не пастухом на высокогорном пастбище Кавказа, а в гуще политической жизни бурного XX века. Он получил хорошее военное образование, мыслил свою жизнь по лермонтовской формуле «Слуга царю, отец солдатам». Когда уходил из своего полка, расквартированного на Кавказе, в Академию генштаба, солдаты поднесли ему благодарственное письмо. В их глазах это был необычный офицер — он учил их грамоте, «видел в них людей». Это письмо, как драгоценная реликвия, всегда висело в рамке над его письменным столом, во всех городах, где он жил, а жил он во многих. Я видел эту грамоту в его последней, московской квартире.

После русско-японской войны, покончившей с пренебрежительным отношением к Японии и военной угрозе с востока, резко усилилось внимание к этим проблемам. Этот процесс изменил жизнь Яхонтова — по направлению командования он изучил японский язык и стал военным разведчиком-аналитиком, специалистом по дальневосточным проблемам, бывал в Японии, Корее, Китае. Служил в Хабаровске. Недолго повоевал на фронтах Первой мировой войны. Командование здраво рассудило, что его лучше использовать на военно-дипломатическом фронте.

А теперь представьте мои ощущения, когда мы с коллегой пришли в гости к Яхонтову в 1976 году. «Последний раз я видел государя в 1915-м, — рассказывал нам старый офицер, — он пригласил меня на обед в свой штабной вагон в Ставке, в Могилёве, давал мне последние наставления перед командировкой во Францию и в Англию, к союзникам...» Тогда я впервые испытал какое-то странное, головокружительное чувство близости казалось бы далёких судьбоносных событий. Такое чувство, будто руку протяни — и коснёшься самой Истории. Вот я пью чай с человеком, который обедал с последним русским царём. В разговорах с Виктором Александровичем чувства всегда обострялись, мы старались запомнить каждое его слово, уловить каждый нюанс его рассказа. Вот и в тот первый раз нам обоим показалось, что слово «союзники» Яхонтов

произнёс с иронией. Позднее, изучая его труды, мы поняли, что не ошиблись.

После командировки к коварным западным союзникам Яхонтов на фронт уже не вернулся. Он был назначен военным атташе (тогда говорили — военным агентом) в Японию. Там он встретил весть о Февральской революции в России. Начиналось российское безумие. Полковнику Яхонтову было тридцать шесть лет. В русской колонии в Токио и особенно в его военной части началось брожение и раскол. Одни приветствовали свержение монархии, другие проклинали посягнувших на трон «жидомасонов». «Я не был монархистом в партийном смысле слова, — рассказывал Яхонтов, — я вообще не был „партийным“, но я внутренне, всем сердцем принимал приказ царя: армия должна быть политически нейтральной, военным запрещено заниматься политикой, для них Россия — единое целое, которое следует защищать от её врагов».

Но в 1917 году русским офицерам трудно было оставаться нейтральными. Действия политиков явно вели Россию в пропасть, и у многих военных чесались руки — навести порядок. В августе Яхонтов узнал, что новым военным министром назначен его фронтовой знакомый полковник Александр Иванович Верховский, а в сентябре он получил предписание: срочно прибыть в его распоряжение. Оставив в Токио жену и дочь, Яхонтов поспешил в Петроград. Там он был спешно произведен в генералы и назначен заместителем (товарищем, как тогда говорили) Верховского, военного министра Временного правительства России. Должность военного атташе в Японии тем не менее за ним была сохранена, и это сыграло в дальнейшем важную роль в его судьбе.

Страна стремительно разваливалась. Вскоре застрелился старый знакомец Яхонтова генерал Койчев; он оставил записку «Перестал верить в светлое будущее России». В Петроград Яхонтов ехал с намерением сделать всё для ускорения победы над Германией, но быстро понял, что Россия воевать уже не может, потому что у неё фактически нет армии. Только здесь он осознал роковую роль,

которую сыграл знаменитый Приказ № 1, выпущенный от имени Петроградского Совета сразу после падения монархии, но который (всем было ясно) был инспирирован немцами. А как иначе, если приказ, который писал якобы большевик Н. Д. Соколов под диктовку солдат (эта лживая версия повторялась все советские годы), на следующий день (!) появился по всей линии фронта, отпечатанный в немецких типографиях. К середине октября Верховский понял, что необходимо срочно заключать сепаратный мир. Он сделал это предложение на заседании правительства и был немедленно отправлен в отставку: «временные» дали своим французским «братьям» масонскую клятву, что Россия будет биться за прекрасную Францию до последнего вздоха.

В чехарде октября 1917-го Яхонтов несколько дней исполнял обязанности военного министра России. 25 октября (7 ноября) большевики захватили власть. «Временные» министры были ими арестованы; матросы, обвязанные пулемётными лентами, приходили и за Яхонтовым, но он ...спрятался за занавеской в приёмной. После этого «опереточного» избавления от камеры в Петропавловской крепости, рассказывал Виктор Александрович, он просто вышел на улицу, купил в кассе билет на поезд Петроград-Владивосток и с тысячью приключений добрался до Японии.

Несколько месяцев генерал прожил призрачной жизнью дипломатического представителя исчезнувшего государства. Балы, приёмы, «ваше высокопревосходительство» и т. д. Деньги на счетах российского посольства ещё были, японцы не торопились, мир выжидал. В марте 1918-го нарыв лопнул. Красная Москва предложила Яхонтову перейти к ней на службу. Для него в тот момент это означало: подчиняться Троцкому, который подписал изменнический Брестский мир. Яхонтов взял семью и уехал в Америку. Как раз в те дни США вступили в войну, и наивный русский генерал, которого вежливо принял военный министр, предложил свою «шпагу» американскому союзнику. Он рассчитывал: добыём немцев с запада, наступит мир, а том и Россия, даст Бог, придёт в себя после

большевистского безумия. «Союзник» пояснил: по американским законам в нашу армию можно поступить лишь солдатом; если мистер Яхонтов согласен...

Хотя Виктор Александрович принципиально не хотел участвовать в Гражданской войне, он всё-таки приехал в Россию, на Дальний Восток, в том же 1918-м. У него возникла иллюзия, будто Правительство Директории, образованное депутатами Учредительного собрания, сначала действовавшее в Уфе, затем в Омске, и есть то самое правительство здравого смысла, в котором нуждается Россия. Вот логика Яхонтова: «Я считал, что волю народа выражает именно Учредительное собрание. Большевики его разогнали, но оно выжило, сформировало правительство, которому я как законопослушный гражданин обязан подчиниться».

Но до Омска он не доехал: в ноябре там произошёл государственный переворот, власть взял адмирал Колчак, покорных депутатов «Учредилки» выслали за границу, а упрямых «отправили в республику Иртыш», то есть утопили в проруби. Яхонтов не захотел служить Колчаку и вернулся в Америку. А через полгода... сам попросился на службу к адмиралу. Виктор Александрович признавался, что он простодушно поверил в «Ответ Колчака» на коллективную ноту держав Антанты, в которой от «Верховного правителя России» потребовали гарантий демократического устройства будущей всероссийской колчакии. Лишь через несколько лет стало известно, что адмирал ничего такого не писал, ответ за него подготовили эмигрантские политики в Париже. Но Яхонтова не приняли на службу к «Верховному правителю»: в глазах колчаковцев он был «жидомасоном из шайки Керенского». Всё это происходило летом 1919-го, когда Деникин, казалось, не сегодня-завтра возьмёт Москву, а иностранные державы, покончившие с мировой войной, вмешались в нашу Гражданскую. Вот тогда-то Яхонтов вызвал дикий скандал в эмигрантских кругах, написав статью «Чем сильна армия большевиков». Её основная мысль: победит та армия, которая защищает свою страну от иноземного вторжения. «Сегодняшняя

Красная Армия — это просто завтрашняя Русская Армия», — писал Яхонтов. Как видите, логику в поступках генерала отыскать сложно; нам спустя 60 лет он говорил об этом смеясь, но в 1919-м ему было не до смеха.

Несколько лет Виктор Александрович метался, хватался за разные дела, даже ресторанным бизнесом пытался заниматься; хорошо ещё, что жулик-партнёр выманил у него не все деньги, и генерал успел купить приличный дом в Нью-Йорке. В одной квартире он жил сам, остальные сдавал внаём; но на жизнь этого не хватало. Единственной отрадой в его безотрадном существовании стало просветительство: Яхонтов стал читать русским рабочим-иммигрантам лекции, главным образом — по отечественной истории. А на пороге 1924-го — просвет в тучах: сенатор Франс предложил поехать в Советский Союз; он основал корпорацию для торговли с этим государством, официально ещё не признанным Соединёнными Штатами. Яхонтов, естественно, согласился стать референтом-переводчиком, и они выехали в Париж: туда должны были прийти советские визы. Виза пришла на одного сенатора, и тот поспешил в Москву с другим переводчиком. Яхонтов остался ждать. «Парижское сидение» затягивалось, визы он так и не получил; среди бумаг, захваченных в колчаковской канцелярии и поступивших в архив соответствующего советского ведомства, нашлось и заявление Яхонтова от 1919 года с просьбой принять его на службу к Верховному правителю; «махровому белогвардейцу» было отказано.

Эти недели в Париже — очередной перелом в жизни генерала Яхонтова. Там он встретился со своим двоюродным братом Алексеем Алексеевичем Игнатьевым, известным всем любителям истории по своей книге «Пятьдесят лет в строю». Русский дипломат генерал граф Игнатьев по должности распоряжался деньгами, которые Россия направляла во Францию для закупок оружия и военного снаряжения в годы Первой мировой войны. После революции на его счетах оставались немалые суммы. На них претендовали все группировки, боровшиеся за власть в России и в эмиграции, но Игнатьев ничего никому не дал.

Он ждал окончания Смуты и установления на родине твёрдой власти, которая контролировала бы всю территорию страны. Когда стало ясно, что победа осталась за красными, генерал граф Игнатъев объявил, что отдаст деньги Советскому государству. От него отреклись многие, родная мать в том числе. Два генерала, два двоюродных брата, два замечательных патриота проговорили всю ночь. С того времени у них была общая позиция: мы служим России, не какой-то мифической, а реальной России, той, которая существует, нравится нам она или не нравится. Из Парижа Виктор Александрович уехал с ощущением, что он возвращается на службу.

Он здраво рассудил, что больше всего пользы Отечеству принесёт, если будет заниматься своей основной специальностью. В середине 1920-х Яхонтов стал, если употребить современный термин, профессиональным политологом. Он писал книги на тему о переплетении стратегических интересов США, СССР, Японии и Китая на Дальнем Востоке, о влиянии этих процессов на мировую ситуацию. Кроме того, он читал лекции на эти и на многие другие темы, связанные с международной политикой. Здесь надо сказать, что подобного рода лекторы в США — это профессия, причём весьма уважаемая. Виктор Александрович быстро выдвинулся на ведущие позиции в «лекционном бизнесе», стал модным лектором. На его афишах всегда крупно писалось «генерал Яхонтов» и мелким шрифтом в скобках «в отставке». Не забудем, что тогда США ещё не признавали СССР; дипломатические отношения между нашими странами были установлены только в 1933 году, с приходом к власти президента Ф. Д. Рузвельта.

В 1929 году генерал впервые приехал на Родину — как турист. Поездка превратилась в серию потрясений. Первым было начало; они въезжали в СССР морем, через Ленинград, как теперь назывался Петербург, родной город Виктора Александровича, да ещё в белые ночи. Их он не видел двадцать лет. Вторым сильнейшим потрясением стала купленная им книга «Мозг армии» (о работе генерального штаба). Автор её, Борис Михайлович Шапошников, был

Яхонтову знаком. Когда-то они вместе учились в Академии генштаба. В 1920-м Яхонтову стало известно из газет, что Троцкий приказал царского офицера Шапошникова, пошедшего служить в Красную Армию, посадить в тюрьму за «русский национализм», за то, что он всего лишь призывал русских офицеров оборонять родную землю от поляков и ни слова не говорил о мировой революции. Но вот уже четыре месяца прошло, как Троцкий изгнан из пределов СССР, а Шапошников занимает прочное и видное положение в армии. Это — добрые перемены! (Забегая вперёд, скажу, что в 1940-м Яхонтов прочитает в мемуарах Троцкого проклятия в адрес Шапошникова. А в 1945-м испытает ещё одно потрясение: в советской кинохронике он увидит, что на похоронах маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова плачет человек, который, как казалось многим, не умеет плакать, — И. В. Сталин.) А последнее потрясение ждало его в Батуми, как теперь стал называть Батум, где когда-то служил молодой офицер Яхонтов. В местном музее девушка-экскурсовод рассказывала о забастовке 1902 года. «Вот здесь стояли вооружённые до зубов царские каратели», — говорила она, и Яхонтов вдруг осознал, что речь идёт о нём. Потому что именно ему приказано было «прекратить беспорядки», и это его солдатуски-браво-ребятушки перегородили тогда площадь. Слава Богу, забастовщики пошумели и разошлись, стрелять не пришлось. А девушка, артистически напрягая голос, продолжала: «А вот здесь несокрушимой стеной стали забастовщики во главе с товарищем Сталиным...» «У меня мурашки по спине пробежали, — рассказывал нам Яхонтов, — возникло ощущение, что я, оказывается, мог нечаянно повернуть ход истории, ведь не исключалось вооружённое столкновение, и, чисто теоретически рассуждая, я мог бы застрелить руководителя забастовки, фамилии которого я тогда, разумеется, не знал. Как бы в таком случае развивались послереволюционные события в нашей стране?» Помолчал и добавил: «Может быть, и Троцкий удержался бы у власти...» Троцкий для Яхонтова был фигурой ненавистной, мы уже хорошо это знали.

В СССР Яхонтов приезжал ещё в 1931 и в 1933 году. Теперь у него появилась возможность работать в архиве Наркомата иностранных дел. Сработали рекомендации генерала Игнатьева. В эти годы Яхонтов бывал и в Китае, и прозорливо увидел, что китайские коммунисты сыграют огромную роль в глобальной геополитике. В исторической науке принято считать, что первым об этом сказал американец Эдгар Сноу в книге «Красная звезда над Китаем». Но она вышла в 1938-м, а монография Яхонтова «Китайские советы» — в 1934-м. Кстати, сам Эдгар Сноу высоко ценил труды своего русского коллеги. А ещё в своих книгах 1930-х годов Яхонтов настойчиво проводил мысль о том, что если СССР будет силён и дружен с Америкой, Япония на неё не нападёт. А что японцы строят агрессивные планы в отношении США, Яхонтов не сомневался. Кроме того, начиная с 1933-го, с прихода Гитлера к власти, Яхонтов неустанно проповедовал, что Америке и Западу в целом выгоден сильный Советский Союз — как противовес Германии. Специалисты высоко оценивали яхонтовский анализ мировой ситуации, но русофобское крыло клана политологов (а русофобия в Америке болезнь давняя) и особенно пресса постоянно называли Виктора Александровича советским агентом влияния и дали ему кличку «красный генерал». «Вот так я и жил, — говорил он, — еще в 1960-е годы в советской прессе встречались упоминания обо мне как о „белом генерале“, а в Америке уже с 1930-х я считался генералом красным».

Кроме СССР и Китая, генерал бывал в западноевропейских странах. Был в нацистской Германии, в Италии, где как-то слушал речь Муссолини на митинге. В Чехословакии однажды случайно встретился с Керенским и сыграл с ним партию в крикет; в эмигрантской прессе после этого поднялся шум, Яхонтова снова называли иудой и жидомасоном из шайки погубителя России. У себя в Америке генерал встречался с беженцами от Гитлера — с Альбертом Эйнштейном, Томасом Манном, Стефаном Цвейгом, Эрнстом Тоффлером (в начале Второй мировой войны Тоффлер и Цвейг покончили с собой, не надеясь на поражение

гитлеризма). А ещё раньше Виктор Александрович водил знакомство со многими знаменитостями из русских эмигрантов, такими, например, как Сергей Прокофьев и «бабушка русской революции» Е. К. Брешко-Брешковская. Рассказ о ней меня особенно заинтересовал, потому что я нахожусь с этой революционеркой в очень отдалённом родстве. Такого родства следует скорее стыдиться, а не гордиться им, но я всё же позволил себе упомянуть об этом в разговоре с Яхонтовым: мне была интересна его реакция. Он посмотрел на меня, как мне показалось, с изумлением: видимо, в его глазах я, «советский молодой человек» (мне было за сорок, я был моложе Виктора Александровича на полвека) не мог иметь никакого отношения к тому далёкому прошлому, столь живому для него самого...

22 июня 1941 года, в день начала Великой Отечественной войны, шестидесятилетний генерал Яхонтов примчался в Вашингтон, к советскому послу К. А. Уманскому и потребовал отправить его на фронт. Посол уделил немало времени этому особенному посетителю в тот расписанный по секундам день, и Яхонтов вышел от него окрылённым. Он понял, что его просьба пойти на фронт выглядит гимназической романтикой, но что теперь он более чем когда-либо может принести пользу Родине здесь, в Америке. Генерал стал одним из самых ярких, самых авторитетных и популярных агитаторов за помощь Советскому Союзу. Рядом с ним трудились многие «белоэмигранты» из офицеров, а самыми близкими стали скульптор Сергей Конёнков и митрополит Вениамин.

Война резко размежевала русскую эмиграцию. И если великий авиаконструктор Игорь Сикорский радовался тому, что на «большевицкие» города падают немецкие бомбы, то великий композитор Сергей Рахманинов давал концерты в фонд помощи Красной Армии. В то время США ещё не были склонны воевать или даже тратить деньги на войну против Гитлера. С Германией они сохраняли дипломатические отношения, и посол мистер Кеннеди (отец будущего президента) был нескрываемым поклонником фюрера. Рабочее движение было расколото, часть

профсоюзов выступала за политику изоляционизма, то есть невмешательства в европейские дела, часть откровенно симпатизировала национал-социализму: прежде всего потому, что он решил проблему безработицы, которую никак не могли решить страны «западной демократии». Кроме того, в американских профсоюзных кругах хорошо знали, что по Карибскому морю плавают германские туристические лайнеры, на которых проводят отпуск лучшие рабочие из Третьего Рейха. Помощи Советскому Союзу от Рузвельта требовали лишь просоветские группы, традиционно слабые в Америке, часть русской диаспоры и влиятельные еврейские организации, где хорошо понимали — Красная Армия спасает их соплеменников; здесь были хорошо информированы о том, что в СССР отдан приказ — при отступлении евреев эвакуировать наравне с семьями командиров и политработников. Против помощи Советскому Союзу открыто выступали многие солидные газеты: зачем тратить деньги на государство, которое вот-вот будет разгромлено? Посмотрите на карту, господа: Красная Армия отступает, немцы подходят к Москве...

Так было до 6 декабря 1941 года. В тот день произошёл перелом в ходе Второй мировой войны. Красная Армия начала контрнаступление под Москвой, а Япония напала на США, разгромив американский флот в бухте Пёрл Харбор на Гавайских островах. Америка вступила в войну, а генерал Яхонтов был прославлен как великий провидец, о нём стали говорить как об аналитике, «предсказавшем Пёрл Харбор». Предсказал он, конечно, не точку японского нападения, но его неизбежность. Яхонтов стал всеамериканской знаменитостью, он не успевал читать все заказанные ему лекции. Очень часто он выступал дважды в день, иногда — трижды. Он вёл огромную работу в комитете помощи Советскому Союзу, и здесь он снова сблизился с представителями рабочих слоёв. Среди его сотрудников были те, кто слушал его лекции ещё в 1919 году. Он тогда и представить себе не мог, что эти люди определяют его судьбу на многие годы...

Генерал рассказывал, что во время войны они с женой мечтали после победы вернуться на Родину. Разумеется, он с нами не откровенничал, можно только догадываться, почему он изменил своё решение. Он съездил в СССР в 1946-м, повидался с Алексеем Алексеевичем Игнатьевым, с Сергеем Тимофеевичем Конёнковым и несколькими другими знакомыми, а потом вернулся в Нью-Йорк и поступил на работу в аппарат ООН. Там он тоже мог приносить пользу Родине в начавшейся холодной войне. Приняли его, несмотря на 65-летний возраст, охотно. По условиям найма, кандидат на должность должен был владеть всеми официальными языками ООН, включая русский. Именно это требование отсеивало многих кандидатов, и неудивительно, что среди работников секретариата ООН оказалось много выходцев из России. Работал генерал так хорошо, что обрёл кличку «стахановец из ООН»; оклады там, как известно, весьма высокие, так что всё было превосходно, за исключением того, что Яхонтова практически перестали печатать. Не шли ни книги, ни статьи. Теперь его публиковали только левые издания — малогонорарные или вовсе безгонорарные, опасные в глазах властей.

Холодная война пропитывала ядом всё, связанное с Россией. В 1949 году сошёл с ума и покончил с собой, выбросившись из окна, министр обороны Форрестол. Я рассказал Виктору Александровичу, что тогда я учился в десятом классе, и на школьных балах-маскарадах обязательно появлялся парень в белом балахоне, с чайником на голове, иногда с надписью на спине — Форрестол. «Вам-то было весело, — усмехнулся он, — а нам, русским сотрудникам ООН, не очень. Министру почудились русские летательные аппараты над Вашингтоном, сейчас некоторые утверждают, что это были летающие тарелки, а нас спрашивали — у вас в России и в самом деле есть самолёты, способные долететь до нас? Заметьте — „у вас в России“, а я тогда уже давно был американским гражданином...»

Потом Виктор Александрович рассказал, что ещё большее впечатление на него произвела смерть Билла Донована. Они познакомились в 1918-м, когда Яхонтов

«предложил свою шпагу» американцам — воевать с кайзером. Затем Донован состоял при штабе Колчака в Сибири. «По некоторым данным, это он возражал против моего прихода к „Верховному правителю“. Если это так, спасибо тебе, Билл!» — смеялся наш генерал. Во время Второй мировой войны Донован по указанию президента Рузвельта организовал УСС — Управление стратегических служб, которое затем превратилось в ЦРУ. Умер он в Нью-Йорке во время холодной войны. Перед смертью кричал, указывая в окно, что по мосту Куинсборо идут русские танки. «Всю жизнь Дикий Билл занимался Россией, заключил Яхонтов, но так ничего и не понял...» Диким Биллом называли Донована в газетах.

В 1952 году Яхонтова допрашивали в Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, которой руководил бесноватый сенатор Маккарти. Попытались клеить симпатии к русским и китайским коммунистам, удивлялись сотрудничеству «генерала-аристократа» с рабочей печатью. Потом вызывали в суд, но и там не смогли найти никаких доказательств его «подрывной деятельности». Однако эти вызовы без последствий не прошли. Яхонтов был уволен из ООН со ссылкой на то, что его «возраст перешёл все допустимые пределы». Зимой 1952–1953-го, в семьдесят один год, Яхонтов оказался «вольным стрелком», но и не думал уходить «на заслуженный отдых». Он стал редактором рабочей просоветской (вернее — проэсэсэсэровской) газеты «Русский голос» и проработал на этом посту более двух десятилетий.

А начиная с 1959-го Яхонтов через «Русский голос» начал возить в СССР группы туристов русского (а также украинского или белорусского) происхождения. Практически все — из первой волны эмиграции, не беженцев от революции, а трудовой эмиграции конца XIX — начала XX века (именно эти люди и их потомки составляют подавляющее большинство «русской Америки»). Это было нелегко — убедить поехать даже таких людей, которые в принципе очень хотели бы увидеть перед смертью Волгу, Днепр или Дон. Ведь 1 мая 1960 года под Свердловском (ныне

Екатеринбург) был сбит американский самолёт-шпион, и не опасно ли ехать в СССР сразу после этого? А потом началась Вьетнамская война, и антисоветская истерия в США опять стала накаляться. И так далее и тому подобное. Люди просто боялись.

Позволю себе пример из личного опыта контактов с этими людьми (уже позднее, в 1970-х). Русский американец из рабочих, видимо, проникшись ко мне доверием, спросил: «Ну почему ваше КГБ так явно ставит прослушку? Хоть бы замаскировали». (Наш разговор происходил в номере гостиницы «Россия».) И он указал на колпачок — датчик пожарной сигнализации на потолке. Я объяснил, что это, он не поверил. Тогда я сказал: «Хорошо, поднеси к нему зажигалку, только я уйду из номера...» Я вышел, завыла сирена, и к номеру побежали пожарные...

В 1966-м, когда Яхонтову было восемьдесят пять, умерла его жена. Он захотел похоронить её на Родине, и ему разрешили — выделили место на кладбище Александро-Невской Лавры в Ленинграде. Советским друзьям он сказал тогда: умру — похороните рядом... Через пять лет 90-летие Виктора Александровича торжественно отметили дважды — в Нью-Йорке и в Москве. Здесь он уже был вполне своим. А 22 сентября 1975 года Яхонтов окончательно вернулся на Родину. Виктору Александровичу было 94 года, но для своих лет он был удивительно крепок и бодр.

Поселили его в Москве, в Грохольском переулке. Решением Политбюро ЦК КПСС ему была назначена генеральская пенсия, да и кое-какие сбережения у него были, так что о материальной стороне жизни не приходилось беспокоиться. Несколько соседок «взяли над ним шефство», каждый день приносили пирожки, салаты, фрукты. Устраиваясь, Виктор Александрович первым делом повесил над письменным столом благодарственное письмо своих солдат, писанное в далёком 1909-м. «Мне нравится моя квартира, — говорил он. — Рядом Комсомольская площадь, вокзалы, ночью слышны гудки паровозов, я ведь всю жизнь ездил, да вот — отъездился». Но он не «отъездился», «тихо дожить свой век» ему было не суждено.

Оказалось, что в Москве конца 1970-х на него огромный спрос! Его беспрестанно теребили журналисты, историки, организаторы торжественных мероприятий, от него требовали статей, выступлений по радио, мемуаров, бесконечных справок. Донимали его и мы с моим молодым коллегой, ныне покойным Анатолием Афанасьевым — мы написали о нём документальную повесть «Одиссея генерала Яхонтова». На каждую публикацию о Викторе Александровиче приходило много откликов. Его приглашали в гости в разные концы Советского Союза.

Не буду, конечно, идеализировать ход тех событий. Врастание в незнакомое, в данном случае — советское — общество проходило не без сучков и задоринок. Приведу один пример из собственных наблюдений. Я вместе с Яхонтовым был в Ленинграде (нынешнем Санкт-Петербурге). Жили мы в гостинице «Астория». Стояла жара, однажды Яхонтов позвонил в буфет и попросил принести ему стакан апельсинового сока. В США это было бы в порядке вещей, тем более в шикарной гостинице. Так получилось, что я подходил к номеру генерала, когда от него вышла официантка и разговаривала с горничной. «Старый козёл оборзел, сок ему принеси, да не банку — всего один стакан. Из-за одного стакана мне ходить по этажам! Баре проклятые!..» Это самое вежливое, что я услышал от гостиничной служащей, не привыкшей к «барским капризам». Не знаю, часто ли встречался Виктор Александрович с подобными случаями, сам он никогда не жаловался, такого рода претензии персонал высказывал нам, лицам, сопровождающим необычного гостя.

А в тот день в Ленинграде Виктор Александрович вряд ли обратил внимание на злобную официантку. Утром он проводил уезжавшую в Нью-Йорк свою 75-летнюю дочь. Она отказалась остаться с отцом в СССР. В Америке у него жили уже, конечно, взрослые внуки. Генерал оставил им деньги — съездить в Москву, но они предпочли истратить их иначе: прокатиться на Гавайские острова. Ну что ж, они выросли в Америке и поступили по-американски. Только Виктору Александровичу от этого было не легче...

... Генерал Яхонтов умер 10 октября 1978 года, на девяносто восьмом году жизни, сохранив до последнего дня поразительную ясность мысли. Никогда не забуду, как плакал, рассказывая мне об этом, его лечащий врач...

Согласно завещанию Виктора Александровича Яхонтова, он был похоронен в одной могиле со своей женой на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры в Ленинграде. На гранитной плите, кроме имени, отчества, фамилии и дат жизни, выбито три слова: учёный, писатель, патриот.

IV

...Наша книжка о нём вышла спустя десять лет после смерти генерала. Предубеждения против эмиграции были ещё очень сильны. Даже в горбачёвское время, когда «Одиссея генерала Яхонтова» готовилась к изданию, из неё был удалён блок фотоиллюстраций. Ответственное лицо презрительно заявило: «Царскому генералишке достаточно одного портрета». (Напомню, что наш герой не был царским генералом — он получил это звание после Февральской революции.) Это не личная жалоба — в 1988 году книжка наша, выпущенная 100-тысячным тиражом в твёрдом переплёте, не то что разошлась, она была расхvatана в магазинах; были положительные рецензии, мы получили множество писем от читателей, из которых лишь в одном выражалось неприятие нашего героя. Дело не в нас. Я считаю, что в общественном мнении России генералу Яхонтову не воздано по его заслугам. И причина одна: его искренний, прямой, нескрываемый патриотизм.

Советским идеологам было нестерпимо, что быть патриотом может такой человек, как Яхонтов, член Временного правительства, не принявший поначалу Советской власти, принципиально уклонившийся от участия в братоубийственной Гражданской войне, проведший 60 лет в эмиграции. Но времена тех идеологов прошли. Что же теперь? А нынешних идеологов не устраивает то, что Яхонтов не бился «за белое дело», что он поддерживал Советский

Союз и в предгрозые 1930-х, и во время Второй мировой, и в Холодную войну. На Западе издано немало книг, в которых выражается недоумение, почему русские эмигранты из «верхов», из аристократов, из «белых» один за другим приходили к оборончеству, к поддержке Советского Союза. С перестройкой такие книжки стали переводиться и публиковаться в России. Издали, например, книжку мерзавца из Франции по имени Ален Бросса. Вот один из его русофобских перлов: «Париж (1930-х) кишит отбросами из бывших аристократов — таксистами и балалаечниками, сходящими с ума от ностальгии». Ну не может понять «французик из Бордо», почему шли на смерть в борьбе с Гитлером такие люди. Потому что не может он понять: в СССР они видели не только политический режим, обиравший их лично, но — родную страну. Не может понять этого и восхищающийся подобными писаниями россиянин Фадин. Он городит фрейдистскую чушь, объясняя, почему некоторые русские эмигранты-аристократы в 1930-е годы начинали работать на советскую разведку. Знаток сексуальных комплексов Фадин и ему подобные, ныне весьма влиятельные в идеологической сфере, не знают, что такое патриотизм. А иногда и прямо заявляют, что он для них неприемлем.

Вот почему, я считаю, до сих пор не изданы интересные мемуары Яхонтова, впервые опубликованные в США ещё в 1939-м. Они рассчитаны на «среднего американца», написаны очень лёгким (английским) языком, и, пройдя через хорошего переводчика, могли бы стать широко читаемой книгой в современной России. Не введены в научный оборот политологические труды Яхонтова (хотя бы в сжатом изложении). Да и описание его необыкновенной жизни должно быть продолжено. Но в серии «Жизнь замечательных (!) людей» появляется «Чингиз-хан». С какой стати «Гитлер XIII века» объявлен замечательным человеком? Если это не дурацкая ошибка, если это проявление тенденции, тогда замечательному русскому патриоту генералу Яхонтову долго не выйти из тени полузабвения...

СТИХИ

ПОДВОДЯ ИТОГИ

В таинственных, волшебных городах —
В Санкт-Петербурге, Суздале, Коломне,
В Перми, в Смоленске и в других местах
Бывал — и с благодарностью помню.

Москву, конечно, где я был рождён,
Я исходил бесщётными шагами,
И Ярославлем был я покорён,
И очарован курскими садами.

Деревня Мельниково, городок Ирбит,
Владимир, Пенза, Киев и Саратов,
Рязань и Брянск — никто не позабыт.
Ах, Боже мой, как жизнь была богата!

...И вот сегодня глобус я вращал
(Привязан к дому, старый стал, болею) —
Найду-ка место, где я не бывал
И горестно об этом сожалею.

Нашёл — среди шести материков!
Пусть я не пил ни в Копенгагенах, ни в Ниццах,
Но вот Великий Новгород и Псков
Не видел я — и это не простится

2018

ВЕРУЮ**Н. Б.**

Пускай зима, снега, морозы,
На озере — метровый лёд,
Звучат печальные прогнозы
Да иностранные угрозы,
Но — Китеж всё-таки всплывёт.

Нам слали столько похоронок
За все прошедшие века!
Писали — при смерти ребёнок,
А слой озоновый так тонок!
Гуд бай, Россия. Всё. Пока.

Нам запрещали то и это,
Учили по-чужому жить,
Давали ложные советы,
Ссылаясь на «авторитеты»:
Нет, нет, не сможет Китеж всплыть.

Из-за границы привозили
Паскуднейших профессоров
И те нам головы дурили,
Мол, миф о Китеже сложили
Агенты вражеских штабóв.

Нам географию меняли,
За бред платили гонорар,
Пожар бензином заливали,
Из книг страницы вырывали,
Где было слово Светлояр.

Нам говорили: «Глуповатый
И простоватый вы народ.
Для вас всё кончено, ребята,
Прошли вы точку невозврата».
...Нет, Китеж всё-таки всплывёт!

ПРИГОВОР

Ленин — в аду, Сталин — в раю.
Каждому Бог воздал —
Кто убивал державу мою,
Кто её воскрешал.
Чем ты можешь мне возразить?
«С одной стороны, с другой стороны?»

Время не может переменить
Значенье родной страны.
И мне на твой плюрализм плевать.
Брось, не пори ерунду.
Сталину вечно в раю пребывать,
Ленину — вечно в аду.

2018

ЛЕТО ГОСПОДНЕ

Н. Б.

Лето Господне стояло, прекрасное лето,
Красного в яростный полдень купали коня,
Красного, красного, невероятного цвета...
Что-то внезапно тогда снизошло на меня:
— Лето Господне запомни, прекрасное лето,
Время проходит, и не повторяется это,
Полный зенит золотого роскошного дня.
Дальше — снижение, скольжение, смещение в упадок;
О, красота увяданья — одна из первейших красот;
Пушкин, Есенин, цитаты, наверно, не надо,
Всё, что ты скажешь, известно давно наперёд.
Да, он прекрасен, сентябрь, но, увы, это всё же упадок,
Смерть, а не что-нибудь, подлинный смысл листопада,
Лист отлетевший на ветку никто не вернёт.

И снизошло на меня то, что Лето Господне
Значит — что незачем делать какой-то запас;
Счастье — сегодня, любимая, слышишь, сегодня!
Нынче отложишь, а завтра никто не отдаст:
Флаг ваш упал, так до самого неба не поднят,
Яростный конь ускакал и, конечно, без вас...

Сладостно долго, блаженно вершинное длилось.
Что снизошло — снизошло, надо думать, не зря;
Длительность Лета Господня как высшую милость
Принял тогда я взамен октября-ноября,
Да и декабрь добавил, чтоб только продлилось,
Только бы чтобы любилось, любилось, любилось —
Вплоть до сентябрьского берега календаря.

2004

НИНОЧКА, ПОМНИШЬ?

Березняк, и сосняк, и осинник,
И речушки скрипичный изгиб;
Натюрморт завершает в корзине
Крупный белый ядрёнейший гриб.

Шелест леса, по-русски певучий...
Всё настолько прекрасно вокруг,
Что нельзя ни насколько улучшить
Даже силой божественных рук.

Но — нашлось добавленье к картине
Безупречной, к осенним полям:
Вот сейчас бы да в дымчатой сини
Надо мною лететь журавлям.

Так я думал — и стало мне стыдно:
Впрямь старуха из пушкинских строк —
Всё мне мало и всё мне завидно,
Всё-то мне недовешивал Бог.

2018

ИЗ НАБРОСКОВ АВТОБИОГРАФИИ

Сложилось всё удачно у меня.
Хотя всегда — оговорюсь — был бедным,
До сорока ютился в коммуналках,
Не нажил ни хором, ни дачи, ни машины.
И по бордельным Куршавелям не катался,
И в воровской малине не был, в Лондонграде,
Куда стремятся многие — взглянуть одним глазком
На королеву, что крышует всю братву.
Я никогда не голодал (за вычетом войны)
И не сидел в тюрьме (а несколько приводов
По малолетке и по молодости лет — не криминал).
Болел, как все, валялся по больницам,
Но рак и спид, и гепатит с туберкулёзом
Меня пока что миновали — тьфу, тьфу, тьфу.
Я даже триппер не хватал ни разу.
Вот видите — во многом мне везло.

А главное — я прожил жизнь в России,
Включая шестьдесят в СССР.
Меня не выслали и не угнали в плен
(В полон, как выражались наши предки).
И в эмиграцию не увезли ребёнком,
А ведь такое и вполне могло бы быть.

Хоть горожанин, знаю и село —
На поле мне работать приходилось
И лошадей гонять в ночное с пацанами.
И даже я один сезон ходил в лаптях,
Всего лишь осень-зиму, но — ходил
(А ты ходил, космополит проклятый?).
И телогрейку я носил четыре года.

Мне перешли в подростковое пальто
Шинельку рваную соседа-офицера,
Но мне она ничуть не помешала
Читать взапой, начать писать, влюбляться

И весь сезон водить в Большой театр
Прелестную подругу-гимназистку
(Обманным образом — был грех — я раздобыл
Абонемент в райкоме комсомола).
То был пятидесятый год, на сцене
Блистали Лемешев, Уланова, Козловский —
Какой расцвет, какие имена!
Старинной музыкой тогда же увлёкся,
А Гедике, великий органист,
Дарил нам незабвенные концерты...
Сейчас, возможно, это странно прозвучит —
В Консерваторию ходил я на концерты
Певицы Нины Дорлиак и не особо
Соображал, что аккомпаниатор — Рихтер,
Да, Святослав, да, да, тот самый Рихтер;
Простите, я не профессионал...

А вот в поэзии я свой среди своих.
С Есениным и с Блоком мы дружили,
И с Алексеем Константинычем Толстым,
С Андреем Белым были кореша,
И с Брюсовым, да всех не перечислишь...
Но это русские, но это земляки,
А что до иностранцев, то, конечно;
По-бусурмански я не говорю
И вся надежда тут на переводы.
С их помощью бывали чудеса.
Ну, например, я помню, как однажды,
Когда случилась свалка в магазине
За томиком Вийона, в зал вошёл
Сам автор и покрыл французским матом
Всю очередь и вытащил меня
И говорит: «Чтоб этому досталось!
Мой давнишний и верный почитатель,
Когда-то у богатого соседа
Он спёр моих стихов солидный том,
Читал всю ночь, потом переписал,
А после подарил одной подруге.

И, кстати, бабы тут у вас в Москве
Гораздо лучше, чем у нас в Париже,
Но это так, как говорится, а propos...
Про этого студента — я скажу:
Вот настоящий, подлинный читатель!
Я Карла Орлеанского просил
Позвать его на состязание в Блуа,
Тот согласился, но не вышло дело:
Упёрлись рогом солдафоны НАТО,
Ну что тут, что тут скажешь, мать их так!»

Подобное случалось у меня
С Уитмэном, с Превером, с Хаусмэном,
А в чайхане однажды, в Душанбе
Со мной Омар Хайям поговорил,
Так сам чайханщик с круглыми плечами¹
С меня и деньги отказался взять за чай:
Ведь есть же люди (их зовут «простые люди»),
Которые прекрасно понимают —
«Поэт поэтов» человечеству важнее,
Чем главначпупс и секретарь ЦК.

Закончить о везении моём
Хотел бы я, сказав об очень важном,
О Женщинах, о чём мемуаристы
Обычно бла-бла-бла сверх всякой меры...
Ага, смотрю — поганец пасть разинул и слюной
Закапал. Пасть закрой! Кина не будет.
На эти темы я не говорю.
Нет, никому я не давал подписку,
Но у меня такие принципы морали.
Поверьте на слово, а то, что я не вру,
Вы поняли, надеюсь. Ну так вот:
Подобных Им вам даже и не снилось.
Вот видите, как в жизни мне везло.

2018

¹ Слова Есенина из Персидского цикла.

ЧУДО НА «БИС»

Солнце выплывает из-за поля —
Чудо, чудо, чудо из чудес!
Снимет проявленья всякой боли,
Скуке и тоске пойдёт вразрез.

Скажут мне: «Повтор неинтересен.
Солнце ведь восходит каждый день.
Если ход события известен,
Это, извините, дребедень».

Нет, скажу, и жить тогда не стоит,
Если «только раз сады цветут».
Чудо: знают, что это такое,
Но его всегда с волненьем ждут.

Хорошо, что чудо повторимо
И восход всегда чарует нас.
Это словно с женщиной любимой —
Каждый раз — как будто в первый раз.

2018

ДВОЕ

Алёнушка с восьмого этажа,
Иван-Царевич из десантной части...
Ах, как она красива и свежа,
А он — орёл... Так дай же Бог им счастья!

Коварный Серый Волк, заморский бес,
Ползёт к России, клацая клыками —
Иван-Царевич спустится с небес
И в пасть врагу плеснёт святое пламя.

И пусть Алёнушку пока что достаёт
Кикимора, соседская змеюга,
Иван её, женившись, увезёт
К своим родителям, друзьям и их подругам.

Ещё с Кощеем он поговорит,
И тот останется полнейшим инвалидом,
А Змей-Горынычу такого посулит,
Что тот навеки пропадёт из виду.

Она уверена — Иван ко всем чертям
Разгонит расплодившуюся нечисть.
Ведь он силён, он честен, храбр и прям,
Под самый тяжкий груз подставит плечи.

Алёнушка, на всём твоём веку
Пусть ничего такого не случится,
Хоть ты коня удержишь на скаку,
Пожар погасишь, если загорится.

Не знать бы вам ни бомбы, ни ножа,
Ни ДТП, ни атомной напасти,
Алёнушка с восьмого этажа,
Иван-Царевич из гвардейской части.

ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ НИКОЛАЯ РУБЦОВА

*С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.*

Нет, не избушкой с картин третьяковочных
(Прадедов эти избушки жильё) —
Микрорайоны, безостановочно
Прущие в поле, — вот это моё.

В пятиэтажке скончались родители,
В тесной однушке, одной на двоих,
С самого детства — московские жители,
Тоже моей биографии штрих.

Мимо как еду — всё мама мне чудится,
Машет прощально с балкона рукой;
Жалко мне будет, коль план этот сбудется —
К чёрту хрущобы снести до одной.

Вот обошлось бы хоть с первой высоткою
(Звали её — «Небоскрёб среди полей»);
Встречался я там с черноокой красоткою —
Премьерною девушкой в жизни моей.

Всё это в гены навек мне впиталось —
Многоэтажек стандартных ряды.
Если придётся — я буду без жалости
Биться за них так, как бились деды.

Всё здесь моё, чужакам непонятное:
Новые билдинги и старина,
Непредсказуемо-невероятная
Непостижимая наша страна.

И с колокольней, что, бабкой «партийною»
Полуразрушена, может упасть,
Чувствую личную, чисто семейную,
Нерасторжимую связь.



АВТОПАРОДИЯ

Сто грамм нектара засадил с утра,
Заел амврозией, лёг поперёк дивана.
С богинями всё то же, что вчера:
Венера ластится, но я хочу Диану.

В блокноте пять незавершённых строк,
В буфете три недóпитых бутылки,
А в холле приготовлен альпеншток,
Чтоб троцким продырявливать затылки.

Но не сегодня: Дмитрий Ларин звал
К себе на бал, хоть к середине бала,
Но только чтоб Татьяну не смущал,
Как в прошлый раз, парижским секс-журналом.

Ещё Арины Родионовны внучок
Сказал, что гриб выходит на опушки...
И всё же — пять незавершённых строк,
И всё ж — пора заканчивать «Частушки».

Тем более, что был я приглашён
Их прочитать — и большей чести нету:
Омар Хайям и Франсуа Вийон
Приедут к нам на фестиваль поэтов.

...Нет, к чёрту! От Дианы SMS!
Я от волненья чуть не выронил мобильник:
«Твоя взяла. В меня вселился бес.
Готовь постель. И — водку в холодильник».

2014

РАЗВЕСЁЛЫЙ ТРИПТИХ

1. ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ

— Эх, погладить бы грудь напоследок,
Холодея, коснуться бедра, —
Бормочу, вырываясь из бреда,
И смеются мои доктора:

— Ну даёт! Полутруп с «Камасутрой»!
Ты смотри, не остыл до сих пор;
Ничего, околеет под утро,
Переедет любовничек в морг...

Перееду... Куда ж мне деваться;
По укромной дорожке в кустах
Вдоль жасмина, сирени, акаций
Повезёт санитар второпях.

Санитар! Задержишься на минуту,
Сигаретку достань, затянись:
Мне сейчас — это лучше салюта —
Куст жасмина исполнит стриптиз.

Не спеши! Я остыну к рассвету,
Мне всего лишь секунда нужна,
Чтоб в распахнутом вырезе веток,
Словно грудь, колыхнулась луна.

2. МОРГ

Я и толком помереть не успел —
Санитарка на каталку кладёт
Обшмонала (здесь во всём беспредел),
Повезла меня ногами вперёд.

В морге чистенько, прохладно, светло,
Я глаза скосил, смотрю... Ни фига!
Ну не может быть, чтоб так повезло:
Вижу рядом своего я врага!

Он, подлец, уже обмыт и побрит,
Он уже в парадной форме, свинья.
Значит, он уже давно здесь лежит,
Значит, он загнулся раньше меня!

Стало весело мне и хорошо,
Ну, а спирту здесь полно — благодать.
Говорю врагу я: на посошок
Надо выпить, растуды твою мать!

Я смеюсь и говорю: наливай!
У него ж от страха зубы стучат.
Ну так, я на ПМЖ еду в рай,
А ему на ПМЖ ехать в ад.

3. ПОМИНКИ

Я завещаю вам — купите много водки,
Воды, вина (для трезвенников — сок),
Закуски всяческой, но только не селёдки —
При жизни я её терпеть не мог.

Да не забудьте, кстати, про салфетки,
Про штопор — без него нехорошо:
Припомните, как пробки мы нередко
Продавливали внутрь карандашом.

И не пугайтесь никаких конфликтов,
Коль вдруг заявится... Вы поняли меня?
Не грех тогда и в лоб спросить: а ты кто?
Пошёл к чертям! Тут не твоя родня.

И к полночи окончивши попойку,
Посуду вымывши в пристойной тишине,
Не расходитесь, а ложитесь в койки
И всласть натрахайтесь на память обо мне.

РАЙ

Нине Барановой

Мы с электрички на конечной станции сходим;
Сперва полкилометра по шоссе, потом по шпалам,
И вот он, железнодорожный мост,
Река, об имени которой умолчу,
За речкой — лес, я кланяюсь ему.
Вдоль полотна тропинка — и Врата.

Нет, не ворота и не вход, а именно — Врата
(Сказать «ворота в Рай», по-моему, неприлично).
Едва заметная тропинка в лес уходит,
Но это на обыденном, на плоском языке,
Ну, а вообще-то это Райские Врата.
Я б их нашёл с повязкой на глазах,
Сюда полвека мы входили много раз,
Осознавая каждый раз — священный миг,
Мы из обыденности здесь переступаем
Через порог невидимый туда,
Где всё иное, всё невероятно,
Волшебно всё. А если кратко — Рай.

...Забавно, как-то я разговорился
С одним шикарно разодетым господином,
И тот сказал, что, мол, недавно был в раю.
Я удивился. Он спросил высокомерно:
«Вы знаете ли, что такое рай?
Не знаете? Так знайте же — Европа.
И я в кафе над Средиземным морем,
Бутылка кьянти, пицца, ну, и телефон,
Он зазвонит сейчас, и жгучая брюнетка
Мне скажет по-английски точный час
И номер комнаты в отеле, что для нас
На этот вечер станет сексодромом,
И мы взлетим над койкой прямо в небо.
Полет наш будет длиться до тех пор,
Пока брюнетка мне не проворкует
«Ориведерчи, русо». Вот теперь
Вы понимаете, что значит слово рай»...

...Другой случайный встречный в самолёте
Мне излагал свою трактовку рая:
«Он длится несколько минут — зато каких
Мгновений! — ты читаешь в интернете
В сегодняшнем, в последнем курсе акций:
Ты угадал, ты победил, и деньги —
Такие деньги! — выиграл, ты выиграл, восторг!
А конкуренты — лузеры, в убытке,
Да не в каком-нибудь, а по уши в дерьме!
Вот это рай! Ты винер, а не лузер!
Ты в шоколаде, а враги твои — в дерьме!
Тот, кто вдыхал вот этот аромат
Победы денежной, победы в смертной гонке,
Лишь тот и знает, что такое рай!»

Какие жалкие людишки, боже мой!
У нас в Раю, по графику сезона,
Полынью пахнет, разогретою сосной,
Землёй, болотом, прелою листвою,
Цветущей липой, ландышами, дымом,
Разнообразной и неповторимой гаммой
Грибных невероятных ароматов,
Не то, что ваш отель или бордель
И даже биржа где-нибудь в Нью-Йорке.

У нас в Раю и ельник, и сосняк,
Ивняк, осинник, березняк, орешник,
Черёмухи полно, калина над ручьём,
А ведь калину (знаете ли вы?)
Весь мир признал красивейшим растением
На конкурсе по линии ООН.
Ещё у нас мощнейшие дубы
Остались на опушке от дубравы,
Которая когда-то здесь была,
Пока цивилизация не влезла.
Подлесок здешний тоже первый класс —
Лещина, бересклет и волчье лыко.
Ещё мы очень любим можжевельник
(Я помню, при придурке Горбачёве
Мы из него пытались делать джин).
...А что за птичий рай у нас в Раю!

Колоратурных соловьёв мы ездим слушать
Сюда весной — до ягод и грибов.
А жаворонок! А кукушкин счёт —
Он обнадёживает, а порой пугает...
...Наш Рай — не то что рай того козла,
Что пьёт вино над Средиземным морем;
Он сколько дал, так то и получил.
У нас же Рай от денег независим:
Господь решал, куда кренился год —
Зальют дожди, болото от жары
Почти что высохнет, и сколько волн опять
Пройдёт за лето, Золотая осень
Во всём великолепии развернётся,
А может быть увянуть поспешит.
Но каждый день, но каждый месяц, год
Палитра красок будет здесь, в Раю, иная:
Прозрачность воздуха и неба синева,
И колеры тумана по утрам,
И оклик журавлей из поднебесья...

Ещё один секрет у нас в Раю —
Он полноцветен, полнозвучен лишь тогда,
Когда мы в нём, Любимая, с тобою.
Когда же я ходил туда один,
Был этот рай, конечно, тоже рай,
Но только рай неполный, половинный.
Ну, скажем, я, найдя роскошный гриб,
Хотел было позвать тебя — взгляни,
Порадуйся изысканному чуду,
Но — оклик в горле застревал, и так сто раз,
При каждой радости в добыче иль пейзаже,
При каждой встрече с зайцем и лисой,
С лосиным стадом, стайкою зорянок,
С гусиным клином или чем-нибудь ещё;
Ну, например, когда престольный праздник
В селе за речкой — благовест во храме
И к небу воспаряется душа,
И сожаленья лишь о том, что я один...
Зато как было дома хорошо
Рассказывать тебе об этих встречах,

Тем самым Рай немного приближая,
Сказать иначе — продлевая Рай,
Хоть на чуть-чуть, но всё же продлевая.
...Фома неверующий может нам сказать:
«Как мог быть рай? Загажено, небось,
И вам лишь чудилось, что было всё прекрасно...»
Конечно, кое-что, вполне возможно,
Мы там, в Раю у нас, не замечали,
Ну, например, бутылки из-под водки;
Они встречались, и нередко, только мы
Воспринимали их как некий сорт поганок,
Генетиками выведенный сорт.
Наш Рай, скажу я вам, вполне реален,
Он, по-научному сказать, есть треугольник
Меж двух железных грузовых дорог
И речкой, имя чьё не назову.
И в треугольник этот невозможно въехать
Ни мерседесом, даже и ни джипом,
И потому шашлычной нету здесь шпаны.
Ещё скажу — речные берега
Здесь большей частью — топкое болото,
Где дачникам купаться несподручно,
Зато на север и на запад от села
Находятся прекрасные озёра
И берега у них — сплошной песок,
И то ли пять, а может шесть пансионатов
С шикарнейшим ассортиментом вин,
Таким же, как на Средиземном море,
А выбор девок даже не сравнить:
Некрашенных блондинок там полно,
А жгучие брюнетки аж со скидкой.
Вот почему наш Рай и уцелел.
Ну да, конечно, по большому счёту
Он обречён, да нам-то... Нам уже
Господь готовит Рай (мы точно знаем)
По образцу того, что был у нас —
За железнодорожной станцией, где мы
Сходили, предвкушая счастье, с электрички.

ИЗ ЦИКЛА «ЗАПАДНЫЕ КОЗЛЫ»

1. АНГЛИЧАНИН ЧАРЛИ

Чарли Дарвин, козёл, обезьяний внучок,
Открестился от Господа Бога,
Он отверг человека Небесный Исток,
Рассказал, как всё было убого.

Он учил: превратились амёбы в клопов,
А клопы в червяков, те со временем в мушек.
Пару тысяч веков, десять тысяч шагов —
И мы видим в итоге лягушек.

Изменялась, учил он, лягушкина стать
Вплоть до крысы с шерстистой кожей.
А от крысы уже и рукою подать
До мартышки, на Чарли похожей.

Правда, он никогда не учил,
Отчего механизм запустился,
Кто инстинкт, жажду жизни, в зверей заложил —
Он с какого рожна появился?

...Так-то, Чарли, наследник амёбных принцесс,
Инфузорий, шакалов, гиен, муравьедов,
Проиграл ты, козёл, Обезьяний процесс.
Кто ж над Богом одержит победу?

2. ГОТФРИД ВИЛЬГЕЛЬМ ЛЕЙБНИЦ, УЧЁНЫЙ НЕМЕЦ

«Граница Швеции должна быть по Амуру», —
Так математик Лейбниц порешил.
Хотел он, чтобы швед Россию проглотил:
На воле, мол, нельзя держать большую эту дуру.

Там бородатые смешные мужики,
И Лейбниц рассудил, конечно, мудро:

Ведь на башке у них не то что нету пудры —
Отсутствуют и сами парики!

Ни по-немецки говорить они не могут,
Ни по-французски, кто же их поймёт?
И Лейбниц дал продуманный расчёт:
Отдать их шведам, пусть взростлеют понемногу.

Но битый Карл с позором ускакал
Из-под какой-то — как её? — Полтавы,
Где россов полудикая орава
Разрушила такой научный идеал.

...А мы всё пишем: Лейбниц — гениален,
Не только математик, но стратег.
А он козёл и глупый человек.
Таких полно мы там, на Западе, видали.

3. БЕРТРАН РАССЕЛ, АНГЛИЙСКИЙ ЛОРД

Бертран изволил посетить Россию,
Когда у нас пылал военный коммунизм.
По-русски, разумеется, ни слова,
Но дали переводчика ему,
Естественно, не русского — еврея,
Ещё вчера — нью-йоркского банкира,
А ныне — аж советского наркома. Что за чёрт?
А чёрт простой: фамилия-то — Свёрдлов.
Да, этот Беня был из пакостной семейки,
Брат Якова, бандита-президента
В несчастной нашей чокнутой стране.

Ну разве чокнутой нельзя её назвать,
Коль президентом был уральский уголовник
И террорист по кличке Янкель Свёрдлов,
Наркомом транспорта — примчавшийся из Штатов
Братишка Беня (гешевтмахер Беньямин).
Заметьте, что, как прочая шпана

Из местечковых революционеров,
Они фамилию свою не поменяли.
А почему? Она была как символ.
Швердл по-еврейски — это меч.
Не тот ли меч, что к горлу был приставлен
России-матушке?.. Ну ладно, а Бертран?

Бертран, разинув рот, внимал рассказам Бени,
А в Англию родную воротившись,
Довольно быстро книжку накатал
О том, как хорошо в Стране Советов,
Но Троцким, Свердловым и прочим прогрессистам
Мешают полудикие крестьяне;
Они там примитивные, как звери,
Они никак не могут там понять,
Что продотряды — это хорошо,
Что правильно у них уводят скот
И выскребают хлебные амбары.

...Залётным простаком промчался Берти Рассел
По полумёртвой ленинской России
И тут же был провозглашён экспертом
По русскому вопросу. Как же — лорд!
Ну как же — эрудит и демократ!
И математик, и философ, и политик!
И множество мерзавцев разных стран
Цитировали расселовский бред
О русских недоразвитых крестьянах.
Потом шатался лорд ещё не раз,
Меняя убеждения и взгляды,
Приоритеты, галстуки и жён.
Один пример — в сороковых годах
Он слёзно умолял американцев
Бомбить СССР, пока у нас
Не появилась атомная бомба...

...Прочтите-ка о Расселе сейчас,
Не где-нибудь, а в наших изданиях.

Одни восторги. Бешеный респект!
Научный гений и борец за мир!
И нобелевский он лауреат,
Не по науке — по литературе...
Я думаю, что свердловская поросль
Сознательно не говорит о том,
Как lord Kozell к России относился —
Они ведь наши вечные враги.

А Беню Свердлова давно, в тридцать девятом,
Как бешеную псину расстреляли.
Для их семейки — в юбилейный год:
Ведь в девятнадцатом рабочие в Орле
Избили «Якова Михалыча», да так,
Что ребе Янкель вскорости загнулся.
... Погожие деньки бывают и у нас!

2018

ЛЯЛЕ ПЕСТЕРЕВОЙ

Ещё при Сталине мы встретились с тобой;
Санкт-Петербургом называл я город твой —
Не против Ленина, но с долей эпатажа
Я говорил, что здесь имперские пейзажи,
Что места нет соцреализму над Невой.

Теперь я часто вспоминаю Ленинград,
Как пожилые по привычке говорят —
Не ради Ленина (да упаси нас, Боже!),
А просто были мы тогда куда моложе,
Что всей политики важнее во сто крат.

Тем более сейчас она смердит,
Плюёт на прошлое, империю чернит;
Боюсь, что рыночное сучье поколение
Продаст Невы державное течение,
Пропьёт береговой её гранит.

2003

ОСТРОВА

Васильевский остров, Манхэттен, Ситэ...
Понятно, Васильевский всех переплюнет
И первым окажется по красоте,
Особенно белою ночью в июне.

Он лучший: здесь русские люди живут,
Не то что какие-то янки-французы.
И Блок здесь родился; не где-то, а тут —
Избранник Богов и возлюбленный Музы.

Он здесь возле древнего Сфинкса стоял
В метель — непокорный, красивый и статный.
Здесь Пушкин, Есенин и Тютчев бывал,
И аз многогрешный бывал многократно.

Вздымала энергия ангельских крыл,
Тонул, выплывал (это было не просто).
О Боже, как много я здесь пережил!
Васильевский остров... Васильевский остров...

2017

* * *

Л. П.

Утекают из памяти Висла, Иртыш и Гудзон
И почти что без рек остаётся моя голова.
Всё забыл, всех забыл, даже Волгу и Дон,
Протекая сквозь сердце, осталась одна лишь Нева.
Широка, холодна и красива — ну Боже ты мой!
Я теперь переплыть её — нет, не смогу, не смогу.
Я за счастье сочту лишь увидеть платок голубой,
Твой платок голубой на далёком на том берегу.

2017

КОРЕННЫЕ РУССКИЕ ОЩУЩЕНИЯ

Всё хреново, хреново, хреново,
Хоть убейся. Но слёзы не лей.
Завтра вспыхнет прекрасное снова
Над прекрасной страной моей.

Снова золотом вспыхнут берёзы,
Сосны — бронзой и охрой — ольха
На равнинах невиданной прозы
И первейшего в мире стиха.

По-над Волгой, в Москве, на Урале
В среднерусских светлицах от сна
Пробудятся мадонны и крали —
Наша вечная чудо-весна.

С ними жить — это светлые выси,
С ними спать — это сладкий огонь,
Это вам не какие-то «миссис»,
Голливудская, блин, шелупонь.

Но из песни не выкинешь слова:
Бусурманская зависть вскипит,
Бусурманская туча по-новой
Наше небо закрыть поспешит.

Нас обложат и слева и справа,
Но Россия не ввергнется в ад;
Новый Сталин возглавит державу
И прикажет: «Ни шагу назад!»

РУССКИЙ ПЕЙЗАЖ

I

У нас, как водится, идёт за далью даль,
И незаметно тает в самой дальней сини,
Благословляя светлую печаль,
То березняк, то ельник, то осинник.
А здесь росли когда-то мощные дубы;
От дуба русичи дубины так называли
И разбивали их о печенежьи лбы,
Потом о черепа монголов разбивали.
За дубняком, ещё нарядней и светлей,
Стоял величественно и несокрушимо
Сосновый бор — как раз для русских кораблей
«Времён Очаковских и покоренья Крыма».
А нынче что? Осталась липа — хороша
Она для пчёл, а также для чертёжных досок.
Ведь с них взлетают в космос, ватманом шурша,
Беречь границы наши — ядерные осы.

II

Я так люблю наш лес от Гришина до Пчёлки,
Конечно, в сторону не трассы, а реки.
Сюда не добрались промышленные волки,
А для коттеджей наши вёрсты далеки.

Здесь только русское — ни пальм, ни скорпионов,
Ни баобабов нет, ни скунсов, ни горилл.
А чтоб не завелись — досмотр ведёт бессонный
У нас Лесной Спецназ, что Леший учредил.

Он палку кое в чём порой перегибает
Готов гнобить любой неведомый народ;
Прогнал залётного недавно попугая —
Уж больно громко и противно тот орёт.

Зато царят здесь преимущества иные;
Которых нет среди людей уж много лет,
Что полноценные права имеют коренные,
А толерантности у нас, простите, нет.
Здесь всё нормальное, как должно быть в природе,
На первом месте, как и должно быть — свои.
И по вокалу птичьих конкурсы проводят
Здесь голосистейшие в мире соловьи.

III

Как хорошо у нас в родном районе — тут
Никак заморские деревья не растут.
Араукарий нет, не водится сандал,
Баньяна тут никто ни разу не видал.
Один писатель, правда, мать его ети,
Анчар пытался ядовитый развести.
Но наши зимы не выдерживал анчар —
В запрошлый год замёрз последний экземпляр.
Когда мы встретились, я говорю: «Козёл,
Ты вверх ногами, видно, Пушкина прочёл —
В стихах указано, что это за страна,
Что солнцем там земля раскалена...»
Ещё у нас был фермер — очуметь:
На кактусах, дурак, решил разбогатеть.
Под это дело он отвёл гектаров пять —
Он из опунции хотел текилу гнать.
Но дети выдрали весь мексиканский срам
И по дешёвке продавали москвичам.
А фермер видит, что ему поставлен мат —
Завёл обычный самогонный аппарат.
Вот так мы поняли, уже в который раз,
Что за граница нам нисколько не указ.
Но лично я не ксенофоб. Мне жалко — тут
Калифорнийские секвойи не растут.

РУССКИЙ НАРОД,

Или второй концерт Рахманинова для фортепьяно с оркестром

Конь телегу вёз с большим усилием
И вознёс в распахнутую даль —
Это мой сосед Сергей Васильич
Спозаранку сел за свой рояль.

Он Вторым концертом в мир ворвался,
Этот конь, — и по небу плывёт...
А тогда я чуть ли не ругался:
Беспокойный русский наш народ.

Разбудил меня Рахманинов жестоко —
Только-только я тогда прилёг:
До глубокой ночи слушал Блока
(Пригласил меня к себе на чтение Блок).

Шли потом с Кронверкского к Арбату
Со Свиридовым и Буниным втроём,
А в полях колхозные девчата
Пели про Любовь и Отчий Дом.

Композитор вытащил блокнотик:
Тему запишу, я к ней вернусь...
«На слова Фатьянова поёте, —
Вставил Бунин, — безупречный вкус!»

Самолёт по песне с грохотом промчался.
«Жалко Нестерова», — классик загрузил.
«Жалко Чкалова — лихач перестарался», —
И Свиридов лоб перекрестил.

Как же так? У нас законы скачут.
Лобачевский ближе, чем Эвклид;
Звон брегета ничего не значит,
От минуты век не отличит.

До Раскола? После Перестройки?
Гром Победы? Пораженья дым?
Я тогда едва добрёл до койки,
Только лёг — рахманиновский гимн.

Он приподнял купол небосвода,
Сделал негасимым русский свет,
Это — песню нашего народа
Написал великий мой сосед.

Я так счастлив, что мы с ним соседи,
Он мне тоже говорил не раз:
«Никуда мы с вами не уедем —
Жить средь русских — лучше нет для нас».

Да и то сказать: народ окрестный
Просто замечательный народ,
Ни в одной другой стране известной
Вам никто такого не найдёт.

Вот идут поддавшие в буфете
Алексей Стаханов и Левша,
Тютчев в щегольском кабриолете
На прогулку едет не спеша;

Константин Сергеич Станиславский,
Глянь, с Улановой о чём-то говорит,
А Есенин с Галей Бениславской
Байками Крылова веселит.

Маршал Жуков, Глинка, Хворостинин,
Карамзин, Чайковский, Королёв,
Достоевский, князь Пожарский, Минин
И Семён Иванович Дежнёв.

Ну, конечно, наш издатель Сытин
Здесь — а где ж ему ещё? — живёт,
За три моря плававший Никитин,
Честь ему, и слава, и почёт.

Перечислить всех я не сумею,
Даже знаменитостей таких,
Как Суворов, Пушкин, Менделеев,
Русских современников моих.

Главное — не в персональной чести,
Кто возглавит нынешний парад,
Главное, что русские все вместе,
Только-только зазвучит набат.

То война, вторженье людоедов —
Печенегов, турок, марсиан
Или долгожданная победа,
Мол, вчера расстрелян Чингиз-хан.

Или, скажем, в праздничном угаре
Пели мы, срывая голоса:
Юрий Алексеевич Гагарин
Пропорол ракетой небеса!

Разобрав мелодию полёта,
Ту, которую ракетный пел огонь,
Вспомнил я Рахманинова ноты —
Это ведь его бессмертный конь,

Кто крутой подъём одолевает
Открывая новые пути,
А сейчас, за солнцем поспевая,
Спутник наш торжественно летит.

Все ему приветственно махали —
Патриархи, пахари, цари,
Поклонился даже сам товарищ Сталин
Рыцарю космической зари.

Вверх летели кивера, пилотки,
Александр Невский поднял меч:
«Будем вас бомбить с небесной лодки,
Немчуру хочу предостеречь...»

...Эту фразу после изменили:
Мол, «С мечом пришедших будем бить».
О «небесной лодке» говорили
Как о чуде надо говорить.

«За Царя, за Родину, за Веру»,
Помню, перевёл один тевтон
Как «Сразит вас меч СССРа»,
И не поняли тогда, что прав был он.

Потому что нами управляет
Лобачевский, а не простенький Эвклид.
Конь Рахманинова вечно ввысь взлетает,
Ну, а Русь, конечно, победит.

2018

ДОМ

I

Дом наш — девять этажей, двадцать два подъезда,
Уж не знаю, сколько тысяч там людей живёт.
Три колхоза — «Луч», «Победа», «Имени Второго Съезда»
Запихнули в наш домище в переломный год.

Торопили нас тогда — чтобы к Первомаю
Наши вещи из деревни срочно увезти.
Линия была такая, с Карлы Марлы начиная, —
Идиотство сельской жизни с корнем извести.

Кто в деревне жил какой, долго мы считались:
«Ты откелева? С „Луча“? А с „Победы“ я».
Поначалу даже дрались, а потом перемешались:
Тут — Ромео, там — Джульетта, вот тебе семья.
И недолго звали дом «Длинная дерёвня»:
По заводам и по стройкам люди разошлись.
Подучились, приделались, стали всем соседям ровня,
В общем, всех переломала городская «жисть».

Мужики пилить-строгать сызмалетства могут,
Палисадники по-сельски окружили дом.
Ребятишкам спортплощадки надо сделать? Ради Бога.
И футбольную команду быстро соберём.

Но не все так захотели, знать, привычки одолели —
Вон у тех шести подъездов никаких вам роз,
Ни сирени, ни качелей, ни ребячьих каруселей:
«Имени Второго Съезда» хилый был колхоз.

Всё же, думаю, они, на соседей глядя,
Разведут, себе на радость, образцовый сад
И почешутся в затылках, и своих детишек ради,
Захотят, чтоб их подъезды не ломали ряд.

II

Это, впрочем, всё уже история,
Ну, а нынче как же мы живём?
Вот нам тут статистику спроворили,
Чтобы разобраться, что почём.
Большинство процентов, насчитали нам,
В доме — самых кадровых трудят;
Много меньше, чем в эпоху Сталина,
То же, что в подобных же домах.
А процент жулья всё сокращается:
Земли трёх колхозов захватив,
Роскошью коттеджей выделяется
ВИП-посёлок «Горби-экслюзив».
Вы, конечно, спросите, как водится:
Пить-то любит русская душа?
Любит. И на весь наш дом приходится
Пятьдесят четыре алкаша.
Не такая уж большая толика,
Но вот жил у нас один доцент —
Книгу «В царстве русских алкоголиков»,
За бугор сбежав, издал в момент.

III

Ну, а нас проведаль Нострадамус
И потом в катренах написал
Всё, что будет с нашими домами,
Точно ли — не знаю — предсказал.

По его словам, подъезд четыре
Мир украсит памятной доской,
Потому что гений русской лиры
Здесь родится будущей весной.

А в подъезде номер восемнадцать
Братья-математики найдут
Способ, как мгновенно разобраться
В тайнах всех пропущенных минут.

Генератор Счастья будет создан
В нашем доме тем весельчаком,
Кто погасит варварские звёзды,
Кто с послем Юпитера знаком.

Нет, конечно, не во всех катренах
Можно всё до тонкостей понять.
Например: «Познание Вселенной
Снизойдёт с подъезда номер пять».

В общем, Нострадамус предрекает
Дому процветанье и прогресс
И ни разу не употребляет
Ни в одном катрене слово «бес».

А вот об известном ВИП-посёлке
Пишет он совсем в иных тонах:
«Тучи, бесы, бешеные волки
Мчат на чингизхановских конях».

И ещё: «Бессрочно виноваты,
Отторжение земли им не пройдёт
И в порядке Праведной Расплаты
Дети их умрут всего за год».

Так не так, но вот на той неделе
В ВИП-посёлке «Горби-экслюзив»
Три девицы в «лексусе» сгорели,
Олигарха N. осиротив.

СТАРИКОВСКОЕ

Сказала когда-то куда-то, а эхо сегодня лишь
Вернулось ко мне, да откуда — не скажет никто,
Как будто архивы какие-то старые подняли
И чудом наткнулись на именно, именно то.

И, туфельки снявши, смеётся весна над архивами
И, мне подавая призывный насмешливый знак,
Идёт по газону босыми ногами, красивыми,
Но кто она, кто? Не могу, ну не вспомню никак.

1999

ЗАБУГОРНЫЙ РУСАК

Заехал недавно один аргентинец,
А может, француз, но по-русски сечёт,
Какой-то потомок великой княгини,
И ну предъявлять неоплаченный счёт.

Ругает, грассируя, «грубых матросов,
Штыками прикончивших тысячу лет...»
Я вижу — князёк-то совсем стоеросов
И режу в упор, отпихнув этикет:

— Рабоче-крестьянским баранам простится
Поход в мышеловочный ленинский рай;
Россию просрали поручик Голицын,
Корнет Оболенский и царь Николай.

Он прямо подпрыгнул, такой возмущённый,
Кричит: «Миль пардон, это просто цинизм!
Их бин эрудит, я окончила Сорбонна!..»
— А я, — говорю, — пережил коммунизм.

Он мне про Фому, я ему про Ерёму,
Он мне про Ерёму, а я про Фому,
Он мне подливает ямайского рому,
Я водки в ответ подливаю ему.

Цитаты, как финки, втыкаем под рёбра,
Но после семи брудершафтов подряд
Мы с ним скорешились в согласии добром,
Лишь старые мифы колючкой торчат.

Эх, если б для выучки пожил и попил
Он хоть бы полгода у нас во дворе,
Да он в Аргентине, а может, в Европе,
В какой-то дурацкой французской дыре.

Но даже и там, в темноте заграницы,
Я слышал, теперь он по пьянке поёт:
«Корнет Оболенский, поручик Голицын,
Кому ж предъявлять неоплаченный счёт?!»

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ

Покататься по Венскому Лесу в карете
В самом-самом конце позапрошлого века;
Не забыть и Париж — побывать «в полусвете»,
Выпить водки с Тулузом, понятное дело — с Лотреком.

А быть может не надо: в родных палестинах
Много было чего и важнее, и ярче —
Юбилеи и свадьбы, кончины, крестины;
Полон памятных дат мемуаровый ларчик.

Да и это, быть может, чрезмерно и много
Для меня, для такого, как я, человека.
Просто ехать в телеге по сельской дороге
По России в конце позапрошлого века.

И не думать о том, что не взорваны храмы
И что в избах детей — чуть не в каждой по стайке,
Что страна богатеет — неспешно, упрямо,
Что держава себя ощущает хозяйкой.

Ну, а так — для избыточного интереса,
Мол, я землю прошёл — от варяга до грека,
Можно и покататься по Венскому Лесу.
Но — не позже конца позапрошлого века.

ОДНАЖДЫ В 1970-х,

Или ЯВЛЕНИЕ АНТИХРИСТА МНЕ

Помню, выехал я как-то «на природу»
Возле трассы Ставрополь-Москва;
Дивный день, прекрасная погода,
Роща, речка, мягкая трава.

Русский рай — не описать и Данте!
Ну, и я не разглядел издалика,
Что по трассе проползал тарантул,
Избранный секретарём ЦК.

Полз в столицу он из норки в Ставрополье,
Паучиха с ним его ползла...
Знать бы, сколько горя, сколько боли
Принесут они нам, сколько зла!

Их бы сапогом да по шоссе размазать,
Растереть подошвой по земле,
Я б остановил тогда заразу,
Не померкла бы страна моя во мгле!

Нет, я проворонил наши беды,
Не подставил Родине плечо —
Я ж не знал тогда, не знал, не ведал
Даже эту кличку — Горбачёв.

2018

* * *

Сейчас, конечно, плохо, что там говорить,
Но храм Христа Спасителя вознёсся
И можно к Иверской, как прежде, заходить.
Да, Новониколаевск¹ до сих пор ещё
Зовут по-ленински Новосибирском,
Но Нижний Новгород по-старому крещён.
А с ним — Самара, Пермь и Сергиев Посад,
Хоть Киров пусть ещё не Хлынов² и не Вятка,
И к Порт-Романову³ вернуться не спешат.
А лично я особо рад, скажу я вам,
Что вместо капища мерзавца Мейергольда⁴
Есть Зал Чайковского⁵ — наш музыкальный храм.
...Мой взгляд на прошлое — логичен, прям и чист:
Пусть Сталинград воскреснет Сталинградом,
Ведь не догматик я, а просто монархист.

2017

¹ Новониколаевск — старое название Новосибирска.

² Старинный русский город в Предуралье четыре века носил имя Хлынов, потом два века — Вятка, а с 1934 г. Киров.

³ Порт-Романов — первоначальное имя Мурманска.

⁴ Мейергольд — подлинная фамилия Мейерхольда.

⁵ Зал Чайковского в Москве строился как театр этого фигляра-руссофоба.

ВСТРЕЧА С КОНЧАКОМ

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ОДНОЙ КОМАНДИРОВКЕ В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА

— Такой работой вашей можно лишь гордиться, —
Сказал владыка мраморного офиса-дворца. —
Хотите, прикажу отправить вам в столицу
Из табунов моих любого жеребца?

— Благодарю, раис¹, но должен отказаться:
Куда мне конь в московский наш содом.
Да и к тому же, должен я признаться,
Давным-давно не ездил я верхом...

— Ответ достойный, вам стесняться не придётся;
Был тут один до вас, чуть пол не целовал,
С великой радостью он принял иноходца —
И перепродал, как я вскорости узнал.

Тогда давайте так, пока ещё вы с нами,
Берите, пользуйтесь — есть с дальних берегов
Красавица с зелёными глазами
И с кожей белою, белее облаков.

...Мы выпили чуть-чуть (здесь в этом деле мера)
Французского (не местного, конечно) коньяка,
Но мне почудилось, что будто из партера
Я слушаю — поют бахвальства Кончака.

Сегодня пленниц с моря дальнего хватают
В гостиницах, наркотик подложив,
Потом до полусмерти их пугают,
В клоповник на полсуток посадив.

А там она подпишет что угодно —
И в секс-рабыни, в ужас и дурман,

¹ раис — начальник, форма обращения к вышестоящему лицу.

А чуть состарится и станет непригодной,
Так продадут в Китай, в Афганистан.

И я сослался на недомоганье,
Просил великодушно извинить,
А в знак особого, сердечного вниманья
Хотел с автографом бы книгу получить.

Я знал, что этот тип стишки кропает,
(Бессовестный поэт их перевёл).
Для графомана слаще не бывает,
Что кто-то речь «о творчестве» завёл.

...Конечно же, я человек культурный,
Сказал я сам себе, в душе смеясь,
И в Домодедово я книгу бросил в урну,
Не просто под ноги, не просто прямо в грязь.

Забыл, как звался тот владыка дома —
Мамед, Ахмет, Фикрет, Али, Берды,
Но помню должность — секретарь обкома
КИРГИЗ-КАЙСАЦКИЯ ОРДЫ¹.

2018

¹ строка из стихотворения Г.Р. Державина «Ода к Фелице».

БАЛЛАДА О РАДУГЕ

Семь дней творенья, смертных семь грехов,
Москва-столица, град семи холмов;
И почему во лбу семь пядей, а не пять?
О, тайну цифры семь легко понять.
Ведь радуга-дуга притягивала глаз
С начала мира, за́долго до нас.
...Я принимаю всё, что нам дано судьбой:
Люблю небесный купол голубой,
И зелень трав, и белый-белый снег,
Ну, словом, я — нормальный человек.
А мой сосед, большой оригинал,
При виде радуги обычно причитал.
«Опять, опять, стenal он, семь цветов...
Десятицветную — вот я принять готов.
Разнообразья радуг я б хотел,
Ведь я всем сердцем к плюрализму прикипел.

Ужасно! Жутко! Этот мир таков —
Ну нету в нём нигде квадратных облаков,
Ни женщин нету в нём о четырёх грудях,
И ни подсолнуха, чтоб ландышами пах;
Цветного нет, один лишь белый снег...
О Боже, Боже, я — несчастный человек!»
И недовольством этим тот оригинал
В умах правительства уверенность создал,
Что жить несчастному и вправду тяжело.
Оно, гуманное, ему и помогло.
Тебе-то что, сказали мне, ты очень рад,
Что семицветьем наши радуги горят,
Ты не страдаешь от кудрявых облаков,
Двуногих женщин ты всегда ласкать готов;
Ты принимаешь этот мир, как ни крути.
А потому — несчастному плати.
Наложим, значит, на тебя теперь налог,
Чтоб твой сосед оригинальный выжить смог.

Я возмущаться стал, начальству говорю:
В чём я виновен? Разъясните дикарю.
В конце концов, я — коренной, он — маргинал,
Не я его, он сам себя аттестовал.
Начальство хмурится: давай скромней чуток;
Ты как листва, а он, считай, цветок.
Ты второсортен, потому что ты — нормал;
Генсек ООН такой нам принцип указал.
К тому же слух, что эти типы — с НЛО,
Каким-то дуриком сюда их занесло.
Им всё не так — они пугаются котят
И семицветных наших радуг не хотят.
Но вместе с тем в большой они чести
В Центральном банке Млечного Пути.
Вот почему покорно выполни приказ,
Иначе санкции обрушатся на нас.
Такой он есть, межзвёздный гуманизм:
Сам утеснись, а чёрту поклонись.
Скорей плати, а то как рявкнет суд —
Тебя к Большой Медведице сошлют.
Ты хочешь радугу всего о двух цветах?
А женщин хочешь на двенадцати ногах?
...И в ужасе кричу я: не хочу!
Я заплачу!.. И я всю жизнь плачу.

2004

ГУБЕРНСКИЕ НОВОСТИ

У нас дотационный регион,
Своими силами не можем прокормиться.
Недаром же в гербе у нас вагон —
Дрова и сено мы везём из-за границы.

Ну, и не только сено и дрова —
И хлеб везём, и мясо, и картошку.
Перечисляет деньги нам Москва,
Но каждый год снижает понемножку.

А деньги так нужны! Нуждаемся в домах,
В дорогах, школах, поликлиниках, погостах,
В кинотеатрах, клубах, гаражах...
Нет, жить у нас в губернии не просто:

Всей экономике давно поставлен мат,
Земля распродана каким-то интервентам,
Стоят заводы, фабрики стоят
И безработица почти что сто процентов.

Кто может выжить-то у нас? Да только вор,
А остальные существуют еле-еле.
Но — не повешен почему-то прокурор
И губернатор почему-то не расстрелян.

2015

Л. И. ГАВРИКОВОЙ

Людмила, слушай, вот когда меня не станет,
Сходи-ка ты разок под вечер в ближний лес,
Чтоб тишина — ни грибников, ни всякой пьяни,
Само собою, чтоб не капало с небес.

И там, на полпути к Галыгину, в овраге,
Возможно, жив ещё волчара, звать — Адольф.
Я оставлял ему колбаски под корягой.
Покличь его — воспримет имя как пароль.

Потом увидишь ЛЭП и поверни налево,
Анфиса там живёт, красавица-лиса.
Скажи ей так, как я говаривал — с распевом:
«Анфисочка в лесу — первейшая краса!»

Ну, там, где вместе мы с тобой лосей видали,
Не нужно, думаю, тебе напоминать;
Где кабаны себе утробу набивали
За фермою — им тоже надо помахать.

Конечно, зайцы и, конечно, птицы, птицы,
Зорянок, помнишь, я особенно любил,
Но я прошу тебя всем стайкам поклониться
И дать им всем пшена — как видишь, я купил.

Не думай: это бред и что не мыслят звери,
Они, мол, дикие — укусят, убегут...
Нет, нет и нет, в ком в ком, а в них-то я уверен:
Они услышат всё, и вспомнят, и поймут.

2018

ЛИМОНИЯ ПОД ФЛАГОМ ЧЁРНОЙ КОШКИ

РАССКАЗЫВАЕТ ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ЛОНДОНГРАДА

ВОР-В-ЗАКОНЕ-ОЛИГАРХ ШАМПУР-БЕКОВ

Раньше не было выдачи с Дона,
А теперь с Темзы выдачи нет.
Но — за мирную жизнь Альбиона
Надо выложить много монет.
Чтоб спокойно играть себе в нарды,
Пить-гулять и без паники жить,
Надо два или три миллиарда
Навсегда в ихний банк положить.
Там любую валюту глотают,
Отовсюду берут и от всех,
И не спрашивают и не вникают,
Кровь на ней, грязь на ней или грех.
Ну, понятно, быка с рюкзачищем
В супермаркете взятых купюр
Не пропустят: ребята почище
Там нужны и в шмотье от кутюр.
Если ж ты полстраны прикарманил
Или хапнул страну целиком,
Ты становишься friendly big money
И повсюду услышишь well come.
Всё получишь — гражданство, дворянство,
Виллы, замки, престиж и почёт,
Будь ты сам из еврейства, крестьянства,
Будь чабанским иль ханским твой род.
Жизнь покатится в кайфе и в сласти,
О российских тревогах забудь.
Только выучись — тамошней власти
Не перечить ни в чём, ни чуть-чуть.
А иначе — повесят, отравят,
Разорят и семью и родных,
И российским шпионом объявят,
Что «докажут» во множестве книг.

И — не бойся парламентских прений,
Там болтают что надо болтать,
И притом — на особенной фене,
Что не каждый способен понять.
Пусть в Гайд-парке плебеи бушуют,
Пусть в Палате у них — чехарда,
А братву королева крышует,
И поверьте — так будет всегда.
Здесь жируют на денежках вора
Почитай, от начала времён,
И Страню Лимонией в пору
Должен зваться гордец Альбион.
С пацанами как выпьем немножко,
Так смеёмся над местным фуфлом:
На гербе у них — Чёрная Кошка,
А зовётся напыщенно — Львом.

2018

* * *

Не сам собою пошатнулся Крест
И Рим отпал от Православной веры.
Тут был совсем сторонний интерес,
Чтоб сферу разделить на полусферы.
Недаром вдруг из потаённых мест
Запахло серой адскою окрест.

И по крысиным тайным тем пирам
Шли о расколах наших разговоры;
И Лютер с Кальвином планировались там,
И Никоны, и Тушинские Воры.
Дробиться дальше предстояло нам —
На радость им, невидимым врагам.

Я мусульман включаю в слово «мы».
Кто стравливал шиитов и суннитов?
Кто на базарах возбуждал умы
И в норы прятался, всё сделав шито-крыто?
Да те же самые исчадья адской тьмы!
Восток и Запад пред лицом одной чумы.

Когда стравили Кайзера с Царём,
В крысиных норах сладостно мечтали:
«Мы скоро стравим Фюрера с Вождём!»,
За нашу гибель кубки поднимали:
«Друг друга страны скушают живьём,
А мы великолепно заживём!»

В те судьбоносные, трагические дни
Они, они на нас наслали беды;
Завесив окна, шепотком, в тени,
Упорно создавали Царство Бреда.
...Ты что, дурак? Не понял? Извини.
Я полагал, всем ясно, кто они.

СВИДЕТЕЛЬ ЭПОХИ

Я Сталина видел, Гагарина видел,
Уланову видел живьём,
Я маршала Рокоссовского видел —
Восторг в пониманьи моём.

Ты можешь сказать — ну и что тут такого,
Нас всех Интернет уравниал,
Нет, я Шостаковича и Королёва
Своими глазами видал.
И этих коротких живых впечатлений
Компьютеру не заменить
И мне исторически-ёмких мгновений
Конечно, вовек не забыть.
Нет, нет, я не хвастаюсь, только Стаханов
Однажды мне руку пожал
И на вопрос мой о судьбах романа
Сам Шолохов мне отвечал.
...История — это контраст впечатлений,
Тут белое, чёрное там,
Тут грязный мерзавец, там солнечный гений,
Ну, словом, ужасный бедлам.
Я Ельцина видел, Бурбулиса видел
И Горби с Раисой вдвоём.
Кто сталкивал нас, тот меня как обидел —
История здесь не при чём.

Боюсь я, что юноша скажет смешливо:
«Ты, дед, Горбачёва видал,
И что ж ты таким оказался трусливым —
Не плюнул и в морду не дал?»

2018

* * *

«Англичанка гадит», — говорил Суворов.
И за все прошедшие года
У неё ничуть не изменился норов,
Англичанка гадила всегда.
Дизраэли, Черчилль, Маргарита Тэтчер...
Если же в грядущее смотреть —
Подлые деянья, сладостные речи:
Англичанка будет гадить впредь.

2017

СМОЛЬНЫЙ-1917

Красный нарком в золотом пенсне.
Шнобель от радости светится аж:
«Не надо скромничать, не-не-не-не,
Пожалте в президиум, товарищ Челкаш!
Товарищ Горький, да сдвиньтесь чуток,
Вам полагается стул приставной.
А вам — талончик на Жирный Паёк,
Товарищ Челкаш, друг вы наш дорогой!
Такие, как вы, нам ужасно нужны.
Нас вектор ненависти объединил.
Мы вам обеспечим в масштабах страны
Возможность бить-убивать гаврил,
Бить-убивать кулаков-куркулей,
Имущество вырвать у них из рук;
Будет в Республике жить веселей
Без этих жадных мещан и хапуг.
Слёзы исчезнут, исчезнет страх
В нашей невиданной раньше стране,
Твёрдо стоящей на двух ногах —
На революционерах и на шпане.
Вот оно, счастье, но надо сейчас
Разбить коалицию вражеских сил,
А главное — вырезать чёртов класс
Вырвать с корнями проклятых гаврил!»
...Красный придурок в пенсне золотом!
Недолго ж себе ты поцарствовать дашь.
Он те покажет в тридцать седьмом,
Член президиума товарищ Челкаш!

1967, 2008

МАНЕНЕЧКО ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМУ

Мне бы поле новое разделявать
За Окой, за Волгой, за Двиной,
И от моря Чёрного до Белого
Чувствовать себя в стране родной.

Мне бы топот ворогов улавливать
В пограничной замершей ночи,
Храм бы после смуты восстанавливать —
Поднимать под купол кирпичи.

На Москве при Алексей Михалыче
Век прожить в Стрелецкой слободе,
Лавочку держать, ходить вразвалочку
При собольей шапке, в бороде.

И не за фантом «всечеловеческий»
В бой идти — за веру, за царя
Под священным знаменем Отечества.
В бой за Сталина, иначе говоря.

И ещё — в Мордовии, в Карелии,
Где-нибудь в подвале под Кремлём
Ленинскую гвардию расстреливать
В тыща девятьсот тридцать седьмом.

«ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА, ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД»

ДВА ВАРИАНТА СТИХОТВОРЕНИЯ НА ОДНУ ТЕМУ, КАКОЙ ИЗ НИХ ВЕРНЕЕ — НЕ ЗНАЮ

1.

Последний бой — он трудный самый

Михаил НОЖКИН

Собрались мы у Облвоенкомата,
Когда война ударила в набат.
Смотрю — кругом знакомые ребята,
А незнакомых нет почти ребят

Сформировали полк и развернули знамя
И командир сказал прочувственную речь:
«Вы знаете, кто прёт сразиться с нами
И что нам с вами предстоит сберечь.

Нам с вами предстоит добыть победу
В последнем, историческом бою.
Не посрамим же честь отцов и дедов,
Отдавших жизнь за родину свою!

Им было легче — следом подходили
Со всей округи сельские полки
И страшно становилось вражьей силе:
Гроза Европы — наши мужики.

А нынче все деревни опустели,
Из русских там никто и не живёт.
Хозяева — заморские картели,
А батраки — какой-то дикий сброд.

Так значит — нет у нас второго ряда,
Мы — первый, но и арьергардный ряд.
У нас пароль «Блокада Ленинграда»,
А отклик наш, ребята, — «Сталинград».

Мы все теперь — Подольские Курсанты,
Нам Куликовым Полем каждый двор.
Мы — гром Новороссийского десанта,
Мы — Чёрной Сотни мининский набор!»...

...Мелькнула мысль — неужто мы готовы?
Такой удел — для наших ли ребят?
Но в переключке гаркнул двухметровый
Спортсмен: «Я здесь! Евпатий Коловрат».

А дальше голоса: «Василий Тёркин», «Жуков»,
«Суворов», «Фёдор Кошка», «Пересвет»...
История — великая наука,
И вот уж у меня сомнений нет.

Теперь я знаю: надо — значит надо.
Не дрогнуть. Ни на шаг не отступить.
Враг — смертный враг. Ни капельки пощады.
И пленных, разумеется, не брать.

2.

Валерию Лавруку

Если завтра война, Абрамович придёт,
Обратится к своим работягам:
«Пробил час, выступайте, ребята, в поход,
Проявите, ребята, отвагу.
Чтоб отбросить врага, чтобы вам отстоять
Все мои рудники и заводы,
Чтобы в Англию мне поступали опять
От моих предприятий доходы...»
И парторг от «Единой России» взовёт
Над толпою трёхцветное знамя:
«Выступайте, ребята, смелее в поход!
Всей душой наша партия с вами!
Из-за кризиса нет современных ракет,
Так берите дубины и вилы,
Не жалея себя, олигархов любя,
Защищайте коттеджи и виллы!
В нашем знамени синее небо, как ось,
Держит вместе различные классы:
Сверху, видите, светится белая кость,
Снизу красное — пушечным мясом».

2009, 2017

ДИНАСТИЯ

Мой друг Иван Сергеевич Егоров —
Почтенный русский родовитый человек.
Был кузнецом его далёкий предок,
А в тысяча шестьсот двенадцатом году
Откликнулся на Мининский призыв
И встал в ряды народной Чёрной Сотни.
Она пошла освобождать Россию
От ереси — латынской чуждой веры,
От бусурман — поляков, немцев, шведов
И диких украинских казаков.

Кузнец Василий сын Егоров был отмечен
За храбрость князем Дмитрием Пожарским
И сыну завещал не забывать
И внукам рассказать об этой чести,
И всем потомкам — помнить на века.
Егоровы сдержали слово чести,
От Чёрной Сотни Минина считая
Начало славы рода своего.

Сын кузнеца землепроходцем стал:
Он с Ерофеем Палычем самим,
С Хабаровым добрался до Амура,
Державу простирая на восток.
А после был с Хабаровым в Кремле:
Там царь их принял, Алексей Михалыч.
Остался внук Егоров на Москве,
В Стрелецкой Слободе осел и жил в достатке,
И службу нёс и сыну передал
Хозяйство, лавку (торговал успешно),
А главное — учил не отступать и знать,
За что воюем-то — не только за мощну,
А за Царя, за Родину, за Веру.

...Нет, всю династию Егоровых, конечно,
Не перечислить. Скажем кратко — все они
На совесть воевали и трудились.
Один из них Емельку Пугачёва
Ловил во взбудораженных степях,

Другой стоял на Бородинских флешах
В час роковой Двенадцатого года,
А третий в Мотовилихе, в Перми
Такие делал пушки, что и немцы
С заводов Круппа засылали к ним гонцов
(По-современному — промышленных шпионов).

В роду Егоровых — артельщик, пчеловод,
Смотритель маяка и судовой механик,
Жандармский офицер и красный командир,
И метростроевец, и воин Сталинграда...
В роду Егоровых — известный лесовод
И главный инженер хлебозавода.
Не добираясь до больших чинов,
Они к чинам особо не стремились.
Но говорили все о них всегда:
Егоров сделает, уж коли обещает,
Он человек надёжный, весь в отца,
А как отца его — ты помнишь? — уважали.
...Иван Сергеевич Егоров говорит:
— Четыре века уж прошло с тех давних пор,
Как предок мой в составе Чёрной Сотни
Пошёл спасать Россию от врага.
Спасать — не только раны врачевать,
Но также отмывать от всякой грязи.
Тогда у нас дворяне завелись
(И девушки дворянские, конечно),
Которые боготворили Польшу —
Там на балах танцуют полонез
И краковяк, и за одно за это
Готовы были лечь под польским королём.
А нынче то же самое — стриптиз
И Голливуд, и всяческое порно,
За что номенклатурная шпана
Отдаст не только что Смоленск, а пол-России...
Всё плохо, брат. Но всё же я надеюсь,
Что новый Минин всё-таки придёт
И развернёт святое знамя Чёрной Сотни.

ТРЕТИЙ ВЗВОД

ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕЧТА

Несокрушимый, легендарный третий взвод
Не только в нашей армии известен.
Любое испытанье он пройдёт —
По технике, по храбрости, по чести.

Его бойцы прошли тяжёлые бои,
Кто под Царицыном, кто в Ледяном походе.
Будённовцы, корниловцы мои,
Кого тут нет в геройском нашем взводе!
Вон те два парня помнят Перекоп,
Они друг друга чуть не закололи.
Тот — красных вёл в тиши таёжных троп,
Тот с батькою Махно гулял в разбойном поле.

Несокрушимый легендарный третий взвод —
Как знамя нашей общей русской чести.
Мы вместе отступали, шли вперёд
И — власовцев расстреливали вместе.

2018

В МАНЕРЕ АЛЕКСАНДРА ВЕРТИНСКОГО

Л. П.

Сегодня ровно десять лет,
Как я тобой контужен,
А десять бед — один ответ:
Ни сносу нет, ни спасу нет...
Сегодня ровно десять лет,
Как длится наш Прощальный Ужин.

1963

СМЕРТЬ МОЕГО ДРУГА БОРИСА ЭЛКОНИНА

...Бразильской бабочкой мелькнула мисс Экзотика,
Престижной премией — мамзель «Шарман де Франс»,
Потом — привядшая, но прятая Эротика,
За ней — сублильная принцесса Декаданс...
А там — бесчисленные Светы из буфетов
На полустанках от Валдая до Читы
Сливались, путаясь, в парад кордебалета,
В массовку фильма о безбрежьи Красоты...
И под конец, уже у Божьего порога,
Ещё прекраснее, чем в те, чем в те годá,
Из врат Несбывшегося вышла Недотрога
И увела его с собою навсегда.

2004

* * *

Может быть, и возрастные бредни,
Но, возможно, дело и не в них...
Слаще всех любовь моя последняя
В наш последний вечер на двоих.
Миг за мигом — невозможный миг;
Что за шум на лестнице соседней?
Только-только истину постиг,
А судьба в испуганной передней
Громко выкликает понятых.
...Вариант возможен и на воле,
Чтоб весна, опушка и костёр,
Ландыши кругом («чего же боле?»)
Русский храм любви да птичий хор;
Ляжем так, чтоб видел я простор
И считал отпущенные доли...
Вот он, мой кирзовый командор:
Смерть подходит прямиком по полю,
Передёрнув на ходу затвор.

1999

ПО ВОЗВРАЩЕНИИ С ЗАПАДА

Дым в Отечестве — жуть, без фильтрации
И колдобины вместо шоссе.
Политические прокламации
Отвратительны, право же, все.

Демократии пайки — уменьшены,
На зарплату прожить не смогу,
Но прелестные русские женщины
Возникают на каждом шагу.

1999

ЦВЕТА РУССКОГО ЗНАМЕНИ

Над чёрной вспаханной землёй
В тумане купол золотой.

1997

СУГУБО ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

На восток и на запад от центра земли,
Вкось от Пулковской нашей оси
Уносили когда-то меня корабли,
Рассекая небесную синь.
Обжигал и меня экзотический хмель,
Но не так, чтобы сбросить с коня:
Искушения всех чужедальних земель
Безнадёжно слабы для меня.
За Гиссарским хребтом — азиатский дурман,
На Манхэттене — допинг трясёт,
Но меня ленинградский волшебный туман
До того ещё взял в оборот.
В ленинградском тумане двуглавый орёл
Над моей головой воспарил,
Он мне зренье и слух обострил, и повёл,
И прямую дорогу открыл.
Что нам западный допинг, восточный дурман,
Им у нас не бывать в козырях;
Нам болота да снег, нам ковыль да бурьян,
Да сентябрь, что грибами пропах.
И напрасно кичится иной человек,
Что изведал иные миры:
Ведь гиссарский кинжал и манхэттенский чек
Бесполезны для русской игры.
Манит, манит Жар-птица волшебным пером,
В чашу манит меня за собой;
И причём тут манхэттенский нарко-содом?
И причём тут гиссарский разбой?
И не всё ли равно, где бывать довелось,
Если здесь, у опятного пня,
Вылезает наружу Вселенская Ось
И Жар-птицы перо — у меня.

РУССКИЙ ПОЙМЁТ

Н. Б.

В этом счастья даже слишком много,
От его избытка чуть дурной:
В теплый дождь идти лесной дорогой,
Одному — брошенной дорогой,
Но к тебе, любимая. Домой.

1986

В ТУРПОХОДЕ

Н. Б.

Снег съёжился, приговорённый,
Классически-прозрачные леса
Застлали горизонт лиловым дымом.
Два египтянина-грача (из перегнавших
Весну) покашливают, и на них в обтяжку
Трико из перьев цвета чернозёма.
Не заслоняющие солнца облака
Заметны лишь в припадке пессимизма,
Который, как известно, тесно связан
Со скверным знанием календаря.
Весна печальна острым предвкушеньем,
Но для чего заглядывать вперёд?

1957

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

*Нине БАРАНОВОЙ, жене и другу,
в день 70-летия*

Мы проходим с тобой на параде
В нашу честь как Царицы с Царём
В золотом-золотом листопаде
Золотым-золотым сентябрём.

Ветер осени дует и дует,
Листья сдуло почти догола,
Но веду я тебя — молодую,
Все такую же, как и была.

К заколдованным нашим берёзам,
Сорок лет привечающим нас,
Неподвластные метаморфозам,
Мы выходим в трёхтысячный раз.

Коль по карте — так возле Вербилкок,
А по сердцу — в сплетении лет:
Здесь так явственно шепчут в затылок
Те, которых давно уже нет,

А порою и видятся чётко,
Будто сходят с туманных страниц
Безмятежною райской походкой,
Задевая штормовками птиц.

Вот и в будущем: вздумает кто-то
Нас увидеть из мира живых —
Мы возникнем за тем поворотом
И пройдем по тропе мимо них...

Ветер вечности дует и дует,
Светом вечности светится лес;
Заколдованных, нас коронует
Листопад с благосклонных небес.

Посидим на пеньке, дорогая,
Подремли, опершись на меня.
Листопад усыпит, засыпая,
Чистым золотом жизни звеня.

Ведь убогая скучная стылость —
Не про нас, не про нас, не про нас;
Что и было — давно отвалилось,
Отлетело и скрылось из глаз.

И теперь мы с тобой постоянно
В золотом-золотом сентябре
И грибные-грибные туманы
Серебрятся на каждой заре.

В тех туманах навек раствориться
Предназначенный срок подойдет,
А пока — красногрудая птица
Нам о счастья поёт и поёт.

2001

* * *

Иностранец, как валенок, серый,
Никогда не бывал в Костроме,
А туда же — мол: «в Эсэсэсэре
Жили вы взаперти, как в тюрьме».
Сам не ведает, где это — Суздаль
И на карте не сыщется Урал,
Что такое солёные грузди
И тройная уха — не слыхал.
Но с каким «европейским» апломбом
Он о музах судил и рядил:
«Пьер Безухович больше — не бомба,
Гарри Поттер его перекрыл...»
После мы собрались у рояля,
Пётр Сергеич потрянул стариной.
Иностранец был очень печален,
Чуть не плакал над нашей страной:
«Я всё думал о вашей Голгофе,
О ГУЛАГе, о драме Руси;
До чего же трагичен Прокофьев!..»
Петя, правда, играл Дебюсси.

2008

ВЕНЦЛАГ

Регулярно совершая набеги на русские земли в XV–XVII веках, подвластные туркам крымские татары угнали в рабство от трёх до пяти миллионов человек. Значительная часть пленников продавалась и перепродавалась в Венеции (по-русски — Веденец), что сказочно её обогатило. Во всей Италии в Венеции были самые жестокие законы, касающиеся обращения с невольниками.

(из ИСТОРИИ)

— Куда завезли нас, вы поняли, братцы?
На Вёденец чёртов, туды его мать!..
Шарфюрер оскалился: «Строить палаццо!
Немедленно сваи начнём забивать!»

Освенцим... Венеция... Жуткие зоны.
Зловеще-похоже звучанье имён.
Венеция, чавкая, жрёт макароны
Под смертный кандалный концлагерный звон.

По пояс в грязи целый день без обеда.
За несколько смен остаёшься без ног.
Но город из трупов, болота и бреда
Проклюнется, как ядовитый цветок.

Венеция — сука, фашистская сука,
Удачливый, жадный, жестокий вампир
В твоих сундуках нестерпимая мука
Спрессована в золото, пишет Шекспир.

В промокших землянках рабы умирали,
А кто бунтовал — убивали СС;
Зато — карнавалы, зато — биеннале,
Зато чинквеченто и весь политес.

А русских невольниц — в прислугу, в бордели,
На самых красивых — особый расчёт:
В салон, чтоб художники их посмотрели;
Кто купит навечно, кто в лизинг возьмёт.

Как стыдно стоять пред мужчинами голой!
В Италии скотской о чести забудь;
А этот, носатый, противней монгола —
Похабно смеётся и щупает грудь.

Отсчитаны деньги, невольницы плачут
(Смешные дикарки из варварских стран!),
Доволен Беллини, доволен Карпаччо,
Доволен развратный старик Тициан.

А критик напишет — «Джентиле Беллини
Искусно модели умел выбирать»,
И даже не вспомнит о той Акулине,
О Дарье и Марье, туды его мать!

...Невольничьи рынки, подводные морги,
Кошмары ВенцЛага — забыты навек;
Венеция — это сплошные восторги
Об этом писал не один человек.

Ну ладно, какой-нибудь Бродский — понятно,
Но русский, как Брюсов, но русский, как Блок —
Черкнул он хоть где-то в письмишке приватном
О русских невольниках несколько строк?

Увы, не напишет ни слова об этом
А вспомнит Сан-Марко и «хайль!» заорёт:
Виват Каналетто! Виват Тинторетто!
И памятник ставит в Москве — Турандот.

О, дело не в том, чтоб не жаловать Гоцци;
Мне Гоцци любезен — такой лицедей;
Но слева и сзади Лукавый смеётся
Над жутким беспамятством русских людей.

Конечно, я тут никакой не паломник:
Я помню, что мрамор бесщётных колонн
Рабы вырубали по каменоломням —
Лагпунктам чужих ренессансных времён.

Я с горечью вижу: изогнутый мостик,
Хлебало разинул русак в бороде,
А то, что под мостиком дедовы кости,
Не знал, не читал никогда и нигде.

Мадонны Венеции: русские лица
Печально взирают на шустрых внучат,
Но наших туристов удел — торопиться,
И предков своих узнавать не хотят.

2000

БАЛЛАДА ОБ ИНОПЛАНЕТЯНАХ

*Отчего это, — спросил Гусев, — у вас
на Марсии бабы какие-то синие?*

Алексей ТОЛСТОЙ. «Аэлита»

Видать, летающих тарелок налетело:
Уж больно много чужаков с иных планет,
Противных рожами, ещё противней телом,
А в смысле запаха и вовсе спасу нет.
На днях в толпе меня притиснули к такому,
Так я не выдержал и в обморок упал,
А эта сволочь здесь, у нас, как будто дома,
И улыбался, и чего-то лопотал
Мне посочувствовали — он и впрямь страшила,
И вонь ужасная, похуже чеснока,
Весь в чешуе, размером с крокодила,
Припёрся, видно, змей, издалека.
Ещё сказали мне, что баба это, вроде
(Возможно, их там самками зовут),
И я сострил: мол, при таком уроде
Пробудешь ночь, и враз тебе капут.
И толковали мы без крика и скандала,
Но тут встревает, лезет на скандал
Какой-то выпердок интернационала,
Какой-то дёрганый картавый маргинал.
Меня космическим ругает ксенофобом,
Весь прокурорским пылом обуян;
«У вас, — кричит, — к другим планетам злоба,
Не любите вы инопланетян!
Пускай у них там задницы колючи,
Пускай под мышками сиреневая слизь,
С их точки зрения вы, местные, не лучше,
А вы не признаёте плюрализм!»
Он мне кричит: «Есть прелесть по-другому!
Ах, голубые перси аэлит!»
А я смеюсь: беги-ка ты до дому!
Там дочь твоя с каким-то синим спит.

Тогда картавый вызвал по мобиле
Аж из ООН карательный наряд,
Чтоб «шовинизм» скорее подавили,
Мол, «здесь почти фашисты все подряд».
Наряд примчался: «Нас тут вызывали,
Чтоб всех антисемитов — под арест».
На пару вёдер водки им собрали.
«А вызов — чья-то шутка, вот те крест.
Гуд бай, ООН!» И в узеньком простенке
Зажали мы доносчика втроём.
Ему мы пальцем выдавили зенки,
А уши продырявили гвоздём.
Пускай милуется с красоткой хоть с Нептуна,
Да хоть с юпитерских каких материков!
А запах не понравится — раз плюнуть;
Нам ноздри вырвать — пара пустяков.

2000

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

В синеве ленинградских туманов
И в сиренях весенней Москвы
Ты мерещилась мне постоянно,
Но увы, но увы, но увы...

Что ж, бывает, и гроб заколотят,
А не встретишь. Но мне повезло.
Ты однажды сгустилась до плоти
И со мной завязалась узлом.

А потом... А потом развязалась,
Отстранилась, уже не моя,
И растаяла, и показалось:
Всё вернулось на круги своя.

Но не всё. Что-то в мире сместилось.
Что-то выцвело в мире, увы.
Как-то даже сирень изменилась
И туманы — не той синевы.

2002

А ЛЯ ВЕРТИНСКИЙ

Где вы, мои ленинградки,
Рыжие строчки любви?
Где вы, загадки, отгадки?
Время бежит без оглядки,
Я с пустотой визави.

...Где ж вы, мои ленинградки,
Рыжие строчки любви?

1953

ПРИНЦЕССА

Естественно, в короне и пришла
И в ней такой естественной была!
Оставила под зеркалом корону,
Непринуждённо села у стола.

И говорила вроде без затей,
И пальцы были вовсе без камней,
Но так она держалась, так держалась,
Что чудилось: корона-то на ней

Хотя мне стыдно, всё-таки скажу:
Вот, думал я, как в койку положу
Не станешь ли такой же, как плебейка?
Да кто ещё послаще, погляжу.

Чего скрывать, я думал, как плебей,
И был проучен в низости своей:
Она во всём, во всём была принцессой!
Я не забуду до скончанья дней.

А утром был ещё один спектакль,
Я даже рот разинул, как дурак:
Она так ювелирно одевалась!
Принцесса — это вам не просто так.

Потом у зеркала вертелась час-другой,
Пока не сдула все пылинки до одной...
Я выбежал на лестницу: корона!
— Оставь себе на память, дорогой.

ТАНГО «МАГНОЛИЯ»

Памяти Александра Вертинского

Моей коллеге, круглой-круглой дуре,
Вертинский абсолютно ни к чему,
А я вот, оказавшись в Сингапуре,
Всё обращаюсь мысленно к нему.

Теперь не слышен крик орангутанга —
Гремит прогресс, природу заглушив,
Но старое тропическое танго
Для русских — сингапурский лейтмотив.

В опаловых и лунных небоскрёбах,
Запястьями и кольцами звеня,
Всю ночь красоты самой высшей пробы
На всех экранах пляшут для меня.

В нейлонно-электронном Сингапуре
Полным полно роскошных жёлтых шкур;
Чем не подарок аппетитной дуре —
Давай на шкуре, вспомним Сингапур!

И всё-таки бананово-лимонный,
Манящий из неведомых широт,
Вертинским навсегда запечатлённый,
Тот самый Сингапур ещё живёт.

Здесь есть отель, где чопорно и чисто,
И на стене в каминном уголке
Танцует тень Великого Артиста
С трагической магнолией в руке.

2004

СТИХИ О МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ

Был я ужасно обеспокоен,
 Спрашивал маму (а в горле — комок):
 — Мамочка, я дорасту до школы?
 Мама смеялась: «Конечно, сынок!»
 Годы прошли, и, немного смущаясь,
 Спрашивал я постаревшую мать:
 Разные ж вещи — «люблю», «увлекаюсь»...
 Как мне их правильно различать?
 Мама ответила без улыбки:
 «Вырос — по-взрослому и разберись;
 Шишки набьёшь, но иначе не выйдет;
 Если суфлируют — это не жизнь».
 ...Мама покойная нынче приснилась,
 Снова, как в детстве, — авторитет.
 Снова о том у неё спросил я,
 О чём у меня и понятия нет:
 — Мама, а как это — умирают?
 Страшно ли перешагнуть порог?
 А мама заплакала и сказала:
 «Скоро узнаешь, сынок».

2003

СЭ ЛЯ ВИ

Половина идёт на хиханьки,
 Половина идёт на хаханьки,
 Остаток — ужасно тихонький,
 Остаток — ужасно махонький.
 В нём — различные оханьки
 И различные эханьки;
 Остаток — ужасно плохонький,
 Но совсем недосмеханький.

С этим самым остатком
 Я и плачу вприглядку.

1963

ЖУТЬ, ОЙ ЖУТЬ

Происходит процесс превращения русских в нерусских,
Происходит процесс извращения русской души.
Вот собачьи консервы из Бельгии нынче берут на закуску:
Вологодские рыжики, дескать, не так хороши.

В лавках нету приказчиков — «менеджеры по продажам»,
Нет приёмных — «ресепшен» и «офисы» вместо контор.
«Демократы» грозят: будет западней, мельче и гаже,
Как при Троцком, объявят, что русским считаться — позор.

В телевизоре кровь: голливудский дебильный блокбастер,
На рекламе помады рисуют парижский минет.
И рыгает попса местечковой чесночной напастью,
И к Большому театру былого почтения нет:

Знаменитый фронтон украшает теперь магендовид,
Шоу-бизнес культуру намерен добить до конца;
Антирусская сволочь балет «Йоксель-Моксель» готовит
И нудистскую оперу-порно для геев «Фарца».

2007 / 2010

Политические стихотворения

РАСИЗМ ПО-НАШЕНСКИ

Родословных не копали
И не меряли носов,
Но прекрасно понимали,
То, что лучший русский — Сталин.
Лучший немец — Горбачёв.

РАЗМЫШЛЕНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКОМ ПОВОРОТЕ (1990)

За перестройкой будет мёд и сало,
Кому ж всё это и кого тогда взашей?
А впрочем, вариантов очень мало:
Империя московских генералов?
Республика одесских торгашей?

ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ

Политкорректность — это форменный дурдом:
Уже и Троцкого нельзя назвать жидом.

ИМЕЮ ПРАВО!

*Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостью вижу...*

А. С. Пушкин

Врагу я пожелаю лишь такого,
Что нам наделал этот самый враг:
Хочу, чтоб сдохли внуки Горбачёва
В мучениях у деда на глазах.

ПЕЙЗАЖ

Хоть напейся, хоть вон со двора —
Даже небо какое-то чёрное;
Раскричались картавые вóроны:
«Демокррра! Демокрра! Демокрра!»

ОСЬ ЗЕМЛИ НАШЕЙ

Памяти Александры Дмитриевны Воеводиной

...А тёще оставалось жить неделю..
Ну, может, две. За восемьдесят. Рак.
Уже она ходила еле-еле,
Но всё еще ходила. И однажды,
Не знаю, почему, я ей сказал:
«А не сходить ли нам сегодня в церковь?
Чудесный день. Сугробы, синева...»
Она сказала: «Я сама хотела,
Да попросить стеснялась». Мы пошли.
От нас до храма Рождества рукой подать,
Но это мне. А ей... Сказать по правде,
Я испугался. Думал — не дойдем. Однако
Дошли, да и не так уж медленно. Как будто
Больной моей морозный воздух силы
На каждом повороте прибавлял.
...Конечно, мы недолго были в храме.
И я следил, конечно, за больной, и службы
Не слушал и не слышал. Я с тревогой
О том лишь думал, что температура
Такая разная снаружи и внутри,
И как бы голова не закружилась
У тёщи. Ведь слаба она совсем.
Да, я забыл число, какого марта —
Десятого, пятнадцатого, нет,
Забылось начисто. Но помню слово в слово,
Что тёща мне сказала, воротившись
Из храма и немного отдохнув.
«Весь мир порушен, — так она сказала, —
У городов другие имена. Деревню нашу
Сначала разорили, а потом вообще
Спустили под воду — мол, надобно для ГЭС.
Родню в Нарымский край на смерть загнали —
Она мешает, дескать, коммунизму.
Потом забрали мужа. Приговор —
На десять лет без права переписки.
Я двадцать лет ждала и каждый день
Почтовый ящик чуть не наизнанку
Пыталась вывернуть... Всё шарю пальцем, пальцем —
А вдруг письмо прилипло в уголке.

Ведь есть же люди добрые на свете,
Что подбирают письма на путях,
Когда пройдут на Север эшелоны.
Но я письма того не дождалась.
Я двадцать лет, я долгих двадцать лет
Жила пригнувшись и всего боялась...
Потом сказали — не был виноват.
Так вышло. Загубили по ошибке.
И стала жизнь совсем уже чужой.
Чего бояться, если нет надежды?
Но я уже боялась по привычке.
А власти продолжали гнуть своё —
Ненужное, нерусское, чужое;
Громили, запрещали навсегда,
Но завтра что-то снова разрешали...
Чем дольше жизнь — тем больше перемен.
Я думаю, их подлинная цель —
Чтоб мы забыли про своё начало.
Вот для чего меняют имена
И весь набор вещей, среди которых
Проходит жизнь... И всё же есть одно,
Что неизменно. Это наша Церковь.
Сегодня, что уж там, в последний раз
Помог ты мне дойти и вспомнить, вспомнить,
Что девочкой в такой же точно храм
Я приходила, и слова молитвы
С тех пор не изменились, слава Богу,
И батюшка в таком же облачении,
И лики на иконах — наши, наши,
И запах ладана такой же, как тогда...
Сегодня ты помог мне постоять
На тверди среди хлябей нашей жизни;
Я будто прикоснулась к той оси,
Которая, невидимая, держит
Наш Русский Мир... Спасибо. Я посплю».
...Поверьте, я далёк от похвальбы,
Что был таким-сяким хорошим зятем.
Забыл число. А главное — не знаю,
С чего это я вдруг тогда сказал:
«Пойдемте в храм». Иль Кто-то надоумил?

МЫ С ТОБОЙ

Ну не совсем уж так — Монтекки с Капулетти,
Но всё же был в родне изрядный холодок,
А я пылал к тебе, как, думаю, к Джульетте
Ромео лишь один пылать бы мог.

Нельзя всю жизнь прожить, конечно, очень юным,
Но колдовская сила не ушла:
Господь мне подарил глаза Маджнуна,
И ты осталась той же самой, как Лейла.

...Я нынче стар, но не подам и вида,
И в дом вхожу, и молод, и влюблён,
И спрашиваю: как спина твоя, Бавкида?
Ты говоришь: отлично, Филемон!

2004

ДА БУДЕТ ТАК!

*В этой комнате проснёмся мы с тобой,
В этой комнате, от солнца золотой.
Половицы в этой комнате скрипят,
Окна низкие выходят прямо в сад.*

Александр ВЕРТИНСКИЙ

...Те незабвенные бревенчатые стены
Давным-давно уже прогрессом сметены,
Раздавлен сад поднявшимся надменно
Таким нелепым и обыкновенным
Бетонным билдингом с антенной до луны.
Но как теплеет сердце от воспоминаний
О нашей комнате, от солнца золотой,
О нежности, о счастье засыпаний,
О баловстве полночных просыпаний
И расставаний наших утренних с тобой.
Там было вечное — от яблони в окошке,
Там было мудрое — от скрипа половиц,
Потрескиваний жаркой головёшки,
Мурлыканья избалованной кошки
И круглосуточного шелеста страниц.
Там было весело — так весело бывает,
Когда друзья навзрыд смеются и навсхлип,
Когда никто-никто грядущего не знает
И уж тем паче не дошёл ещё до края —
Не эмигрировал, не предал, не погиб...
В той нашей комнате бывали огорченья
(Сейчас-то кажется — ну просто ерунда!),
Но мы универсальное лечение
Предпочитали прочим назначеньям,
И помогало это, помнится, всегда.
...И если мы однажды утром там проснёмся,
Ты спросишь, поглядев на голову мою:
«Где ж седина?!» — и тут же рассмеёмся,
И, как бывало, сразу же займёмся —
Чем занимаются, я думаю, в раю.



НИНЕ БАРАНОВОЙ

Любимая моя, ты героиня.
Прожить столь страшный век и не сломаться,
Не опуститься и не отступиться,
Не сдать, не продаться, не остыть...
Ведь это ж надо — всё преодолеть:
Ходьбу по улицам разбитых фонарей
Вдоль дурдомов, лагпунктов и вертепов,
Засилье оборотней, монстров, упырей;
Других ломал один лишь Горбачёв,
Тебе ж ещё от Сталина досталось...
А быт в сюрреализме коммуналки
С фанерным «туалетом» во дворе?
А митинги хрущёвского вранья
О коммунизме чуть не послезавтра?
А Ельцина пархатая орава
Шестёрка Запада, растлителей, воров,
Укравших даже реки и озёра?
И вот при всём при этом — наша жизнь,
Которую ведь ты сформировала,
Чего там говорить, конечно, ты.
Быть может, главное — о чём же мы ругались,
Отчаянно ругались, между прочим:
По поводу нюансов колорита
Понтормо или Россо Фьорентино,
По поводу Стравинских диссонансов
И Блоковской тракторки красных зорь;
Ну, да, конечно, темой несогласий
Бывали и практические вещи:
Пройтись ли в выходной по букинистам
(До Демократии их было очень много),
А может быть, поехать по грибы?
Да мало ли какой бывал раздор,
Но никогда — ни разу! — из-за денег.
Ни разу — даже в тягостные годы,
Ни разу — и в отчаянные дни.
Да только лишь за это за одно

Достойна ты считаться героиней.
Ведь что есть подвиг? Разве только взлёт,
Какой-то взрыв или, допустим, вспышка?
Нет, потрудней того твоё геройство —
Вся жизнь в любви на страшном фоне века.

2009

НАДЕЖДА

Конечно, я бразильцу непонятен:
Возможно ли болтать ногами в речке
И на опушке лечь передохнуть?
Он должен сделать над собой усилие
И вспомнить, что в российских наших реках
Не водятся зубастые пираньи,
И лес — без ядовитых пауков
И муравьёв, способных в полчаса
Оставить лишь скелет от человека...
И англичане тоже не поймут:
Ведь если что неладно в государстве,
От своего потребуй депутата,
Пиши в газету «Таймс» — опубликуют,
Ну, в крайнем случае в Гайд-парке речь скажи.
Им непонятно, как это — бояться
Попасть в полицию, тем более — в тюрьму;
— Он что, тебя ударит, полицейский?
— Он что, твою наличку отберёт?
И что такого страшного в тюрьме?
Она писателю, возможно, и полезна:
Гуляй по камере, обдумывай, пиши...
Боюсь, что не поймут меня на Мальте.
Один русист из тамошних краёв,
Учёный автор кучи монографий
О Достоевском и религии славян,
Просил меня помочь с одной проблемой;
Он говорил, немножечко смущаясь:
«Я знаю всё, но не могу понять,
Ну почему в России в феврале
Кривыми вдруг становятся дороги?!»

...Я думаю, примерно в сотне стран,
Таких, как Свазиленд, Израиль, Мьянма,
Все наши страсти просто непонятны
И странны эталоны красоты,
И то, как пахнет рыжик и полынь,

Там вовсе не зовут благоуханьем.
(Нагляднейший пример тому — Шагал:
Пропитанный селёдочным рассолом,
Он запах дёгтя вонюю называл
И так же называл он запах сена.)
Ну как такие могут нас понять?
С грибною прелью наших сентябрей,
С цыганским семиструнным перебором
И нестеровской кротостью берёз...
Из иностранцев, думаю, что немцы,
С которыми мы скованы так плотно
Историей за пару тысяч лет,
В стихах могли бы что-то уловить,
Да родственные греки и поляки,
Чьи примеси присутствуют во мне,
И только при хороших переводах,
Чему в реальности, скорей всего, — не быть.
...Всё это присказка. А сказка — не о том.
Она о том, чтоб поняли в России.
А русские, надеюсь я, — поймут.

2003

ПО КОМ НЕ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ

*...И не думай, что колокол звонит
по кому-то: он звонит по тебе.*

**Слова Джона ДОННА, взятые эпигра-
фом к роману Эрнста ХЕМИНГУЭЯ
«По ком звонит колокол»**

Донн, донн, донн, донн, донн, донн, донн.
Врёшь, врешь, врешь, врешь, врешь, врешь, Джон.

Сколько раз по русским колокол звонил —
Даже бровью англо-сакс не поводил.

Марокканец, уругваец, папуас,
Надо думать, и не ведали о нас.

Так чего же мне печалиться о них,
О таких, как ты, далеких и чужих?

Да жирейте, да горите вы огнем —
Я, поверьте, совершенно не при чём.
Безразличны мне заморские дела,
Не по мне звонят у вас колокола.

...Донн, донн, донн, донн, донн, донн, донн.
You are wrong¹, wrong, wrong, wrong, John!

2000

¹ You are wrong (англ.) — ты не прав, ты ошибаешься.

СТИХИ НА ИСПАНСКИЕ ТЕМЫ**I**

Если б не был бы я русским,
Я хотел бы быть испанцем.
Я безмерно уважаю
Этот доблестный народ.
Мы ведь братья по несчастью,
По нашествию с Востока,
Игу мавров и монголов,
Азиатских дикарей.
Семь столетий реконкиста,
Бой за родину, за веру
Продолжался. Победили
И изгнали чужаков.
Только добрым христианам,
Изабелле с Фердинандом
И присниться не могло бы
Даже в самом страшном сне,
Сколь коварны иноверцы,
Иноверцы-инородцы,
Как обманно их решенье
В христианство перейти.
Эти хитрые мориски,
Эти гнусные мараны...
Инквизиция старалась,
Но не всех сумела сжечь.
И хотя в молельнях тайных
Обрезанцы уцелели
И дождались таки наших
Толерантных подлых лет,
Всё ж Испания сложилась
Христианскою державой
И — великою державой
Вплоть до Чили и Перу.
...Если б выпало судьбою
Так, что надо делать выбор,

Я хотел бы стать испанцем,
Если русским быть нельзя.

II

Иосиф Волоцкий, великий пастырь наш,
В борьбе с еретиками сожалел,
Что, как в Испании, не принято в России
Устраивать им ауто-да-фе.
И всё же, помните, всего лишь раз, но всё же
Сожгли еретиков в железных клетках
В Москве, в Кремле, при всём честном народе.
...Вы что хотите говорите, но
«Жидовствующих» больше не видали.
Конечно, тайно, где-то там они
Смердели, гадили, но чтоб открыто — нет,
И Русь тогда осталась православной.
...Иосиф Волоцкий был прав. Ему недавно
Воздвигли памятник. И это хорошо.

III

На нашем небе — тучи, облака,
Не Средиземноморье, чай. Вы помните пароль
«Над всей Испанией безоблачное небо»?
Вот мы сидим и ясной ждём погоды.
А почему? Вестимо, почему.
О православном Франко мы мечтаем.
Дождёмся ли в реальности — как знать.
Но сколько раз во сне я чётко слышал:
«Над всей Россией безоблачное небо»
И слышал топот кованых сапог
И бегство педерастов-демократов.
«Над всей Россией безоблачное не...»
Нет, это сон. Они ещё во власти.
Ну что ж, мы терпеливы. Подождём.

О ПАЛАЧАХ ТАМБОВСКИХ МУЖИКОВ

ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ НИКОЛАЯ АСЕЕВА

*Глухие гитары, высокая речь,
Чего им бояться и что им беречь¹...*

Антонов-Овсеенко², ярый троцкист,
Палач Тухачевский³, зверюга-фашист,
И сучка, кровавей нигде не найдёшь,
С паскудной кликухой Евгения Бош⁴...
Они победили. На радостях пьют:
Тамбовской Вандее — полнейший капут!
Теперь хоть Антанту на помощь зови.
Хайль Троцкий! Мятеж утопили в крови.
Недаром, недаром мы лили её —
Поджало хвосты кулачье-мужичье.

¹ Из стихотворения Н. Асеева, восхваляющего декабристов.

² Владимир Александрович Антонов-Овсеенко (1883–1939) — видный большевик, ярый троцкист, получивший кличку «бешеная собака Троцкого». Отличался страшной жестокостью при подавлении народного сопротивления, в частности — Антоновского восстания на Тамбовщине. Расстрелян. Дело отца идейно продолжил сын, представляя троцкистов наподобие Тухачевского невинными жертвами «культы личности Сталина».

³ Михаил Николаевич Тухачевский (1893–1937) — советский военачальник, ярый сторонник Троцкого. В 1921 году руководил подавлением Антоновского восстания на Тамбовщине и в прилегающих регионах. Проявил невиданное зверство по отношению к крестьянам. Практиковал массовое уничтожение заложников, в том числе подростков. Применял против своего народа отравляющие газы. Казнён по обвинению в подготовке государственного переворота. Есть легенда, что в тюрьме к нему приставили караульных родом с Тамбовщины и разрешили «сурово поговорить с маршалом», после чего приговорённого волокли к месту расстрела с выдавленными глазами и переломанными костями; если это и выдумка, она отражает народный приговор палачу. Реабилитирован «демократами», его имя носит одна из улиц Москвы.

⁴ Евгения Готлибовна Бош (1879–1925) — видная большевичка, сумевшая и в этой среде «прославиться» патологической жестокостью — даже Ленин указывал на её «перегибы». Ярая троцкистка. Осознав, что троцкизм обречён и политическое падение её кумира неизбежно, удавилась.

По новой, товарищи! Хайль Коминтерн!
Да, русский мужик удивительно сер.
Ему декабристы кричали: «подъём!»,
Он сиднем сидел в отупеньи своём.
И «Колокол» Герцена долго звонил,
Но так и не выступил русский дебил.
«Народная воля» стреляла в царя,
Мужик не поднялся, не крикнул «урря!»
— В деревне, — сказала Евгения Бош, —
Портрета Гершуни¹ нигде не найдёшь!
Я в избу однажды вошла и смотрю:
Они поклоняются, свиньи, царю!
Красуется выцветший царский портрет,
А Троцкого, Склянского², Ленина — нет!
О Марксе не знают! Полнейшая тьма!
Я эту семью расстреляла сама.
Антонов-Овсеенко тронул струну:
— Скорей бы прикончить нам эту страну...
— Ну, я-то подавно не ставлю ни в грош
Россию, — сказала Евгения Бош.
— И я! — Тухачевский торжественно встал. —
Споём же, друзья, «Интернационал»!
Чего нам бояться и что нам беречь?
Мы будем расстреливать, вешать и жечь!

¹ Григорий Андреевич Гершуни (1870–1908) — основатель и один из руководителей партии эсеров, глава её «Боевой организации», идеолог террора и организатор ряда террористических актов. В 1906 году, спасаясь от расплаты за свои преступления, бежал из России.

² Эфраим Маркович Склянский (1892–1925) — видный большевик, ближайший сподвижник Троцкого, его заместитель по руководству РВСР (Реввоенсоветом Республики), органом, в руках которого во время Гражданской войны была сосредоточена верховная власть в стране. Троцкий подолгу разъезжал на своём бронированном поезде, «наводя порядок» на фронтах, а в Москве «на хозяйстве» оставался Склянский, то есть фактически был высшим должностным лицом в государстве. После отстранения с этого поста — на хозяйственной работе. Находясь в командировке в США, утонул во время купания. Попытки недобитых троцкистов возложить на советских агентов ответственность за его смерть не удалась — ФБР опровергло эти слухи.

Мы газами будем деревни травить,
Мы им не позволим по-дедовски жить!
Мы знаем Европу, мы видели, как
Там очень культурен последний дурак.
Нам нужно Россию прогрессом увлечь,
А кто заупрямится — голову с плеч!

И пили всю ночь палачи до утра,
Над мёртвой землёю кричали «ура!»,
Кричали: «На Лондон пойдём! На Шанхай!»
И — «Хайль Коминтерн!» с троекратным «Зиг хайль!»
А утром стучит телеграфная нить:
К товарищу Троцкому спешно прибыть
И срочно представить развёрнутый план,
Как впредь усмирять непокорных крестьян.
«По коням! Уходим с Тамбовской земли!»
...Они за собой штаб-квартиру сожгли
И даже гитару засунули в печь:
«ЧЕГО ИМ БОЯТЬСЯ И ЧТО ИМ БЕРЕЧЬ!»

2006

КАЗНЬ ЗУСМАНОВИЧА¹. 1944

...А мы, военнопленные, навтыяжку стоим;
Приказано построиться; построились — глядим:
От блока генеральского процессия идет —
Кого-то ликвидация, видать, сегодня ждет.
А немцы, как на празднике, играют и поют...
Мне шепчут: «„Зусмановича приканчивать ведут“.
Григорий Моисеевич — советский генерал,
Он, раненый под Харьковом, давно уж в плен попал.
Лечили, чтобы Западу за доллары продать;
У них такое водится — евреев выкупать.
Да только им желателен какойнибудь банкир,
На чёрта нужен Западу советский командир.
Не нужен... И эсэсовцы на радостях поют
И генерала нашего приканчивать ведут...»
А на повязках свастики пиявками сплелись
И дым из крематория гудит и рвется ввысь...
...Ну, дело вроде ясное, без всяких was ist das,
Понятно, кто противники, понятно, кто за нас.
Но почему почудилось — покойный мой отец
Сказал: вражина чёртова, попался, наконец!
И почему почудилось — покойный дядя Клим
Ругнулся: вот он, гадина, скорей кончайте с ним...
...Тут дым из крематория развеялся слегка,
И я увидел райские на небе облака;
Все наши деревенские на облаке стоят,
Помёршие от голода лет двадцать пять назад,
Заложниками взятые Бог знает за кого
И больше не увидевшие дома своего,
Отравленные газами, замороженные в лёд,
Для устрашения пущенные в классовый расход;
На муки Зусмановича теперь они глядят
И хмыкают: корячится, поганый супостат!

¹ Зусманович Григорий Моисеевич (1889–1944), командир Кр. Армии. Чл. Коммунист. партии с 1915. С мая по дек. 1918 комиссар и воен. руководитель Продармии. В дальнейшем на командных должностях, ген.-майор. Участник Вел. Отечеств. войны. Замучен в фашистском концлагере.

Всему крестьянству нашему он приносил беду,
В проклятом восемнадцатом¹ он царствовал году;
Над всеми продотрядами главнейший командир,
Он нам амбары хлебные выскрёбывал до дыр.
И глас Иван Петровича, как прежде, всех мощней:
— Убейте же грабителя, мучителя людей!
...А на соседнем облаке — соседнее село,
И там народу множество казнённого пришло
Я слышу голос родича (то сестрин свёкор Влас):
— Бандиты Зусмановича ограбили и нас!
...И облако за облаком, и всех не перечесть —
«Горелово, Неелово, Неурожайка тож»,
А далее рязанские и тульские плывут
Увидеть, как над ворогом вершится смертный суд...
...Ты скажешь: Зусмановича за это ли казнят?
Эсэсовцам неведомо и слово «продотряд»;
Григорий Моисеичу поставлено в вину
Совсем не то, что делал он в Гражданскую войну.
...А я скажу: возмездие — возмездие и есть,
Бывает, что причудливым путём приходит месть;
Неважно, что немецкая в законе бузина —
За дядьку, что под Киевом, — бесспорная вина,
За сироту казанскую, за всех других сирот...
Неважно, что безмолвствует загубленный народ,
И приговор, как надо бы, — как надо бы, друзья! —
Приводят в исполнение не брат мой и не я.

2003

¹ Формирование Продармии (Продовольственно-реквизиционной армии Наркомпрода РСФСР) началось после принятия в мае 1918 декретов о введении продовольственной диктатуры. Из продотрядов формировались продполки и продбатальоны по воен. типу... В обязанности отрядов Продармии входило: организация крест. бедноты, получение (!) продовольствия от имущего (!) населения, ведение агит. работы, подавление контррев. выступлений, охрана прод. грузов, несение заградит. службы, оказание помощи местным органам Сов. власти. (Из Энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР», М, 1987)

ЖЕНА ДЛЯ ДЯДИ

Он где-то там читал про папуасов,
Что у бедняг нехватка протеинов;
Он им послал бы эшелоны мяса,
Ограбив Среднерусскую равнину.
Он слышал, что каким-то готтентотам
Чего-то там промышленного мало;
Он им послал бы этого чего-то,
Конфисковав у Среднего Урала.
Он возмущён, что где-то в Тропикане
Трудящихся диктатор обжирает,
И убеждён, что должен русский Ваня
Отдать туда две трети урожая.
А чтоб спасти от жажды дядю Тома,
Он повернуть готов течение Волги:
Вы, русские, отдайте всё другому,
Гуманитарным вдохновляясь долгом.
Он жертвовал бессчётные получки
На помощь разнесчастливым иностранцам,
А сам уже давно дошёл до ручки
И к старости остался оборванцем.
Но, сэкономив деньги на минтае,
На чёрном хлебе, луке и кефире,
Он всё равно газеты покупает,
Следит за тем, что делается в мире.
Бойтись прозевать, а вдруг там где-то
Бедняги ходят — нищие, босые;
Он сразу образует комитеты
Общественные — по всея России.
Ему неважно: шведы, марсиане,
Азербайджанцы, древние этруски,
Что собирать — валюту, книги, ткани,
Лишь только б что-то отобрать у русских.
Вокруг него некормленные дети,
Но этот никогда не перестанет
Печалиться о карликах в Тибете
И трансвеститах в Черножопистане.

К пенсионерке пристаёт, бесстыжий:
«Мать, помоги бразильским проституткам!»
...О Боже, как его я ненавижу,
Интернационального ублюдка!

2003

НЕДОЗАВОЗ

— Привет вам, баба Нюра, тётя Зина!
За чем стоите вы у магазина?
— Мага́зин этот держит наша власть,
Она нам скоро коммунизму дасть.
— Не понял, тётя Зина, баба Нюра,
Что́ ентот коммунизм — мануфактура,
Еда, обувка, краска, керосин,
Лекарство от мозолей и морщин?
— Что это, толком я сама не знаю,
Нам говорили — что-то вроде рая:
Всем до́сыта, от пуза ешь и пей,
Любых всем по потребности вещей...
...— Родные баба Нюра, тётя Зина,
Стоите вы в жару и в холодину,
Стоите столько зим и столько лет,
А толку-то, как видно, вовсе нет.
— Да говорят, недолго нам осталось,
Начальство тут намедни обещалось.
Уж столько простояли. Достоим.
Чай, рая на земле мы все хотим.
...Скончалась тётя Зина, баба Нюра
С кошёлкою пустой бредёт понуро.
А может быть, того и вовсе нет,
За чем она стояла столько лет?
Но ей признаться в том невыносимо,
Что псу под хвост, что всё зазря и мимо,
Что не бывать — от пуза всем икры
И «мерседесов» полные дворы.
И баба Нюра говорит: «Нет, милай,
Мы дождались, в мага́зин мы вошли,
Да коммунизму мало завезли,
Одним лишь облигархам и хватило».

РАЙКИНО ЯБЛОЧКО

Опыт исторической реконструкции

Я поставил своей целью уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над людьми. Меня полностью поддерживала моя жена, которая поняла необходимость этого даже раньше, чем я. Именно для достижения этой цели я использовал своё положение в партии и стране, именно поэтому моя жена всё время подталкивала меня к тому, чтобы я последовательно занимал всё более высокое положение в стране...

М. С. ГОРБАЧЁВ

- Мишка, я тебе на ушко
Кое-что хочу шепнуть.
Ой, стесняюсь под подушкой...
Тише, тише, под подушку
КГБ могло подслушку
Незаметную воткнуть...
- Шо стесняться, в самом деле?
Ты — законная жена.
В государственной постели
Нам секретность не нужна.
- Всё же как-то неприлично;
Верь, меня бросает в дрожь.
Это слишком необычно,
Ты насмешничать начнёшь.
- Вдруг полезешь с кулаками —
Чтоб смогла я убежать,
Лучше в парке за кустами
Это мне тебе сказать...

...— Ладно, Райка, вот мы в парке,
Выкладывай же свой секрет...
Хорошо сейчас, не жарко
И вокруг народу нет...
Полагаю, не иначе,
Как про будущую дачу
Ты намерена сказать.
Угадал? Какие розы
Надо в Англии достать
И карельскую берёзу —
Буду Вар облицевать?

— Миша, до чего ты скучен,
Прямо скажем, просто сер...
Мой проект гораздо круче:
Надо сдать СССР.

— То есть? Ты в своём уме ли?
Помешалась? Не пойму.
Знаешь, мне не надоели
Санатории в Крыму.
Я в обкомовской столовке
Век хотел бы харчевать
И жене своей обновки
За границей покупать.
Неохота мне на нары,
Я баланды не хочу.
Ты кончай свои базары,
Эти бары-растбары,
А не то тебя к врачу,
К психиатру отведу я
И в дурдом определю.
А изменницу такую —
Ишь, продать страну родную! —
Я в семье не потерплю!

— Вот же с глупым человеком
Я клялась прожить свой век!

Кто, скажи, бывает зеком?
Работяга будет зеком
И профессор будет зеком,
Даже маршал будет зеком,
Но — не может быть генсек.

— Рая, ты меня уморишь.
В этом глупом разговоре
Не могла смешней загнуть?
Я завсектором всего лишь...

— Наши судьбы — в нашей воле.
Хочешь быть генсеком — будь!

— Хорошо, свершилось это,
Вот взлетел я вверх ракетой
Выше всех партийных сфер.
Всё, приехали, с приветом.
Но тогда и смысла нету
Мне сдавать СССР!

— Вот где суть твоей ошибки:
Видно, веришь ты в улыбки
Областных секретарей.
Там же с хитростью змеиной
Нож вонзить друг другу в спину
Хочет каждый поскорей.
Вспоминай судьбу Хрущёва —
Ждал ли он конца такого?
Ну конечно же, не ждал.
За спиной собрали Пленум,
И под зад ему коленом
Пленум с радостью поддал.
Я считаю — очень плохо
В ожидании подвоха
В нашей партии царить.
Знаешь, сидя на иголках
И состариться недолго.

Я ж хочу ещё пожить.
Этим всем цековским гадам
Разом карты спутать надо.
Разве кто из них допрёт,
Что генсек Страну Советов,
Потряся партбилетом,
К ликвидации ведёт?

— Хорошо, а мы-то, мы-то
У разбитого корыта
Не окажемся ль с тобой?

...— Невозможно, дорогой.
Развалив свою державу,
Ты у Запада по праву
Станешь первый фаворит.
Безусловно, человека,
Что решит проблему века,
Запад обоготворит
И, конечно, наградит.
На поток, на разграбленье
Ты отдашь без сожаленья
Всю Советскую страну,
Сам — почётным пассажиром
Будешь ты порхать по миру,
Взяв с собой свою жену.
Да, порхать, как эта птичка,
Эта птичка-невеличка —
Видишь, вьётся возле нас.
Всюду нас салютом встретят,
И одарят, и приветят.
Жизнь начнётся — высший класс!

* * *

Что потом — да всем известно,
И писать неинтересно,
Можно в книжках прочитать.

Лишь немножечко о птичке,
Скромной птичке-невеличке
Надо будет рассказать.
Чудо в перьях только внешне
Относилось к птичкам здешним,
Что живут среди ветвей.
Это был шедевр шпионский
Технологии японской
С меткой Made in USA.
Птичка точно записала,
Как Раиса обольщала,
Заходя со всех сторон,
И как Мишка возмущался
(Поначалу аж ругался),
Как недолго он ломался
И как быстро сдался он.
(«Шо, действительно, неплохо —
Званье Человек-Эпоха»,
Согласился пустозвон.)
Закодировав умело,
Птичка тут же это дело
Щебетнула в Пентагон.

* * *

Что сейчас в грязи копаться
И в деталях разбираться,
Что нам спорить меж собой,
Кто в платёжке той шпионской¹,
В иерархии масонской
Номер первый, кто второй.
Нынче спорить — толку мало,
Был ли там Алкаш-с-Урала,
Был ли Яковлев-паук,

¹ Речь, разумеется, не о передаче кейса с долларами в безлюдной аллее. Западный аналитик так описал сделку: «Нобелевская премия мира и аплодисменты генеральному секретарю и его супруге — не такая уж большая цена за капитуляцию СССР и сдачу социалистического лагеря...»

И Шушкевич, и Кравчук.
Подводя итоги веку,
Перевёртыша-генсека
Самым главным назовут.
Только тайны сердцевина
Иль хотя бы половина
Помещается не тут.
Миша — он всего лишь крыша
Для реальных паханов.
Исполнитель этот Миша.
А заказчик кто таков?
Кто Российскую державу
Нанимает расшатать
Бесов лысых и картавых?
Вот и валит их орава,
Ленин — влево, Горби — вправо,
Нам — по-новой выправлять.
Кто ж заказчик? Глуп ты, право.
Неужели не понять?
Кто так иррационально,
Бесконечно, инфернально,
Люто ненавидит нас?
Догадаешься с трёх раз?

8 ноября 2009

ПОКАЯНИЕ

Мой дед — махновец, мой внук — скинхед,
А я поверил в марксистский бред,
В союз народов любых цветов:
Все люди — братья, и будь здоров!
Сложите деньги в один карман:
Под красным флагом какой обман!
Сними рубашку, отдай штаны:
Весь мир — просторы одной страны.
Международный рабочий класс
Повсюду будет всегда за нас.
Земля без наций и без границ!..
...Отца повесил арбайтер Фриц,
Зарезал сына чабан-чучмек,
Простой, советский наш человек;
Еврей смотался, латыш отпал:
Инферно-падло!-национал.
Мой дед — махновец, мой внук — скинхед.
За ними — правда, за мною — нет.

2006

* * *

Кто долго жил — попробуй Расскажи
Про наши все крутые виражи:
То всё путём, то всё кругом обрыдло.
Я знал при Сталине осмысленную жизнь,
Я знал при Ельцине существованье быдла.

Я возносился в небо, шёл ко дну,
Ни разу в жизни не менял страну,
Но получилось очень даже странно.
Мой дом на месте, только — ну и ну! —
Под ним земля вдруг стала иностранной.

Её китайцам продаёт еврей.
Любые сделки допустимы с ней,
Коль вор в законе выше всех вознёсся.
Я слышал: распродажу матерей
Объявят скоро нынешние боссы.

Да, мы народ воистину чудной:
Ну чёрт-те кто глумится над страной
Во имя заграничных конституций!
Я не сказал: пора идти войной,
А говорю, что надо лишь очнуться.

Да и какая может быть война!
Ты думаешь, расколется страна,
Всеобщая опять начнётся драка?
Ой нет! ГУЛАГ не нужен ни хрена,
Всех ельциноидов упрячем в два барака.

...«Вот если бы назад всё повернуть, —
Поддакнул мне сосед, приняв на грудь
Второй стакан забористой настойки, —
Мы б им не дали скособочить путь,
Ни оттепели чтоб, ни перестройки».

* * *

Н.

А ветер цвет менял неоднократно
 Пустив павлином радугу часов.
 И молодело. И к чертям обратно
 Катилось временное колесо.

Потом — вино в немыслимой посуде
 И звёздный хор во всю земную тишь...
 Да, это день, который не забудешь,
 Но не опишешь и не объяснишь.

1996

КАК ЭТО БЫЛО

Лукавый пошёл провоцировать Бога.
 «А рай-то пустой!» — говорит ехидно.
 Бог растерялся, подумал немного
 И смело идею Адама выдвинул.

В общем виде, без всякой конкретики —
 Мол, рёбра-детали потом разовью...
 А дьяволом купленные генетики
 Уже выращивали змею.

1962

* * *

Поэзия! Мирáжей вереницы
 Со всех сторон, как звери на ловца.
 Ты — найденное пёрышко жар-птицы
 И писаная торба мудреца.

Ты — дважды два, как сено и солома,
 Как женщина, ты вся наоборот.
 Ты — вход в стене, который лбом проломан
 На расстоянья шага от ворот.

1956

Литературные
разборки
в стихах и в прозе

* * *

Не довелось, я никогда не жил
Среди Тургеневско-Толстовских декораций,
Но часто, часто приходилось мне взбираться
На Достоевские крутые этажи.
Я, как Есенин, душу строчкой рвал,
Дорога в Ключевских урочищах петляла,
Как дорогá мне «ледяная рябь канала»
И сколько роз я Незнакомкам посылал!
Я шутки с Северянином шутил,
Над Мережковским откровенно насмехался,
Бывая в Лондоне, я Герцена чурался,
Но к Адамовичу в Париже заходил.
Я в Чевенгуре слыл за своего,
Но не знакомы ни Окуров мне, ни Глупов;
На дачах чеховских варёных полутрупов
Бывало мне всегда немножко не того.
...И всюду — бесы. Сколько ж было их!
Но — на бесовских лжекумиров не купился,
От веры в Пушкина ни в чём не отклонился,
Ни в чём, ты слышишь, ни на шаг и ни на миг.

2003

ВОСПОМИНАНИЕ О ВСТРЕЧЕ С ВЕЛИКИМ ДРАМАТУРГОМ

Когда я был Островскому представлен,
Я, видимо, понравился ему,
И он сказал тогда: «Вот было б славно
Вам погулять по веку моему.

Я скоро „Бесприданницу“ осилю,
Живу над Волгой, в лучших номерах;
Кого б вы предпочли, коль посетили б,
Увидеть завтра у меня в гостях?»

— Карандышевы мне скучны и пресны,
Их здесь полно, как, впрочем, и Ларис;
Нельзя ли, это было б интересно,
Мне с Мокием Пармёнычем сойтись?

Таких, как он, чужой химеры ради,
Всех извели ГУЛАГом и свинцом;
К тому же мой как будто бы прапрадед
Ещё при вас в Рязани был купцом...

«Ну, слава Богу, русского я встретил, —
Сказал Островский. — Тут на стенку лез
Один субъект: мол, хуже всех на свете
Купчишки, тормозившие прогресс...»

2004

ИЗ ОМАРА ХАЙАМА

Вчера я водки выпил триста грамм;
Сегодня тоже выпью триста грамм.
А что не пить — вот завтра в крематорий
Свезут, и всё — лишь пепла триста грамм.

1966

1799*К ПУШКИНСКОМУ ЮБИЛЕЮ*1999

1.

Он памятник себе воздвиг нерукотворный,
Стихом и прозой он его воздвиг:
Устойчивый, свободный, непокорный,
Живой, прекрасный пушкинский язык.

К нему присасывались немцы и французы,
Теперь картавые на местечковый лад
С экрана, ставшего универсальной музой,
Галдят и гадят, гадят и галдят.

Но даже в теле-радио-неволе,
Где правит бал вульгарный одессит,
Язык что хочешь вроде бы позволит,
Но овладеть собой не разрешит.

И янки, бешеным напором знамениты,
Напрасно влезли в русский огород;
Язык слова просеет через сито
И всё, что нужно, сам себе возьмёт.

Победы инородческой не будет!
Напрасен их искусственный дурдом;
Притрётся мистер Клип-из-Голливуда,
Как обрусел Французик-из-Бордо.

Пройдет и корь текущей лихоманки,
От корня нашего картавящей опричь,
Когда, отчаявшись, от нас отстанут янки,
А вся Одесса уплывёт на Брайтон-Бич.

Мы, русские, богаты с малолетства,
Ещё богаче мы на склоне лет:
Ведь пушкинскому дивному наследству,
Как ни старайся — переводу нет!

2.

Когда-то Троцкий думал о декрете —
Заставить всех на эсперанто перейти,
Сперва в России, после в целом свете...
Ну, где ты, Лейба, мать твою ети!
Пытался Луначарский в те же годы
Ввести у нас латинский алфавит.
И вот судьба картового уroda:
Смещён, развенчан, высмеян, забыт.
А все последствия тех страшных закидонов
И Розу Люксембург на помеле
Блестяще оприходовал Платонов —
Наследник Пушкина на вздыбленной земле.

3.

За Пушкина я мстил под Перекопом...

Эдуард БАГРИЦКИЙ

Прадед Пушкина был Ганнибалом;
Все мы знаем со школьных лет —
Африканский у нас Поэт.
И наука так толковала,
И учителька задавала
(А про князя Владимира — нет):

«Вы, мальчишки, и вы, девчонки,
Про погоню за негритёнком
В фильме «Цирк» смотрели на днях —
Как бежала Любовь Орлова,
Сына чёрненького, родного,
На рабочих несла руках.

А за нею толпа расистов,
Черносотенцев, капиталистов,
Эмигрантов, попов, князей...
Рожи зверские, все неистово
Завывают: убей! убей!

Точно так же мать Ганнибала
От жандармов царских бежала,
Свора белых за ней гналась,
Вслед из маузеров стреляла...
Вот поэтому Пушкин — за нас!»

...Князь Владимир среди предков Пушкина,
Красно Солнышко, князь святой.
Только в школе о ветви той
Ни-ни-ни, но на всю катушку
Ганнибаловскую осьмушку
Крутят в качестве основной.

Смысл понятен такой уловки:
Дескать, русских-то гениев нет.
Изоцряются много лет
Политические дешёвки
И учёные полукровки:
Костью в горле им наш поэт.

Мать у Черчилля — американка,
Но никто хромосом не считал,
Сэра Уинстона не объявлял
Относящимся, дескать, к янки.
Это Пушкин — от африканки,
Абиссинец, арап, ганнибал.

Чтоб по нраву прийти европам,
Врут — особенно молодым.
Но и мы просто так не сидим:
Под развёрнутым Перекопом
Интернационал-агитпропам
И багрицким ещё отомстим.

4.

Смешно читать, как некие банкиры
«Возобновили пушкинский лицей»...
Там треуголки, гроты, монплезиры
Для хорошо заплаченных детей.
Не в «мерседесах» — в экипажах тряских
По парку возят их вперёд-назад;
Растрёпаны с ахматовской подсказки,
Тома Парни на скамьях там лежат.
В кустах — магнитофоны с русской песней,
А плееры вообще запрещены...
Но вся эта подделка, хоть ты тресни,
Не навевает пушкинские сны.
И хоть, как встарь, скрипучи половицы
И в дортуарах точно тот же вид,
Банкирским деткам почему-то снится
Одесса-мама, дядя Уолл-стрит!
Какой тут, к чёрту, спирт в полтавском штофе,
Где тут ладья, какой девятый вал?
У них с пера течёт морковный кофе,
Как Маяковский некогда сказал.
Конечно, что до премий и до лавров,
Русскоязычные получают их с лихвой:
Банкиры платят, пресса бьёт в литавры,
Профессора качают мудрой головой.
Наш подлый век горазд на эти штуки,
Сальери Моцарта обставит без труда.
Я убеждён, что Пушкину ни Букер,
Ни Нобель премии б не дали никогда.

ПОЭТ, БЕГУЩИЙ КРАЕМ ЛЕСА

*Подстеречь красивую и свежую крестьянку,
убегающую в лес. Всем знакома любовь,
основанная на удовольствиях такого рода.*

СТЕНДАЛЬ. «О ЛЮБВИ», 1822

... — Как раз об этом я тогда писал, —
Сказал мне Блок, — о ненависти к барам,
О том, на чём основана она.
Да вот на этом... Прав Сергей, конечно;
Два разных мира — мужики и господа.
Есенин, кажется, совсем его не слышал,
Следя с азартом, как на стадионе,
За тем, как Пушкин гнался за крестьянкой:
— Она резвей, уйдёт, коль не споткнётся,
Эх, юбки длинные носили в ту эпоху!
Ну вот, как сглазил. Всё, прощай, невинность...

...Она взмолилась: «Барин, пощади!
Я замуж выхожу. Венчанье завтра...»
«O, formidable! — вскричал он, — c'est charmant!
Какое совпадение, однако! —
Вчера откупорил шампанского бутылку
И перечёл „Женитьбу Фигаро“,
А нынче сам я — граф Альмавива
И право первой ночи. Так, Розина?
Ах, ты Акулька? Это пустяки.
Сейчас ты примешь новое крещение.
Разденься же, будь барину послушна...
Какие перси! Ты моя Помона!
Тебя бы Рубенсу, конечно, показать.
Не понимаю, отчего ты плачешь...»

...Ну где ж ему понять, что пьяный муж
Ей будет тыкать в зубы кулачищем,
А то исхлещет до крови вожжами:
Мол, первенец — от барина, курчав!

Я знаю, стерва, накануне свадьбы
Ему ты добровольно поддалась;
Небось, хотела в горничные выйти
Да с господами ездить в Питербурх...

...Какая проза?! Это ж черновик
Одной строки, вернее, пары строчек,
Что барин вставит в свой роман в стихах,
Фамилией Онегина прикрывшись,
Что, мол, «Порой беглянки черноокой
Младой и свежий поцелуй»...
Ну как?
Простится гению?
Мы с Блоком промолчали.
— А ты, Сергей?
— Да не было печали!-
Есенин засмеялся, — прочь тоску!
Послушайте, потомки Альмавивы,
Я спародировал ту самую строку:
«Хвати сто грамм, запей бутылкой пива
И перечти барковского „Луку“»!

2004

ПРИСТУП НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОКРИТИКИ

«Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые?»
Но кто в чуму зовёт на пир?
Навряд ли это всеблагие,
Скорей — блаженные какие.
Хотя — привычен для России
Загадочный ориентир.
Какой-то сдвиг у нас в натуре:
Зачем-то парус ищет бури,
А Помяловский без стыда
Твердит — ох, скучно, господа,
На свете жить среди лазури,
Среди довольства и труда;
Всё это, дескать, ерунда.

Тут в самый раз и Буревестник
Летит, как полоумный вестник:
Мол, надобно вставать на бой,
Но не с проклятою ордой¹;
Противник есть поинтересней.
Виват войне с самим собой,
Своим обедом и женой!

Да, Тютчев прав: нам непогоды
Куда комфортней и милей,
Чем успокоенные воды;
Не отвертеться от природы,
Хоть и дурацкой, но своей...
Ну разве мы потерпим годы
Совсем без Окаянных дней!

2004

¹ В самом начале Первой мировой войны Максим Горький встал на пораженческую позицию. Он не постыдился заявить иностранному корреспонденту — боюсь, что Россия навалится стомиллионным серым крестьянским брюхом на Европу и задавит культуру. Зато в коллективизацию он жёстко отчеканил: «Если враг не сдаётся — его уничтожают». Врагом для Горького были «кулаки», как он эфемистически называл крестьян.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Разошелся придурок из Ясной Поляны;
Оборвав якоря, неизвестно с чего,
Призывает царя отозваться гуманно
На убийство отца, не казнить никого.
Террористов повесят — он горько заплачет,
Он судью проклянёт, палача заклеямит.
«Быть позорно солдатом! жандармом тем паче!
Силой злу не противьтесь!» — истошно вопит.
Он вопит, что не может молчать и не может,
Ну не может он вытерпеть русский закон,
Эти хари жандармские, царские рожи,
Эти лживые бденья у глупых икон.

Ну, а сам, целый мир поучать вознамерясь,
Телеграфные хочет порвать провода,
Он Столыпину пишет какую-то ересь
И считает, что нам не нужны города.
Бородатый придурок из Ясной Поляны
Всю империю хочет пустить под откос.
«Обвиняю! — кричит. — Всё кругом негуманно!»
Социал-демократы смеются до слёз.
...Как-то ночью подпрыгнул от шёпота в ухо:
«Не пужайся, касатик, спокойно сиди;
Я — обычная Смерть, я простая старуха,
Но со мною — учёный к тебе господин».
Господин поклонился: «Владимир Ульянов.
С благодарностью к вам, уважаемый граф.
Вы в мозги дуракам напустили туману,
Мы возьмём их в полон, и манжет не измяв.
Я принёс вам прибор — виртуальный компьютер,
Это как бы сквозь Время волшебный проход;
Вы вступаете внутрь, и с той самой минуты
Попадаете в цифрой помеченный год.
Засветился прибор — это значит запущен
Для работы... Позвольте, шкалу подведу.
Не желаете, граф, оказаться в грядущем,

Скажем, лет через десять, в двадцатом году?»
..И вознёсся Толстой, и услышал, что двери
Выбивают прикладами, что-то кричат
И врываются в дом разъярённые звери:
— Эй, помещичья сволочь, корми продотряд!
Им плевать, что хозяин империю рушил —
Всё побьют, поломают и книги сожгут,
Наглумятся над внучками, вывернут душу,
Посевное зерно у крестьян отберут.
Он бежит, но — куда? Он не знает, не знает,
И такое отчаянье — впору завывать;
Он вчера бушевал: «Семерых убивают!»,
А сегодня расстрелянных — полные рвы.
Он увидел колонну, которую гнали
К запасному пути, где стоял эшелон;
Арестанты, узнавши его, закричали:
— Он довёл до беды! пусть поедет и он!
Что же это за люди, знакомые очень?
Он к охране бежит, чтоб сказали ему.
Латыши еле-еле по-русски лопочут:
— Фсе толстофцы — враги, значит — на Колыму.
«Мы — враги? Мы ж клеймили царя неустанно,
Мы лишили его государственных сил...»
Комиссар между глаз рукояткой нагана
Только вмазал ему, хорошо не убил...
Эшелон покатился в эпоху кошмара,
На разболтанных рельсовых стыках стуча;
Одинокий старик из предсмертного жара
Слышит радостный дьявольский смех Ильича.

ПО ПРОЧТЕНИИ Н. В. ГОГОЛЯ

Достойней быть Пульхерией Ивановой,
Чем бешеной Надеждой Константиновой,
Кровавой террористкою Засулич
Иль помешавшейся на сексе Коллонтай.
Достойней оставаться верной мужу,
Печь пироги, блины, варить варенье
И распивать чай из самовара
В семейные святые вечера,
Чем раздувать вселенские пожары,
Чем как блоха скакать из койки в койку,
Чем раньше Геббельса жечь книги неугодных
И ненавидеть вся и всех кругом.
Но дети-правнуки верховных большевичек,
Всех этих полоумных истеричек,
Писатели кремлёвского разлива
Все уши нам обвешали лапшой:
«Позорно быть Пульхерией Ивановой!
Хранить семью и радоваться жизни,
И верить в Бога, и любить Отчизну,
И не желать разрушить ничего!
Ну то ли дело наши героини —
Перовская и с нею Хesia Гельфман,
Валькирии святой „Народной воли“, —
Они убили русского царя!
Да, бомбы — это вам не расстегаи,
Которые испечь ума не надо...»
Вот так сто лет паскудные писаки
Нам, простодушным, пудрили мозги.
...Пульхерия Ивановна! Тебе
Поставить памятник бы надо, а не Крупской.
Конечно, книг ты вовсе не читала,
Да не сжигала ты библиотек...¹

¹ В большевицкую мифологию Н. К. Крупская (жена В. И. Ленина) вошла как «выдающийся деятель просвещения». В СССР её именем были названы многие институты, дома культуры, улицы, библиотеки. Последнее — особенно комично: Крупская прославилась тем, что, кажется, первая в XX веке

Но дело к лучшему идёт. На днях я слышал,
Что якобы в Крыму уже разбили
Бюст кровожадной Соньки, тойсть Перовской,
И в море сбросили с горы ко всем чертям.

2009

практиковала массовое сжигание книг. По зловещим «спискам Крупской» (иногда они именуются «списками Луначарского-Крупской») в огонь летели даже сочинения Н. М. Карамзина и «Народные русские сказки», изданные А. Н. Афанасьевым. Эмигрантская пресса не уставала обличать «хобби первой леди Совдепии — сжигание библиотек». Костры горели и во дворе Московской Консерватории — уничтожались ноты богослужбных сочинений Чайковского, Рахманинова, Гречанинова, Калинникова, Чеснокова и других русских композиторов. Заметим, что ненависть большевиков вызывало только православие — католическая и протестантская богослужбная музыка вредной не объявлялась и из учебных программ не изымалась.

ВЫЕЗД СЕКЦИИ ПОЭЗИИ НА ПРИРОДУ

Мы вышли к берегу лесной реки Серпейки
И замерли, стараясь не мешать;
Не каждый день такая благодать:
Седой пастух играет на жалейке.
Но в нашей литераторской гурьбе
Не всеми этот звук был принят как подарок.
«Патриархальщина! Мотивчик — перестарок,
Не призывает к классовой борьбе, —
Так заявил нам эпатажно Маяковский, —
Пойду-ка в кузню, молот там стучит,
Куют, наверно, счастья ключи...»
И вслед ему перекрестился Исаковский.
Слинял и кривобокий Мандельштам —
Подальше от берёз, в мечтах об олеандрах;
Зато блаженствовали оба Александра,
Ну как пришли послушать службу в храм.
Тургенев сел поближе к Пушкину и Блоку:
«Ах, я люблю родимую красу,
Жалеек нет в Булонском-то лесу...»
И хмыкнул Бунин: «Что ж заехал так далёко?»
Всё хорошо... Некрасов и Рубцов,
И тот Толстой, который Константиныч;
Не видел умильнейшей картины:
В обнимку с Фетом — Юрий Кузнецов.
Здесь и Ахматова в той знаменитой шали,
А рядом с ней — Мария Петровых,
И даже ветер вежливо затих —
Все слушали жалейку, все молчали...

...Какие звуки дивные лились!
Какой напев национально-чистый!
Но тут с транзистором припёрлись
модернисты,
Жалейка смолкла, все мы разошлись.

ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

«Напылили кругом. Накопытили.
И пропали под дьявольский свист.»
А на вид — коренные жители,
А казалось — что прижились...
«Напылили кругом. Накопытили.»
Так не жить же теперь в пыли;
Мы доели всё, что могли,
Пусть останутся местные жители,
Мы же дети Всея Земли...
К Шереметьеву едут в машинах,
Как в былые века — на ослах;
Лица — будто с гравюр старинных,
С мировой скорбью в глазах.
А кругом желтеют деревья,
А кругом белеют стволы;
Шереметьевское кочевье
И летающие ослы.
(Вы не поняли смысл Шагала,
Что за сила козлов поднимала
В самолётную вышину? —
Если корма в округе мало,
Улетай в другую страну!)
В Шереметьево — как в унитазе:
Накопилось — дёрнул — вода;
Их смывают из Русской Азии
Сквозь таможду чёрт-те куда.
Мне плевать, хорошо там, плохо ли,
Хоть все трубы из золота там.
Контролёры от «боингов» глохли —
Целый день сплошной тарарам,
Целый день как за ручку дёргают,
Целый день урчит унитаз,
И сливаются их восторги,
Их проклятия и экстаз.
К самолету идут, фиксируя
Кадр последний — вспомнить в пути,

Мол, убогое всё и сирое,
Ни магнолий, ни пальм не найти,
Лишь берёзы как местные жители —
Домотканый желтеющий лист...
«Напылили кругом. Накопытили.
И пропали под дьявольский свист.»

1991

ЕЩЁ ПРИ НЁМ

В своей стране я словно иностранец...

Сергей ЕСЕНИН

Нас попрекают готтентотской моралью. Что ж, мы принимаем этот упрёк...

Натан ХАИМОВ, иудомасон, он же ленинский нарком Анатолий ЛУНАЧАРСКИЙ

Вдруг исчезла Россия, растаяв,
Уплыла то ли в ад, то ли в рай...
Гений пишет «Страну негодяев»,
Перейдя за дозволенный край.

Это врут: «пугачёвская буря».
Врут — мол, русская воля без мер.
А на деле террор — это пурим,
Вот вам формула СССР.

До чего же и подло и ловко
Лейбман вывел из веймарских книг:
За ущерб кишинёвской торговли
Пусть заплатит рязанский мужик.

Председателю ВЦИК Мардохею
Очень хочется крови царя.
Ну, а хочется — и поимеет:
Революцию делал не зря.

Над безумной российской ширью
На предсмертном, последнем краю,
Слышишь, каркают что-то Есфири
Про погибель твою и мою.

...Лиля Брик на метле пролетает
Голяком, голяком, голяком.
Луначарская шобла рыгает
Чесноком, чесноком, чесноком.

...ДА НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ

*В этой жизни помереть не трудно,
Сделать жизнь значительно трудней.*

Лучше уж от водки умереть, чем от скуки!

Владимир МАЯКОВСКИЙ (из стихотворения на смерть Сергея Есенина)

А зря его ты, Маяковский, так...
Смолчал бы лучше. Сам-то неумёха.
Такая глыба — «лиличкин» слизняк.
Не смог понять, а что ж такое плохо.

А может быть — как шапка на воре?
Предвидя издевательские слухи —
От русской водки, мол, почётней умереть,
Чем от еврейской шлюхи.

1999**ИРОНИЧЕСКАЯ ВАРИАЦИЯ
НА ТЕМУ ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО**

«Хорошо у нас в Стране Советов»:
Лиличке погром не угрожает,
И за это, за одно лишь это
Я ЧеКа ужасно уважаю.

2013**ПРОСЛАВЛЕНИЕ АННЫ АХМАТОВОЙ**

Эта женщина, Анна Ахматова,
Всем мужчинам дала по усам:
Всех точнее она припечатала
Наш позорный, безвыходный срам,
Всю помоечность царства безродного,
Той трясины, куда завело...
«Всё поругано, предано, продано,
Чёрной смерти мелькнуло крыло».

2004

ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ БОРИСА ПАСТЕРНАКА

*Привыкши выковыривать изюм
Певучестей из жизни сладкой сайки,
Я раз оставить должен был стезю
Объевшегося рифмами всезнайки.
Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребячества пришлось на время бросить.
Свой возраст взглядом смеривши косым,
Я первую на нём заметил проседь...*

Борис ПАСТЕРНАК. «Спекторский»

Я полной мерой брал себе изюм
Певучестей из жизни скудной пайки
И никогда не оставлял стезю
Объевшегося рифмами всезнайки.
Я бедствовал, но в том причины нет
Считаться побеждённым человеком,
Хоть бедствовал не просто пару лет,
А полный срок отпущенного века.
Но что там матерьяльный интерес,
Тем более какая-то там проседь;
Заставить не смогла КПСС
Ребячества хотя б на время бросить.
Ну, отнимали. Находил ещё,
Брильянты с тротуаров поднимая;
Зато меня и не пугал расчёт
Ни к Рождеству, ни к Октябрю, ни к Маю.
Ведь если я ничей не протеже,
То незачем равняться на кого-то;
Я жил на непрестижном этаже,
Ходил в толпе на общие работы,
Я оставался на своей оси,
И мне пошёл особенно во благо
Совет «Не верь, не бойся, не проси»,
Пригодный ведь не только для ГУЛАГа.
...Войдя с мороза, греясь у тепла,
Цитатками насмешничала Муза:
«Такой изюм я нынче принесла!
Иди ко мне... Ложись и ешь от пуза».

ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ ЛАРИСЫ РУБАЛЬСКОЙ

*«Плесните колдовства
В хрустальный мрак бокала...»*

Л. Р.

Стучала в окна мёрзлая листва,
Как будто Мендельсона исполняла;
Легло четыре пуда колдовства
Ко мне под ватный трепет одеяла...

2002

ФРАНСУАЗА САГАН

«Немножечко солнца в прохладной воде»...
Я помню, читал эту вещь и балдел.
Давно это было. Тогда я таких
Ещё и не читывал западных книг.
В печали — улыбка, в улыбке — печаль,
Интимная тайна колышет вуаль,
Как след аромата, как будто слегка
Рука парижанки коснулась виска...
Но вот по прошествии нескольких дней
Пытался я вспомнить — и всё, хоть убей! —
Как звали героя и кто он такой;
Постойте, ведь женщина — главный герой?
Как фокус: не помню совсем ничего!
О чём эта книга? О чём? Про кого?
Ах, время запретов, советская глушь —
Сожрёшь с голодухи парижскую чушь.
...Однако потом, через множество лет
Я понял, что книга оставила след,
Как след аромата, как будто слегка
Рука парижанки коснулась виска.
Наверно, и замысел в том состоит,
Чтоб напрочь был текст и сюжет позабыт,
Осталось же лишь ощущение одно,
С каким эту книгу я пил, как вино,
Что даже сейчас, через множество лет
Ничуть не расплылся оставленный след,
Как след аромата, как будто слегка
Рука парижанки коснулась виска.
«Немножечко солнца в прохладной воде»...
Ну что тут сказать, никого не задев?
Тональность что надо, хорош колорит,
Изящное платье нигде не морщит.
Изящные всюду на нём вензеля;
Какие проблемы?! Зачем? Тру-ля-ля!
Немножечко солнца, немножко воды,
Баланс интеллекта и белиберды...
О да, парижанки умеют писать —
На мелкой водичке в бирюльки играть.

ПЕСНЯ ДЛЯ КАРТАВОГО НАРКОМА В ПЕНСНЕ

ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ МИХАИЛА СВЕТЛОВА

*«Он хату покинул, пошёл воевать,
Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать».*

Вот так он деревню родную покинул,
Обманутый, русскую землю покинул,
А если её не любить, не пахать,
Она превратится в бесплодную глину,
Она, как паршой, зарастёт сорняком...
Картавый, в пенсне, усмехнётся нарком,
Светловым прикажет: а ну-ка, давайте,
Лапшу ему на уши и повторяйте,
Внушайте — не время в России пахать,
А надо в Гренаде мятеж поднимать;
Россия от нас никуда не уйдёт,
Гренада важнее — восстанье не ждёт!
«Он хату покинул, пошёл воевать,
Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать».
Не зная причём, что такое Гренада.
— А это, — смеялся нарком, — и не надо:
Прикажут — и гаркнет, что к бою готов,
А яблочко-песню напишет Светлов.
«Мы ехали шагом, мы мчались в боях
И „Яблочко“-песню держали в зубах.»
Гренада в Испании, в Польше, в Афгане,
Нигде нас не ждут никакие крестьяне...
Да то и не важно: наркомовский план
Нацелен совсем не на этих крестьян;
В России его коренная причина —
Чтоб землю родную крестьянин покинул.
А если крестьян оторвать от земли,
Такою страной как угодно рули.
Условие главное — чтобы народ
Держал постоянно разинутым рот,
Чтоб думать не думал, а пел до упаду
Про братьев по классу, Афган и Гренаду;

Последнюю, дескать, рубашку отдай
Английским шахтёрам и в Индокитай.
Мол, нам-то самим ничего и не надо,
Нам только бы счастье добыть для Гренады.
«Он пел, озирая родные края:
Гренада, Гренада, Гренада моя!»
Он пел, маршируя в снегу и в пыли,
И так проворонил пропажу земли,
Проспал конфискацию отчего дома
И то, как лендлордами стали наркомы;
Поёт он и скачет вперёд и вперёд,
На всех континентах пугая народ.
Дивятся народы: чего ему надо?
А он, как безумный, горланит: Гренада!
Он так и помрёт, не поняв ни хрена,
С разинутой пастью на слове «Грена...»

2001

ЕВРЕЙ ДЗЮБАН¹

*Под развёрнутым Перекопом
Интернационал-агитпропам
И Багрицким ещё отомстим.*

Ю. Б., 1999

¹ Одномо маститого критика ужасно возмутило само название моего стихотворения: «Неприлично упоминать национальную принадлежность героя, тем более вызывающе-демонстративно, в заголовке!» Я напомнил, что у Фейхтвангера есть роман «Еврей Зюсс», а роман «Испанская баллада» в подлиннике имеет название «Еврейка из Толедо». Критик отмахнулся — другая эпоха, другая страна, сравнение некорректно. Я привёл более близкий пример — сочинение наших современников и соотечественников братьев Стругацких «Жида города Питера». Критик разозлился: «Не прикидывайтесь простаком! Они, евреи, имели право на такое название, а вы — нет». Я продолжал: почему же тогда еврейским авторам дозволяется писать о русских? «Да потому, — возопил критик, — что мы живём в России, а значит, мы такие же русские, как и вы, да ещё получше вас, а плюс к тому мы евреи, у вас же никакого плюса нет!» И всё же я не унимался: а как быть с другими нациями, живущими в России, с греками, например? Перу еврея Багрицкого принадлежит известное стихотворение «Контрабандисты»:

По рыбам, по звёздам проносит шаланду,
Три грека в Одессу везут контрабанду.
На правом борту, что над пропастью вырос,
Янаки, Ставраки, Папа Сатырос...

и далее:

Ай, греческий парус, ай, Чёрное море,
Ай, Чёрное море, вор на воре...

А что если бы поэт-грек (кстати, во мне есть греческая кровь) или поэт-русский, украинец, немец написал:

По рыбам, по тучам бросает шаланду,
Евреи в Одессу везут контрабанду,
Во мраке кромешном отыщут дорогу
Хаймович и Кац, Рабинович и Коган...

что если бы он написал:

Ай, парус еврейский, ай, Чёрное море,
Ай, Чёрное море, вор на воре...

И критик потерял самообладание; пропал столичный лоск, наружу вылезло глубинное — визгливые интонации одесского Привоза: «Вы антисемит! Закоренелый, патологический антисемит!» Дальнейший разговор стал невозможным. Ещё меня обвиняли в том, что я будто бы исказил подлинную фамилию своего героя. В разных источниках она даётся как ДзЮбин и как Дзюбан. Мои личные изыскания, беседы с коренными одесситами привели меня к выводу, что звучание Дзюбан более вероятно.

Еврей Дзюба́н мучительно хотел
Залезть в постель прелестной русской гимназистки.
Да вот она ему не то что не давалась,
Ни на сажень к себе не подпуская,
Но — не глядела вовсе на него;
Точней сказать — совсем не замечала.
Он для неё был кто? Пархатый шмерл,
Как будто из совсем другого мира.
Как будто из другого измеренья,
Могла сказать красавица о нём,
Когда бы математику учила.
Еврей Дзюбан хотя и не учил,
Но что-то где-то о подобном слышал.
А признаваться в этом не хотелось,
И чтоб свои страданья приукрасить,
Он сочинил чувствительный стишок
«В манере Гёте», где себя представил
«Одесским Вертером», а русской гимназистке
Дал имя Лотта. Ну, а как ещё?...
...Потом вдруг революция — баба́х!
Еврей Дзюбан сперва бежать собрался
В Париж и спешно стал подтягивать язык;
По целым дням зубрил французские глаголы,
Вгрызался в поэтические формы —
Осваивал сонеты и верлибры,
Канцоны, триолеты и т. д.
Решил стихи писать он по-французски,¹
Чтоб этим зарабатывать на жизнь,
А главное — ходить в парижские бордели.
Оно, конечно, тамошним девицам
До русских гимназисток, как до неба,
Но всё ж они получше одесситок
От бандерши Меропы Швондерович —
Еврей Дзюбан их знал наперечёт.
Ну, таки да, за плóченные деньги
Он удовольствие, конечно, получал,

¹ Подробнее — в книге Олега Михайлова «Верность».

Но лишь в определённых позах, чтобы
Их лиц не видеть и не чують запах
Чесночный изо рта и чтобы губ
Селёдочного вкуса не касаться.
(Пройдёт десяток с лишним лет, и он,
Всё тот же самый комплекс изживая,
О девах юных дней своих напишет,
Про косы их, изъеденные вшами,
Селёдкой измазанные рты.)¹

...Итак, в отличие от чеховских сестёр,
Еврей Дзюбан кричал: «В Париж! в Париж!»,
Где он русскоязычие отринет
И франкофонным станет, и заткнёт
За пояс Буниных, Ива́новых, Бальмонтов,
С кириллицей расстаться неспособных,
Где он урвёт себе такие гонорары,
Что славу обретёт как Растиньяк,
Да, Новый-Растиньяк-с-Одессы-мамы.

Но всю судьбу его переменяла
Случайная и роковая встреча
С одним щеголеватым молодцом,
Весёлым, шустрым молодым евреем,
Вооружённым до зубов, одетым в куртку
Из чёрной кожи — так когда-то в гетто
Кошерные ходили мясники.
Представился он: «Дрейцер, Эфраим,
Но ты меня зови по-свойски Фима».
И дал совет: «Ну для чего тебе
Бежать в какое-то чистилище из рая?
В Париже никаких гарантий нет,
Что зашибёшь деньгу, войдя во славу,

¹ Вот что он писал в стихотворении «Происхождение»:
Любовь? Но съеденные вшами косы;
Ключица, выпирающая косо;
Прыщи; обмазанный селёдкой рот
Да шеи лошадиный поворот.

И на бульварах будешь франками сорить.
А мы в стране, которую навек
Седьмого ноября завоевали.
Здесь всё отныне наше, в том числе
Надменные славянские красотки:
И русские, и польки, и хохлушки,
А сверх того — татарки, молдаванки,
Черкешенки, грузинки, весь гарем
Поверженного нами царства гоев.
Скажи, которую из них ты так хотел,
Я тут же ордер подпишу, её притащат,
И делай с ней, что хочешь. Ну, диктуй
Фамилию и адрес недотроги...»
Еврей Дзюбан сначала не поверил:
«Прости, но я не понял — ты-то кто,
Что у тебя такая власть над ними?»
— Ну ты даёшь! Да я же самый главный
Телохранитель у него, у самого,
У Льва Давыдыча, у Троцкого. Понятно?
Ещё не веря счастью своему,
Еврей Дзюбан сказал заветный адрес.

И через час её приволокли.
Связали руки, ноги развели
И приковали к специальным стойкам
Железного топчана. И сказал
Телохранитель Троцкого с улыбкой:
«Такого наслажденья, друг ты мой,
Да ни в каких Парижах и Мадридах
Ни за какие деньги не купить.
Зато оно возможно здесь, у нас,
В Совдепии, в земле обетованной,
Где мы, тойсть пролетариат,
Сломали все сословные границы,
При этом беспощадно подавив
Сопrotивление господствующих классов
И с корнем вырвав антисемитизм.
Забудь об эмиграции, примкни

К нам, к победителям. Пиши стихи для нас,
Не пожалеешь. Мы заплатим очень щедро.
А эта девка — ты о ней мечтал? —
Считай, задаток за грядущие поэмы.
Она твоя, так называемая Лотта,
Фигурка, в самом деле, первый сорт.
Ну, я пошёл, а ты бери её, топчи.
За прошлые обиды поквитайся.
Расстёгивай штаны, товарищ Вертер!
В твоём распоряжении полдня».

В тот миг еврей Дзюбан и передумал
Бежать в Париж. Товарищ Дрейцер прав!
Ну кто же от добра добра-то ищет?
А здесь навалом этого добра:
Красивейшие женщины — бесплатно!
Блестяще проверить какой гешефт
Сумели комиссары в пыльных шлемах!
Конечно, это только для своих;
Еврей Дзюбан отныне свой, и в полном праве
Он овладел прелестной русской гимназисткой,
Распятой на топчане в ГубЧеКа...
Пархатый шмерл был первым, а за ним
Её насиловали семеро конвойных;
Потом забили насмерть¹, чтоб концы,
Как говорится, в воду. Так спокойней,
А то откроется, к примеру, что она
Родня какому-то большому человеку
Из бывших, но которого ЧеКа
Приказано до времени не трогать...

...Вот так исчез парижский стихоплёт
И появился Эдуард Багрицкий:

¹ Одесская ЧеКа отличалась особой жестокостью, изуверскими пытками. Имена её палачей (Дейч, Вихман, Гальперин, Дора Явлинская и др.) навели ужас на современников. Там был убит родной дед автора этой книги — см. его поэму «Пепел Клааса».

Еврей Дзюбан отныне пишет и живёт
Под этим хитрым, многозначным псевдонимом.
Не просто красный, а БАГРовый цвет.
БАГРовые рубцы на теле от побоев,
На белом-белом теле гимназистки.
БАГРовые рубцы на нежном теле.
БАГРовый отблеск страшного пожара.
Россия, оБАГРившаяся кровью.
БАГРами трупы утром волокут
На фуры из подвалов чрезвычайки.
Багрицкий — очень ёмкий псевдоним...

...У многих в прошлом есть какой-то срам,
Какой-то грех и даже преступленье;
И все его как правило скрывают,
А вот Багрицкий тем и уникален,
Что изнасилованье в подвиг он возвёл.
Вы знаете его стихи об этом.
Ну, да, он приукрасил кое-что;
Про Фиму Дрейцера, естественно, ни слова:
К тому моменту, как писать он стал «Февраль»,
Свою паскудную, позорную поэму,
Товарищ Троцкий получил под зад коленом
И вышиблен был из СССР.
Багрицкий дело так изобразил,
Что с девушкой он встретился в притоне —
Белогвардейщина да плюс ещё разврат.
Но главное он всё же написал —
Что «гордость иудейская» поёт
По той причине, что он стал всевластным
Над судьбами поверженных людей,
Что он вооружён и входит в стаю,
Способную в любой вломиться дом
И там хоть убивать, хоть бить, хоть грабить.
Багрицкий похваляется, что силой
Он взял ту девушку, он пишет, что она
Просила пощадить, но он был груб
И даже — вот деталь — не снял с себя

...И вот уже визжит «правозащитник»,
Конечно, соплеменник стихотворца:
«Пытать Поэта?! Автор — экстремист!»
«Позвольте, — возражаю, — ваш поэт
В чудовищном виновен преступленьи,
Он изнасиловал...» «Ай, бросьте, — говорит
Мой оппонент, — эпоха-то какая?
Они, святые, верили тогда,
Что строят царство подлинной свободы.
Романтик Революции считал:
Насилие — возмездье за погромы.
Сейчас же воцарился плюрализм,
И вам предписана такая толерантность,
Что вы не вправе наших осуждать —
Багрицких, Дрейцеров, Зиновьевых и Троцких...»
К «правозащитнику» спешит на помощь критик,
Из полукровок, очень знаменитый,
Плешивый, с бородёнкой, русофоб.
Он верещит, что нету документов
О надругательстве над русской гимназисткой,
И что Багрицкий это написал,
Воображая лишь, не совершая,
И потому, конечно, невиновен...
— Ну как же невиновен? — говорю. —
Читателю внушается идея,
Что можно мстить за прошлые века
Насилием над девочкой невинной;
Читателю неважно, сам поэт
Глумился над красоткой-гимназисткой
Или какой-то вымышленный зверь.
Виновность сочинителя бесспорна...
— Не надо перекладывать вину
Свою на голову несчастного поэта,
Скончавшегося от туберкулёза
В ужаснейшие сталинские годы!
Виновны вы, — кричит маститый критик, —
Виновны тем, что подняли вы шум
Вокруг несуществующего дела

С антисемитским замыслом припутать
К эксцессам революции еврея.
Ведь знают все, что русский, русский бунт
Бессмысленный и беспощадный, так причём
Любимый наш талантливый поэт?
Ну, таки да, он что-то там сказал,
Ну, написал три строчки о терроре,
Но он имел в виду совсем другое,
Об очищении России он мечтал,
А не о сталинских колымских лагерях.
В конце концов, в каком-то смысле слова
Здесь речь о справедливости: поэт
Взимал долги за годы унижений,
Да не за годы даже — за века!
Ведь из антисемитских побуждений
Красавица ему не отдавалась —
Всё это ясно мне, как божий день!
Слюною брызжет знаменитый критик,
Надевши прокурорскую ермолку:
«У нашего Багрицкого слова —
Субстанция возвышенного чувства,
А вот у вас — практический призыв
Уничтожать повально всех евреев
И продолжать нацистский холокост!»
Ну, и т. д., ну, и т. п., ну, словом, он глумился
Над здравым смыслом, этот литератор,
Как некогда над русской гимназисткой
Насильничал урод еврей Дзюбан.

2009

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

...И заграница, заграница,
На всех парах, при всех огнях,
Курорты, кампусы, столицы,
Берлин, Фиальто, Кембридж, Ницца,
Мерси, месье, энд гутен таг...
Но что ему сегодня снится —
Как рожь под ветром колосится
«И весь в черёмухе овраг»?

2002**ЗИНАИДА ГИППИУС**

Была богиней, ведьмой, круглой идиоткой,
Палила в Окаянный век прямой наводкой,
А век в ответ и пошутил, и обманул:
Она (сегодня видно это очень чётко)
Сперва талантливо раскачивала лодку,
Потом талантливо кричала «караул!»

2002

НА БУНИНСКОМ ПЕРЕКРЁСТКЕ**Н. Б.**

Из леса в лес по полевой дороге
Мы шли, ты помнишь, именно по той,
Где Бунин, вдруг подумавши о Боге,
Сказал Ему о прелести земной.
Да, здесь он понял: вот она, вершина,
А дальше — хуже, спуск в постылый Грас,
И ни Париж, ни Нобель, ни Галина,
Ничто ему подобного не даст.
Какое там! Ведь в пряности Прованса
Совсем иные запахи земли,
И так смешно в долинах Иль-де-Франса
Грассируют французские шмели.
А ты сказала: видимо, поэт
Коснулся Бог, предчувствуя беду;
Ведь не случайна дата — было это
В том самом восемнадцатом году.

2004

ЦИАНИСТЫЙ ВАЛЬС

*Стал нашим хлебом — цианистый калий,
Нашей водой — сулема.
Что ж? Притерпелись и попривыкали,
Не походили с ума.
Даже напротив — в бессмысленно-зломном
Мире — противимся злу.
Ласково кружимся в мире загробном
На эмигрантском балу.*

Георгий ИВАНОВ

Как бы сказали теперь — виртуально,
Как вернисаж голограмм,
В терминах времени — послепрощально,
Может быть, даже — и запогребально
Призраки явлены вам,
Чтобы насмешливо и ритуально
Жизнь разрубить пополам.
Стал вашим хлебом цианистый калий,
Вашей водой — сулема.
Нас эти призраки нынче догнали,
Аверсом сделался реверс медали,
Светом прикинулась тьма.
Ох, устоим ли? Вот вы устояли,
Не походили с ума.
Правда, при этом у вас оставалась
Всё же надежда одна:
Да, мол, Россия обрезана малость,
Но не зарезана, но не скончалась;
Встанет ещё ото сна?
...Нам совершенно иное досталось:
Выпита Волга до дна,
Наши Батыи дошли до Корелы,
Гитлеры — до Уссури,
Сила турецкая нас одолела

Всюду — на Чёрном, Балтийском и Белом,
Глистный Израиль — внутри.
Кончилось, кончилось русское дело,
Больше не будет зари.
Вежливо пятились мы постоянно
И не противились злу.
Всё по закону и всё без обмана;
Перья приклеили из целлофана
Мы шутовскому орлу.
Вы наш предтеча, Георгий Ив́анов,
На похоронном балу.

2006

LES RUSSES À PARIS

В Париже не читают Куприна,
Тем паче «Яму». Право, для француза
Она стара, наивна и смешна,
Типична для Советского Союза.
...Ах, это старая Россия? Всё равно.
Так пресно, скучно и неэротично.
Речь о борделе — о борделе! — но
Всё чересчур серьёзно и прилично.
В Париже знать не знают Куприна.
...Как? Он живёт в Париже? Вот не знали...
Хотя, пардон, гражданская война.
Да, русские друг друга убивали.
Ужасно! Эти бомбы и шрапнель...
Куда бежать? В Париж, куда ж ещё-то!
Куприн теперь парижский «рюс вранжель»¹
И глушит, говорят, вино без счёта.
А Запад знает: деньги любят счёт.
Чтоб выжать всё, впустую не прохлопав,
Копеечку к копейке кладёт
Великая Мещанская Европа.
И я хвалу Парижу вознесу:
Считать везде и всё, конечно, мудро;
Отсчитывает сдачу вплоть до су
Последняя панельная лахудра.
Ныряй в разгул, пределы просчитав;
Блуди, как бес, но твёрдо помни цены.
Вот перебор — дикарская черта.
А дикари во Франции презренны.
Истратить меньше — больше опьянеть.
Искусной смесью сбережёшь немало.
А русскому — для траты денег снедь:
Он крепость водки понижает салом!

¹ Рюс вранжель — белоэмигрант (русский из врангелевцев).

Ещё у них Шмелёв. Ну, азиат!
Всё ностальгирует о квашеной капусте.
Как говорится, ошибиться б рад,
Но он, похоже, не слышал о Прусте!
Такая дикость! Форменный скандал.
И не стыдятся говорить: «не знаю»!
А Бунин Пруста просто осмеял —
Мол, как снотворное его употребляю,
От жизни, мол, далёк ваш Пруст... О, нет!
Кто-кто, а Пруст — он очень хваткий в деле.
Всё рассчитал вперёд на много лет,
И держит деньги в акциях борделя.
Париж в пандан осеннему дождю
Единодушно чтит Марселя Пруста,
Но, правду говоря, «Le temps perdue»¹
Приносит денег автору не густо.
А вот бордель — беспроигрышный ход.
Уж точно — похоти не будет переводу.
Лишь этот бизнес вкладчика спасёт
В эпоху сумасшедших скачек моды.
А что Куприн? Хоть тоненький пакет
Бордельных акций заимел он в «Яме»?
По бахроме на брюках видно — нет.
Эх, русские... Ну что поделатъ с вами!

2006

¹ Цикл романов Марселя Пруста; в русском переводе — «В поисках утраченного времени».

ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ САМУИЛА МАРШАКА

*А в зеркалах, друг на друга похожие,
Шли чернокожие, шли чернокожие...*

Самуил МАРШАК

В стае наёмных советских писак
Иезуитством прославлен Маршак:
Квакал о расовой дискриминации
В годы кошмаров коллективизации.
К Русской Трагедии был он глухим,
Главное — негры, сочувствие к ним.
Ради грядущего освобождения
Жёсткие он предпочёл бы решения.
В «Мистере Твистере» он описал,
Что́ этот янки во сне увидал:
«Вот перед ними родная Америка,
Мраморный дом у зелёного скверика,
Старый слуга отпирает подъезд.
Нет, говорит он, в Америке мест».
Все эти выверты иносказательны,
А для России вполне предсказательны:
Будет, мол, время такое у вас —
Русские стали последней из рас,
А по Москве, торжествуяще топя,
Прут черножопые, прут черножопые.

2009–2010

**ИГОРЮ МОИСЕЕВИЧУ ИРТЕНЬЕВУ (РАБИНОВИЧУ),
СОЧИНИВШЕМУ СТИШОК****«О РУСЬ, ЗАГАДОЧНАЯ РУСЬ,
НИКАК В ТЕБЕ НЕ РАЗБЕРУСЬ»**

И спасибо на том, что вполне откровенно признался...
Не такие, как ты, обломали все зубы о русский вопрос.
Ну, а я вот в еврейском вопросе давно разобрался;
Это было совсем и нетрудно, поскольку он дьявольски прост.

2006**ОЛЕГУ КОЧЕТКОВУ**

Стихи моих разболтанных друзей
Порою вызывают недовольство:
Кто из рогатки выстрелил в посольство,
Кто прогулял экскурсию в музей.
Ну дети, ну подростки, ну как мы,
Ну кровь кипит, мешая плюс и минус —
Один попортил чью-то там невинность,
Другой потряс научные умы.
Но все повально любят соловьёв,
Собак и кошек, пьянку и рыбалку,
Им для друзей самих себя не жалко,
Ещё они не любят лишних слов.
...А на другом конце одной страны —
Гомункулусы бродские. Культурны,
Играют в шахматы, не плюнут мимо урны,
Да только вот на ощупь холодны.

2002

* * *

В писателях мир? Ерунда, несерьёзно.
По-прежнему будут вражда и разборки,
Коль половина — за деда в колхозе,
А половина — за дядю в Нью-Йорке.

1997

ЛИК ПИЯВКИ НАД ЦЕНТРОМ МИРА

В самом центре русской столицы, на Страстной площади над задумчивым бронзовым Пушкиным нависает здание газеты «Известия». Раньше оно возвышалось не над памятником (он стоял в начале Тверского бульвара), а над старинным монастырем и казалось очень модернистским и очень высоким. Когда оно строилось, Маяковский удовлетворённо писал:

И каменщики с небоскрёба «Известий»
плюют на Страстной монастырь.

Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Бездарный стихотворец Семён Кортчик, только что приехавший «с Одессы», переменивший фамилию на Кирсанов и считавшийся последователем Маяковского, погибал ещё хлеще:

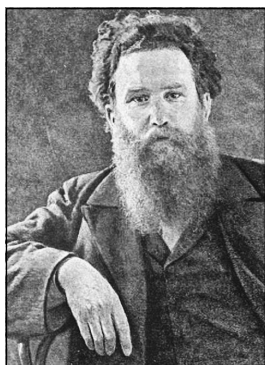
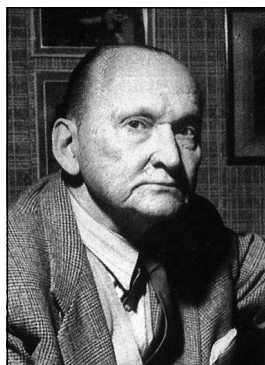
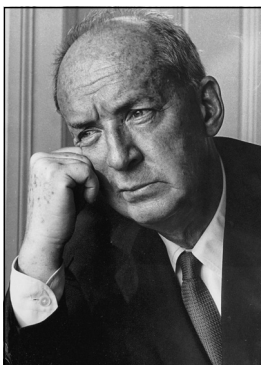
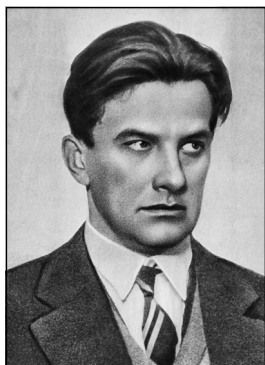
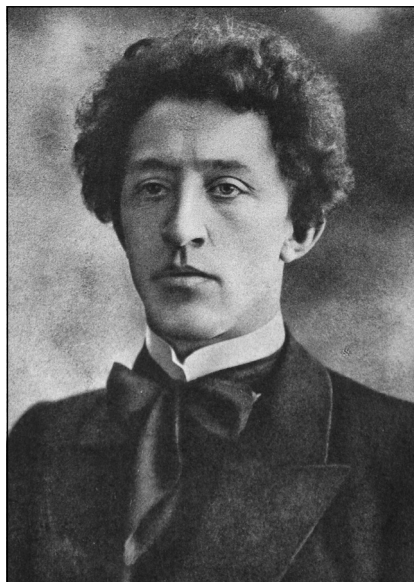
Была Москва — большой огород,
Лабазников жадных логово,
Да взяли Москву в большой оборот —
Редиски церковей выдёргивать

Комментировать эту малограмотную местечковую наглость, видимо, нет нужды. Но уместно вспомнить, кто в то самое время практически осуществлял «выдёргивание

редисок». Это был соплеменник Кирсанова влиятельный тогда Емельян Михайлович Ярославский, он же Миней Израилевич Губельман, занимавший множество постов — и секретаря ЦК ВКП (б), и секретаря МК, и председателя Антирелигиозной комиссии ЦК (это была тайная структура, о самом её существовании стало известно лишь после падения коммунизма). Ярославский закатывал истерики на заседаниях МК, вопил, что потрясен — по дороге сюда с окраины, где выступал перед рабочими, он проехал мимо восемнадцати церквей, они отравляют народ идеологическим ядом и мешают уличному движению. Губельман, конечно, лучше любого митрополита знал, что русскому народу яд, что бальзам на душу.

Страстной монастырь он тоже ликвидировал. Долгое время площадь, переименованная в Пушкинскую, пустовала. В первые послевоенные годы на ней к праздникам стали сооружать киоски: торговали газировкой, мороженым, конфетами, папиросами. Из репродукторов неслась танцевальная музыка. Бесприютные парочки (а их было много в те времена коммунальных квартир) обжимались в танго и фокстроте. Мы, школьники эпохи отдельного обучения, знакомились тут с девчонками, которые давали нам первые уроки танцев. Потом кто-то догадался, что не надо рушить торговые точки между 7 ноября и новым годом, и киоски стали постоянным украшением площади в центре мира.

Я намеренно так называю Пушкинскую-Страстную: и тогда, во вторую половину 1940-х, и сейчас, в 2010-х, я действительно воспринимаю её как центр мира. Ибо центр моего мира — Россия, центр России — Москва, а центр Москвы — именно эта, а не Красная площадь. Красная слишком официальна; конечно, она — сама история, но её дыхание ощутимо и здесь, неподалеку, на Страстной. Тверская — главная улица русской столицы, и никто не собьёт меня с этой точки зрения. Бульварное кольцо — это символ московской старины, московской устойчивости, московского уюта. Страстная — на пересечении Тверской и Кольца. И самое главное: русская культура — это



оправдание мира, а Пушкин — символ русской культуры. Так, если очень коротко, можно объяснить моё восприятие Страстной (Пушкинской) площади. Добавлю только, что вся моя жизнь тесно с нею связана. Тут рядом, на Патриарших Прудах, детство прошло, и школа моя в двух шагах, и музыке здесь когда-то учился, и несколько редакций, в которых довелось работать, группируются вокруг Площади, и свидания девушкам я как правило у Пушкина назначал...

Но вернёмся в 1940-е. 150-летие со дня рождения Пушкина дало толчок к благотворной перемене облика пустовавшей площади. Сюда перенесли памятник Поэту, за ним разбили красивый сквер с фонтаном. Удачным фоном для памятника стал построенный позднее кинотеатр «Россия» (ныне «Пушкинский») с его остроумным решением поднять парадную лестницу над улицей с оживлённым движением. Увы, после перестройки, после воцарения криминального, дикого капитализма кинотеатр изуродовали пошлейшими прибабасами казино «Шангри-Ла». И не будем восклицать — другого места не нашли! Именно, что нашли. Торгашам из нерусских обязательно надо нагадить в тех местах, которые мы любим, обмазать дерьмом дорогие нам имена или хотя бы мемориальные доски. Потом, слава Богу, его всё-таки убрали

А вершиной цинизма стало появление под крышей «Известий» огромного портрета Лили Каган (Брик). Так известинцы начали сменное оформление своего здания. Потом там поместили другое изображение, но портрет мадам Брик провисел больше года. Под портретом на броском транспаранте было написано «Мы печатаем историю». Сама по себе эта надпись на здании газетной редакции могла бы восприниматься вполне органично, однако портрет придал ей вполне конкретный и очень нехороший смысл. «Мы, Каганы-Брики, определяем, что вам думать о вашей истории» — один из вариантов расшифровки этого двусмысленного послания. Надо оговориться, что большинство прохожих не обращало внимания на портрет, чтобы увидеть который надо задира́ть голову. Много раз

я задавал людям на площади вопрос — а кто это? И как правило они пожимали плечами.

Но если звёзды зажигают, как говорил Маяковский, значит это кому-нибудь нужно. Тем более с другой стороны того же квартала этот же портрет был спущен на уровень глаз человека — помещён и слева и справа от дверей книжного магазина. (Он красовался там несколько лет и был снят только когда вместо магазина появилось кафе.) Я как-то спросил работницу книжного магазина, почему они украсились портретом Лили Брик. Женщина сказала, что так художник-оформитель хотел передать эпоху; довоенную эпоху. Я притворился демократом, умолчал о Марине Расковой и Любви Орловой, сказал: странно, почему, например, не Анна Ахматова? Женщина тревожно взгляделась в меня: «А почему вы против Лили Брик? Вы антисемит?». Дальнейший разговор не имел смысла.

В те же дни я купил газету «Московские новости» с предвыборным плакатом на первой полосе; современный призыв голосовать за их кандидата исходил из раскрытого рта Лили Брик. «Почему не Алла Пугачева?» — спросил я на следующий день одного демократа. Он поднял палец: «Лиля Брик — это эпоха, это символ!» И он был совершенно прав. Это действительно и эпоха и символ.

Лиля Каган-Брик прожила долгую жизнь: с 1892 по 1978 год. Эпоха была, как видим, нелегкая. В лилины 25 лет случилась революция. До того она как сыр в масле каталась: её отец Ури Каган (дочь почему-то называла себя Юрьевной) был очень преуспевающим «еврейским адвокатом», как сказано в справочнике «Кто есть кто в России / СССР». Аркадий Ваксберг, один из биографов Лили Брик, подчёркивает, что Ури Каган специализировался на защите евреев. После революции и смерти отца пришлось думать о жизненном устройстве. Надо было умудриться прожить жизнь сытно, красиво, весело и легко, не утруждая себя работой. Организовать дольче вита во время чумы. И Лиле это удалось. Опуская подробности, скажем, что основную часть доходов давал ей Маяковский, чьей кратковременной любовницей,

долговременной музой и пожизненным проклятием она была.

Важно подчеркнуть, что дань, которую она брала с великого поэта, нельзя измерить одними рублями и долларами (в долларах логично исчислять привозы Лиле из-за границы, в том числе автомобиль «Рено», который в 1920-е годы был признаком не просто роскоши, но — избранности). Лиля так присосалась к Маяковскому, что и её стали причислять к художественной элите. Хотя она была совершенно бездарна — во всём, кроме умения паразитировать. Однако много можно насчитать случаев, когда её мнимые таланты под пером фальсификаторов-доброжелателей превращаются в таланты подлинные. Однажды я посчитал строчки заметки, посвященной Лиле Брик в «Бюллетене ИТАР-ТАСС», и поразился: ей наш официоз отдал больше места, чем многим классикам. Но — ни ролей не оставила в истории Лили Брик, хотя прихлебатели верещали о ней как о «драматической актрисе», ни режиссёрских работ, хотя поминалась она и как режиссёр, ни сценариев. Всю жизнь, однако, она была «возле» — возле писателей, актеров, режиссёров.

Защитники Лили Брик (а защитников у нее немало) указывают на то, что бездарной женщине не дали бы держать литературный салон в ту эпоху, когда салоны выжгли под корень. На это есть что возразить: не будь Маяковского в её жизни, не было бы у Лили салона. В этот салон на чекистское пламя мотыльки летели, привлекаемые Маяковским. Ну кто бы стал устраивать салон вокруг Джека Алтаузена или Александра Безыменского! Секс-ловушка Лиля Брик это, конечно, эффективно, но куда эффективнее, когда к ней прилагается великий поэт; вернее, когда к великому поэту прилагается секс-ловушка. Конечно, Лиля Уриевна была, судя по всем отзывам, виртуозом секса, но этот талант встречается гораздо чаще, чем поэтический. Да и ценились секс-ловушки по способности приманить знаменитостей. А так как Маяковский был приманен Лилей ещё до возникновения самого ОГПУ и начала её и её номинального «мужа» Осипа Брика службы в этом учреждении, задача для «органов» существенно облегчалась.

Разумеется, в советские годы нельзя было вслух говорить или тем более писать о шпионском салоне мадам Брик. Но для определенного круга это не было тайной. Сергей Есенин, который, хорошо понимая всю пустоту Осипа Брика, ни в грош не ставил лжеученость этого лжефилолога, сочинил такую эпиграмму:

Вы думаете, кто такой Ося Брик?
Исследователь русского языка?
А он на самом-то деле шпик
И следователь ВЧК.

Анна Ахматова, заставшая прославленные дореволюционные литературные салоны, принятая в знаменитой «башне» Вячеслава Иванова, заметила о советских временах: «Литература была отменена, оставлен был один салон Бриков, где писатели встречались с чекистами» (этот отзыв приводится в книге Лидии Чуковской «Записки об Анне Ахматовой»). Осторожный Пастернак выразил ту же мысль мягче, сказав, что квартира Бриков напоминает ему «отделение московской милиции». Шостакович не советовал своему студенту Георгию Свиридову ходить к Брикам. Но Свиридов всё же познакомился с Лилей Уриевой и называл её в своих записях «местечковой Лаурой» (имея в виду, что её певцом был Маяковский, которого он терпеть не мог; он терпеть не мог всю эту среду, которую называл «советско-еврейской буржуазией»).

При таком салоне, оплачиваемом ОГПУ, да при щедром финансировании со стороны Маяковского, да при постоянной смене высокопоставленных любовников, приходивших к ней не с пустыми руками, Лиля Брик жила очень даже неплохо. В эпоху ситцевых толстовок и парусиновых портфелей она щеголяла в лучших заграничных шмотках, пользовалась парижской косметикой, у неё было множество прелестных и ценимых женщинами вещиц, недоступных и неведомых подавляющему большинству москвичек. Заметим, что купить что-то подобное в те годы нельзя было ни за какие деньги, нужно было «доставать». Лиле

Брик постоянно «привозили» — не только Маяковский, но в основном Маяковский. Да и сама она ездила за границу — в те времена, когда это было доступно лишь очень узкому кругу. Можно по пальцам пересчитать писателей или художников, которых выпускали на Запад. Многие даже и очень известные и очень талантливые деятели искусства и мечтать не могли о Париже или Флоренции. Лиля Брик входила в узкий круг избранных.

Всё было великолепно, но в 1928 году Маяковский встретил в Париже русскую эмигрантку Татьяну Яковлеву и полюбил её. Чуткая Лиля быстро уловила опасность — случившееся было непохоже на скоротечные романы поэта, которые не влияли на его регулярную дань Брикам (не забудем, что Маяковский кормил обоих «супругов»). Тем более у Лили был надёжный осведомитель в Париже — её родная сестра Эльза Триоле, из-за которой, кстати сказать, Маяковский когда-то и попал в дом Каганов. Дружные сестрички во время революционной бучи поставили, следуя древним традициям своих изворотливых предков, на разных лошадок: Эльза — на западную, Лиля — на советскую. Одна паразитировала на Маяковском, другая — на Луи Арагоне, в конечном счете — на материальной помощи, которую оказывал Советский Союз иностранным коммунистам.

Татьяна Яковлева представляла опасность для обеих; литературное реноме серенькой писательницы Эльзы Триоле тоже в значительной степени держалось на Маяковском. Кроме того, Арагону и другим нужным Эльзе французам он мог через свои связи в Москве сделать много полезного. Женитьба на Татьяне Яковлевой (а дело шло к тому) могла всё разрушить. Дистанцирование поэта от своей «проклятой возлюбленной» отмечают многие авторы. Кто-то этому радовался, кто-то тревожился.

Важно отметить, что отдаление поэта от Лили Брик и его вполне вероятный уход из её шпион-салона совершенно не устраивал «органы». Не устраивал не только в служебном, но и во внеслужебном, в личностном смысле, чего никогда нельзя сбрасывать со счетов. Одно дело — зампред

ОГПУ Яков Агранов (Сорензон) спит с Лилей, а заодно по-свойски общается с Маяковским, что бросает на этого местечкового «куратора русской литературы по линии органов» лестный для него отблеск, возвышает в глазах общественного мнения. А подпустит ли его к себе Маяковский при новом раскладе, захочет ли Татьяна Яковлева садиться с ним за один стол — ещё неизвестно.

Для начала Агранов перекрыл Маяковскому выезд за границу, но это, судя по всем данным, не помогло. А вот таинственная смерть великого поэта в 1930 году «устроила» всё для Лили Брик наилучшим образом. Историки спорят и долго ещё, видимо, будут спорить, было ли это самоубийством, а если это было убийством, то кто убил Маяковского, но здесь речь не об этом. Важно, что никто не опровергает близкого соседства Агранова-Сорензона с трагедией. (Сей мерзавец причастен ещё к смерти Николая Гумилёва и Николая Клюева.) Неоспоримо также участие Якова Сауловича в главном элементе всей комбинации — в том, что Лиля Брик, не имея на то никаких законных оснований, сделалась основной наследницей Маяковского. Она стала получать и получала до конца своей долгой жизни львиную долю гонораров за бесконечные переиздания его сочинений, за «присутствие» в бесчисленных книгах о нём.

Лиле Брик было тогда 38 лет. Известно, что разврат никого не красит, и не удивительно, что сексуальная маньячка быстро теряла физическую привлекательность. Вскоре её увидит — единственный раз в жизни — Анна Ахматова и скажет как припечатает: «Наглые глаза на истасканном лице». Но есть-пить-наряжаться-шиковать, разумеется не работая, Лиле Уриевне хотелось как прежде. Она сумела выжать максимум из незаконно доставшегося ей наследства. И не только в чисто денежном смысле. Близость к Маяковскому стала её охранной грамотой. Сажали и расстреливали её мужей и любовников, но «музу Маяковского» никто не трогал.

Много лет спустя Борису Пастернаку досталось за неосторожную фразу о том, что Маяковского стали насаждать

искусственно, как картошку при Екатерине. И Пастернак, и автор этой статьи очень любят великого Маяковского, но доля истины в замечании Бориса Леонидовича есть. Только надо понять, что цель визгливых охранителей Маяковского, которому не могли повредить ничьи успехи, лежала вне интересов русской литературы и состояла в том, чтобы сохранить позиции Лили Уриевны на книгоиздательском рынке, иначе говоря — её доходов.

Современный читатель должен помнить, что всё это происходило в СССР с его централизованной системой, где одна рука верстала планы, а значит и делила прибыли в определенной сфере государственного бизнеса. Например, в то же самое время рынок детского книгоиздания был в значительной степени захвачен кланом Самуила Маршака. В издательстве «Молодая Гвардия» ходили тогда по рукам стишки о том, что «Бумага вся ушла сполна / На Михаила Ильина / И на Сегал, его жену, / Сиречь Наталью Ильину, / И до последнего листка / На Самуила Маршака... / Вот так мы уложились в график; / Всех остальных, кто пишет, — на фиг!» В стихотворении назывались родственники Маршака, не единственные из подвизавшихся при литературе. Ну, а монополия Лили Брик была прикрыта сталинскими словами о том, что Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Если из-под этой цитаты убрать дату, её можно ещё долго кормиться.

Надо также сказать о том, что такой подход был очень удобен советским начальникам, особенно местным. Какой-нибудь малообразованный выдвиженец вдруг оказывался перед необходимостью принять под свое руководство издательство. И он сталкивался с мучительной для него задачей выбора — кого издавать. Трудно решить эту задачу, коль сам неучен и читать неохоч. А выбирать следует безошибочно, ошибка может стоить кресла, а то и головы. Поэтому издавать надо проверенных авторов. Возьмём поэзию. Кого товарищ Сталин назвал лучшим и талантливейшим, того и издадим. А если сам не знал этой цитаты — завотделом культуры подскажет...

Лиле Брик очень нравилась, потому что была очень выгодной, её монополия на Маяковского. Она ей льстила, она давала ощущение причастности к большой литературе; приглашение на юбилейный вечер, предложение дать хоть несколько строк в газету — во всем этом она купалась. Но такое положение могло существовать только при монолитной советской системе. Чуть начиналась слабинка — и возникала угроза её авторитету, её официально признанному главенству в окружении покойного классика. Поэт Смеляков осмелился выразить недовольство тем, что вокруг Маяковского вертелись «эти оси и эти лили». Лили дала сигнал — и поднялся несусветный вой. Конечно, слово не воробей, вылетело слово, но ходу ему не дали. Высунулась с мемуарами художница Лавинская, попыталась рассказать, кем Лилия в реальности была для Маяковского — замолчали публикацию, облаяли художницу, заткнули глотку.

В 1968 году в «Огоньке», издававшемся тогда миллионными тиражами, В. Воронов и В. Колосков опубликовали очерк, из которого широкий уже читатель мог многое узнать о подлинной роли Лили в судьбе Маяковского. Друзья Бриков организовали бурную кампанию в её защиту. Авторы очерка оскорбляли по-чёрному. Особенно неистовствовал ныне забытый, а тогда влиятельный поэт Павел Антокольский. Он и «Оду» стихотворную (вернее, рифмованную) об этом написал — как всегда, бездарно, но очень гневно. В запале Павел Григорьевич даже назвал Лилю «женой поэта» (Маяковского), что смутило более хладнокровных её поклонников, и они отсоветовали публиковать «Оду» (она появилась в печати лишь спустя два десятилетия).

Долгожителю Антокольскому довелось ещё раз броситься на защиту Лили Брик, к тому времени уже покойной (она ушла в мир иной в 1978-м), когда Станислав Куняев предал гласности её причастность к агентурной работе ОГПУ. Но это уже были времена перестройки, и заткнуть глотку покусившимся на репутацию ранее неприкасаемой авантюристки не удалось. Поначалу я думал, что

необычайная горячность Антокольского, который допуская не только грубую брань в адрес оппонентов, но и отрицал сам факт работы Лили Брик на ОГПУ (он писал, что удостоверение агента ей выписали «просто так»!), вызвана тем, что молодой тогда поэт испытал на себе силу её чар, которые действовали на многих мужчин (не на всех, но — на многих). Но в 2007 году были преданы гласности сведения о том, что сам Антокольский был стукачом (об этом поведал его бывший литературный секретарь, ныне живущий в эмиграции). И стало понятно, почему так усердствовал Антокольский, защищая Лиллю Брик «от наветов» — боялся, что завтра разоблачат и его самого.

Ну что ж, это можно понять, а тем более понять позицию тех, кто некогда бывал не только в салоне Бриков, но и в лилиной постели. Но почему к культуре Лили Брик оказываются причастными люди, которые хотя бы по возрасту не могли иметь ко всему этому никакого личного отношения? Примеров можно привести сотни, ограничусь двумя. «Независимая газета», рецензируя в 2004 году книгу о юбилее радиостанции «Маяк», перечисляет связанных с темой «известных деятелей отечественного искусства...» Вот лишь некоторые из этих имен: «Свиридов, Хачатурян, Товстоногов, Андроников, Лиля Брик и другие». Несоизмеримость последнего имени с другими бьёт в глаза нормальному человеку. Другой пример. В 1980-х или в 1990-х годах начала выходить серия пластинок под титлом «Лучшие песни о главном» (о любви). Разработано было и типовое оформление, построенное всё на той же фотографии Лили Брик работы Родченко, который и был водружён на здание «Известий». Основную массу покупателей этих пластинок составляла, естественно, зелёная молодежь. Я спрашивал очень многих из них, и ни один не знал, что за женщина изображена на конверте. Но если звёзды зажигают, говорил Маяковский, значит это кому-нибудь нужно.

Кому же? Бывает, что культовой становится женщина, пусть никакими заслугами не отмеченная, но блиставшая красотой. В данном случае ничего такого нет. Хотя и ординарной внешность Лили Уриевны не назовешь.

Один мой знакомый художник, никогда не интересовавшийся кругом Маяковского, да и самим этим поэтом, случайно увидел у меня портрет Лили Брик и спросил, а нет ли у меня других её изображений. Я нашел несколько фотографий. Художник долго смотрел, потом воскликнул: «Вот с кого писать дьявола!». Ещё раз замечу — мой приятель страшно далёк от проблем, затронутых в этой статье, и ни под чьим влиянием в своей оценке находиться не мог. А ведь он повторил то, что было уже не раз сказано на протяжении нескольких десятилетий разными людьми, и прежде всего, как ни странно, — самим Маяковским. «Ямами двух могил / вырылись на лице твоём глаза», — это он написал ещё в молодости. И потом не раз выходили из-под его пера подобные образы. Напомню лишь одно страшное четверостишие:

Если вдруг подкрасться к двери спальной,
перекрестить над вами стёганье одеялово,
знаю —
запахнет шерстью паленной,
и серой издымится мясо дьявола.

О нет, я не собираюсь объявлять поклонниками сатаны всех, исповедующих культ Лили Брик, хотя полагаю, что есть и такие. Главное, на мой взгляд, в ином, точнее — в несколько ином. По моему глубокому убеждению, Лили Брик — вдохновляющий пример и образец для всех паразитов, для всех пиявок. Разумеется, она не единственная женщина с таким менталитетом и с такой судьбой, но вряд ли найдешь другую пиявку, которая бы прожила свою жизнь столь «артистично». Есть, правда, ещё одна удивительная история такого рода, когда «пиявка» с помощью родственников, служивших в «органах», спихнула в пропасть ГУЛАГа жену одного из виднейших деятелей русской культуры XX века и заняла её место, но об этом — в другой раз. Вернёмся к нашей «героине». В принципе она могла бы присосаться к богатому торгашу или к высокопоставленному лицу, но, согласитесь, ни одна наркомовская

жена (не говоря уж о наркомовской подруге) не жила среди сплошного праздника, как Лиля Каган-Брик. Что ни говори, а она вращалась не только среди высоких чинов спецслужб и других ведомств, но и среди писателей, артистов, музыкантов, а это интереснее и престижнее.

Кроме того, эта женщина — блестящий пример того, как можно сохранить свое пивачное положение при всех поворотах истории. Маяковский был её кормильцем в суровые годы гражданской войны — он ведь был одним из немногих писателей, сразу же сделавших ставку на новую, советскую власть и приближенных к ней. После его гибели положение поэта в писательской табели о рангах только упрочилось, упрочилось соответственно и положение Лили. Не ухудшилось оно и в «оттепель», более того — Лиля сумела несколько дистанцироваться от «сталинизма», хотя кто-кто, а она была всем ему обязана. Старая гепеушница сумела приманить к себе фрондирующих молодых людей наподобие поэта Андрея Вознесенского. Осознав, что «теперь не сажают», она стала покусывать руку, которая сорок лет кормила её. И этим дала вдохновляющий пример кое-каким ветеранам соцреализма, которые своими чуткими торгашескими носами-локаторами унюхали, что подходит пора ставить на других лошадок. Если уж Лиля Брик «противостояла официозу», если уж она «постоянно жила под угрозой репрессий», если ей «слова лишнего не давали сказать», если она «страдала под железной пятой тоталитарной системы», то что уж о других говорить... Дрожали! Недоедали! Мучились! Много об этом понаписали толстомордые страдальцы на своих переделкинских дачах.

Лиля Каган-Брик чуть-чуть не дотянула до перестройки, когда — это стало символом — режиссёр Марк Захаров перед телекамерой сжёг свой партбилет. Лиля могла бы его переплюнуть и сжечь своё удостоверение агента ОГПУ. Уже будучи на том свете, она одержала ещё одну победу. Братия перевёртышей причислила её к лику своих святых. Было выпущено несколько вариантов её жития, один другого лживей. Пока дело не дошло до памятника

(не сомневаюсь, что этот вопрос будет поставлен), но, как говорилось в самом начале статьи, лик её уже был поднят в небо над русской столицей. Боритесь хоть за что угодно, дерзайте, творите, работайте, работайте и работайте, как бы говорит он, а я и такие, как я, будем на вас паразитировать; из тринадцати томов Маяковского минимум десять пошло на наше пропитание, пропитание Лили с Осей; мы, пиявки, неохочи добывать пищу, мы пьём готовую кровь, вашу кровь, дураки; пили и будем пить.

Вот в чём, на мой взгляд, заключается смысл появления портрета Лили Каган-Брик над Страстной площадью, на дверях книжного магазина, в агитационных материалах, на конвертах грампластинок, наконец, но, как говорится, не в последнюю очередь — в радио- и телепередачах о ней, в регулярном издании всё новых и новых книг о прославленной пиявке. Прилагаются огромные усилия для того, чтобы внедрить её имя в массовое сознание, причём внедрить как «светлый образ большой любви поэта». Пусть большинство будет знать только это. Кому надо — тот будет понимать и тайный смысл культа.

ЧТО ПОЗВОЛЕНО ПОЭТУ

НЕМНОГО ОБ ЭТИКЕ

Поэт, конечно, имеет право на жёлтую кофту. Его эстетические представления очень часто отличаются от общепринятых. (Очень часто, но не всегда. Например, Томас Манн в рассказе «Тонио Крёгер» дал блестящее обоснование того, что художник не имеет права на вольности в поведении, даже в костюме; многие придерживаются такой линии, и, на мой взгляд, правильно делают.) Но есть нормы этические, которым следуют (должны следовать) все. Причём, как представляется, с поэтов спрос должен быть строже, чем со всех других. И тем неприятнее, когда поэт, в особенности известный, эти нормы попирает.

В «Четвёртой прозе» Осипа Мандельштама удивило меня описание молодого тогда филолога, впоследствии ставшего академиком Дмитрия Благого. «В Доме Герцена, — пишет Мандельштам, — один молочный вегетарианец, филолог с головёнкой китаец — этакий ходя, хао-хао, шанго-шанго, когда рубят головы, из той породы, что на цыпочках ходят по кровавой советской земле, некий Митька Благой, лицейская сволочь, разрешённая большевиками для пользы науки...» и т. д.

Прежде всего я не уловил связи между Д. Благим и Китаем и обратился к лично мне знакомым родственникам к тому времени уже покойного филолога. Очень просто, объяснили мне, Дмитрий Дмитриевич внешне был

похож на китайца. И текст Мандельштама предстал предомной во всём своём густопсовом хамстве. Грубое высмеивание внешности человека недопустимо, учили нас ещё в школе. Недопустимы и оскорбительные замечания по поводу его национальных признаков, действительных или мнимых. Вряд ли либеральной интеллигенции понравилось бы, если бы Мандельштама из-за кривого носа обозвали жидовской мордой. Но когда Мандельштам употребляет оскорбительную для китайцев кличку «ходя», это почему-то не вызывает возмущения у самых чувствительных либералов.

Совершенно недопустимо и такое выражение Мандельштама по адресу Благого, как «лицейская сволочь, разрешённая большевиками». Это попрек выходцу из высших слоев, пошедшему на советскую службу. Но разве не таким был сам поэт? Он, как мы знаем, из очень богатеньких, учился в самом дорогостоящем учебном заведении дореволюционного Петербурга, в Тенишевском училище (там же учился и Набоков), а после революции был ответработником по линии Наркомпроса. Как любимец Луначарского, имел в самое голодное и в самое кровавое время спецпайки, ездил в спецвагонах, словом, был «большим пурицем», как пишет его израильский биограф Аркадий Львов. Так что неприлично недавнему ответственному товарищу попрекать бывшего лицеиста, ставшего советским учёным.

А на соседней странице автор «Четвёртой прозы» выдаёт ещё один хамский перл. Рассказывая о своем желании поехать в Армению, Мандельштам пишет, что он бы «радовался, как татарин, укравший сто рублей». Ну ни хрена себе! Видно, Осип Эмильевич сам себя произвел в Юпитеры, оставив всех остальных в быках, которым хамство не дозволено. Не раз излагал я эти свои соображения поклонникам Мандельштама, и никто из них (ни один!) не увидел в словах своего кумира ничего зазорного.

Второй пример тоже связан с деликатным национальным вопросом. В 1937 году молодой поэт Павел Коган (чьё «Бригантину» через четверть века «дети XX съезда»

сделают чуть ли не гимном хрущёвской «оттепели») написал стихотворение «О пошлости».

У каждой ночи привкус новый,
Но так же вдребезги храпят
И спят, откушав, Ивановы,
В белье, как в пошлости, до пят.
А я один. Живи в пустыне.
Иди, главы не нагибай,
Когда бараньим салом стынет
Их храп протяжный на губах.
Куда идти, куда мне деться
От клизм, от пошлости, от сна!..

Далее поэт многословно описывает, как «пошлость» меняет обличья, и заканчивает опус такой строфой:

Иди, доказывай алиби,
Алиби сердца, или вот —
Вполне достаточный калибр
Мелкокалиберки «франкот».

Как и в случае с Мандельштамом, я не буду касаться здесь ни политических, ни эстетических представлений Когана, ни его невысокого поэтического мастерства. Но меня шокирует его русофобское хамство. Пылкие поклонники Когана, мечтавшего о победе Коминтерна и готового пасть за мировую революцию на улицах западноевропейских городов, не раз доказывали мне, что «Ивановы» — это-де первая подвернувшаяся фамилия, рифмующаяся со словом «новый». Могли быть Смирновы, Красновы, Жирновы, Грязновы и т. д. Это всё, конечно, вздор. Коган не мог не знать, что Иванов — это символическое обозначение русского человека. Не буду лукавить, особо шокирующим представляется то обстоятельство, что это написано евреем. В связи со сказанным вспоминается незабываемый пассаж из романа Константина Симонова «Живые и мёртвые»: «Как моя фамилия, спрашиваешь? На моей фамилии

вся Россия держится. Иванов моя фамилия. Запиши или так запомнишь?»

И ещё в подобных спорах мне не раз говорили, что, дескать, неэтично подвергать критике поэта, павшего на Великой Отечественной войне (Коган) или ставшего жертвой репрессий (Мандельштам). И не только, разумеется, в частных разговорах. Помню, когда впервые в печати появилось резко отрицательное суждение о русофобских виршах Джека Алтаузена, в его защиту тут же выступил Павел Антокольский. Мол, если и был грех у Якова Моисеевича (Алтаузена), он смыл его кровью, гибелью на фронте. Возражение, на мой взгляд, несостоятельное и лукавое. Не каждый раз, читая стихотворение, читатель имеет перед глазами сведения об авторе. Да он и не обязан ими интересоваться. А яд мерзкого стишка продолжает отравлять души. Нет, гибель на фронте не снимает вины с поэта-руссофоба, так же как смерть в ГУЛАГе не возводит в ранг русского классика Бабеля или Пильняка.

В 1994 году издательство «Школа-пресс» в серии «Круг чтения: школьная программа» выпустило массовым тиражом толстый том сочинений малоизвестного широкой публике Михаила Зенкевича (1886–1973). «Эта книга — открытие», — начал своё объёмистое и восторженное предисловие ныне забытый, но тогда влиятельный поэт Лев Озеров (Гольдберг). Далее он заявил, что Зенкевич — последний поэт Серебряного века (о Боже, скольких людей возводили в это звание, сколькие сами себе его присваивали! — Ю. Б.), стоит в одном ряду с Гумилёвым, Мандельштамом, Ахматовой. Конечно, ярый демократ Лев Адольфович уделил большое внимание (писал ведь для школьников) страданиям акмеиста-долгожителя при тоталитарном режиме. «Михаил Зенкевич, — взволнованно писал Озеров, — чудом избежав тюрьмы и ссылки, не избежал мучительных лет напряжённого ожидания расправы, державного проклятия, слежки, негласной опалы. Он был обречён, как и многие другие, на молчание и работу для ящиков письменного стола. Поэт томился, жил в постоянном предчувствии катастрофы, и, надо

полагать, немало его рукописей исповедального характера было уничтожено».

Ну что ж, Гольдберг-Озеров, как и все другие, имеет право на предположения. Но при этом негоже замалчивать факты, не обращать на них внимание юных читателей. А факты таковы, что всю свою долгую жизнь Михаил Зенкевич прожил профессиональным литератором, и ни на заводах, ни в скучных конторах не работал. Чем же питался притаившийся в своей щели акмеист? Об этом Озеров не пишет. И ещё одна цитата из его статьи: «В первый месяц войны семья поэта (жена и двое сыновей) была эвакуирована в г. Чистополь на Каме, сам Михаил Зенкевич жил там осенью 1941 года до вызова в конце декабря в Москву политуправлением Красной армии. Хотя поэт не был признан годным к военной службе, он рвался на фронт и неоднократно выезжал в действующую армию с чтением своих стихов. В Москве деятельно сотрудничал в журнале „Интернациональная литература“, выступал по радио и на вечерах поэзии, готовил сборники переводной антифашистской поэзии. Самое крупное произведение военных лет — неопубликованная поэма „К Сталинграду от Танненберга“ (1943)...».

Почему-то Озеров не счёл нужным пояснить школьникам, что в Чистополь по приказу «злого» Сталина была эвакуирована большая группа московских литераторов, среди которых были и знаменитости (Пастернак или Цветаева), и мало кому ведомые (Зенкевич и др.). Все они были устроены по понятиям того времени неплохо, все были снабжены продовольственными карточками, получали дополнительные пайки, никто не голодал. Говорю об этом со знанием дела — я и сам был в эвакуации недалеко от тех мест, моя тетушка ездила по делам в Чистополь и рассказывала, как хорошо власть позаботилась о писателях. Примечательно, что простой народ воспринимал это как должное: писатели, мол, люди особые, заслуженные, им положено.

В толстом томе Михаила Зенкевича лишь одно стихотворение 1941 года помечено Чистополем и датировано 9 ноября:

Вот она — Татарская Россия,
Сверху — коммунизм, чуть поскобли...
Скулы-желваки, глаза косые,
Ширь исполосованной земли.
Лучше бы ордой передвигаться,
Лучше бы кибитки и гурты,
Чем такая грязь эвакуаций,
Мерзость голода и нищеты.
Плач детей, придавленных мешками,
Груди матерей без молока.
Лучше б в воду и не шею камень,
Места хватит — Волга глубока.
Над водой нависший смрадный нужник
Весь загажен, некуда ступить,
И под ним ещё кому-то нужно
Горстью из реки так жадно пить.
Над такой рекой в воде нехватка,
И глотка напиться не найдёшь...
Ринулись мешки, узлы... Посадка!
Давка, ругань, вопли, вой, галдёж...

Каким же омерзительным человеком предстаёт из-за строк этого стихотворения его автор! Не по своей воле он, может быть, впервые в жизни, оказался в российской глубинке и брезгливо отряхивает свои белые ручки. Оскорбив попутно и татар, которые дали ему приют на своей земле. И не сказав ни слова о причинах своего появления здесь. Кстати, поэт мог бы остаться в Москве, никто ведь не неволил. (Правда, в наше время бесконтрольных публикаций о чём угодно находятся малограмотные бабёнки, наподобие некоей Марии Вуль, которая брякнула в журнале «Биографии», что Цветаеву «выслали» в Чистополь; не эвакуировали, а выслали. И ещё. Как известно, одна ложь порождает другую. Возможно, брехня госпожи Вуль подвигла современного китайского поэта по имени Ши Бинь написать в стихотворении о Цветаевой, что она «была в ссылке».)

Бог мой, да как же по-разному люди воспринимали тяготы того времени! Один крупный советский ученый (связанный

словом, не могу назвать его имя), опасаясь того, что немцы уничтожат Россию и память о русской культуре исчезнет, переписывал (на память, книг не было) стихи русских поэтов и замуровывал их в тайнике над речным берегом; когда-нибудь, надеялся он, рукописи найдут при археологических раскопках. Это было совсем недалеко от того места, где Зенкевич писал «в стол» паскудный стишок о «Татарской России».

А тот самый береговой нужник, о котором упомянул Зенкевич, достоин строки в истории русской поэзии. Дело в том, что Борис Пастернак, мучаясь тем, что Родина изнемогает в борьбе со смертельным врагом, а он уютно устроен в тыловом Чистополе, добровольно взялся очистить тот самый нужник — ломом вырубал смерзшиеся человеческие отходы.

Что читал Зенкевич на выездах в действующую армию, не знаю. Наверное, вот это:

Товарищи артиллеристы,
Что прочитать я вам могу?
Орудий ваших гул басистый —
Гроза смертельная врагу...

И так далее и тому подобно, многословно, скучно и бездарно. В блистательную поэтическую антологию «Русские поэты о Великой Отечественной войне» Михаил Зенкевич не вписал ни одной строки. А фигой в кармане лежали в его кухонном схроне «исповедальные стихи». Если, конечно, верить Льву Адольфовичу Гольдбергу-Озерову.

На переломах истории всегда становится явной цена человеческой морали, и поэты здесь не исключение. На наших глазах целые банды литературной и прилитературной шпаны бросились гадить на наше прошлое. Чего стоит хотя бы название похабной телепередачи — «Про это», взятое из целомудренной поэмы Маяковского. Автор «идеи», сообщалось в титрах, некто Леонид Парфёнов. А какая вакханалия творится вокруг гимна! Нет ни малейшего желания перечислять имена изгаляющихся над ним подонков...

Но может быть я и мне подобные — просто отсталые немолодые люди, сформировавшиеся в тоталитарном

обществе, а на цивилизованном Западе хамство под именем плюрализма вполне допускается? Отнюдь. Много лет в числе кумиров французской молодёжи был Серж Гинсбур — актер, поэт, певец, композитор, аранжировщик, видный тусовочник и даже законодатель моды (от него пошло представление, будто трехдневная щетина на лице мужчины — это шикарно). Так вот, этот великовозрастный мальчик шалил-шалил и дошалился до того, что аранжировал французский национальный гимн «Марсельезу» в ритме рэпа. Вскоре после этого он получил письмо от группы офицеров-десантников, пригрозивших ему «разобраться» за хулиганство с гимном. Серж наложил в штаны, и, чтобы отмыться, купил на аукционе за очень большие деньги один из вариантов рукописи «Марсельезы», каковой и передал в дар национальному музею.

Конечно, я далёк от мысли осуждать то, что русские офицеры не грозят нашим «гинсбурам» за глумление над гимном, над именами наших великих полководцев, над историей Великой Отечественной войны и её песнями, над формой Советской армии и прочими символами. У меня нет права на такое осуждение. Я ведь учитываю, что выступать против этих глумлений в современной России — это значит бросить вызов силе, которая страшнее той, что щерилась на душманских тропах Афганистана. И что перед этой силой, как все мы хорошо знаем, тушуются маршалы и главкомы, что уж говорить о лейтенантах и полковниках.

Я просто хочу сказать: молодцы французы, ох какие молодцы. И добавить — по горячим событиям последних дней: молодцы китайцы, которые массами выходят на акции протеста против лживых книг о войне, изданных в Японии. Может быть, и мы возьмёмся за ум? С кем разбираться — хорошо известно. Что касается женщин наподобие писательницы Татьяны Толстой, то бить их, конечно, было бы отступлением от правил, а вот вымазать в смоле и обвалить в перьях — вполне допустимо.

МАРИЭТТА СЕРГЕЕВНА «НУТРОМ ЧУЕТ»

НЕВЕЖЕСТВО И НАГЛОСТЬ «ЭРУДИТКИ»

Дело было на коктебельском пляже, не помню точно, в каком году, да это и не важно. Одна молодая женщина из компании взяла, как говорится, не ту ноту — заговорила высокомерно, тоном презрительного превосходства. Её кто-то мягко пытался поправить, но ничего не вышло — дамочка завелась ещё пуще и в конце концов заявила что-то вроде: куда вам со мной тягаться, вы знаете, из какого я рода, и назвалась (я за давностью лет забыл) то ли внучкой, то ли племянницей писательницы Мариэтты Шагинян. Сейчас-то её практически забыли, а тогда это имя было на слуху у читающей публики (а собралась именно такая). Мудрейшая писательница! — помню, воскликнула её родственница, и тогда я с усмешкой сказал: нда, небольшого ума старуха. Представительница «знатного» рода чуть не перевернулась в воздухе: это оскорбление! за такие слова бьют! извольте хоть одно слово в доказательство! и т. д.

Случилось так, что я готов был к спору — незадолго до моей поездки в Коктебель мы с приятелем веселились, вспоминая глупости Шагинян, которой кто-то из юмористов посвятил насмешливые строки «Энциклопедична. Всё познала лично». Начал я с того, что припомнил — недавно

Шагинян написала о том, что в Коктебель не следует пускать простой народ, пусть этот райский уголок Крыма будет заповедником творческой элиты. Естественно, эта информация возмутила всех присутствующих, а родственница бормотала что-то вроде «Мариэтту Сергеевну не так поняли». Затем я припомнил, что перед революцией Шагинян вертелась в декадентском салоне Мережковско-Гиппиус, а затем быстро перековалась в большевичку. Это была эволюция, но, согласитесь, в правильном направлении, — отбивала мои удары родственница. Затем я взялся за «Месс-Менд», самое популярное сочинение старой писательницы. Там описывается, что аристократия вырождается, причём не только нравственно, но физиологически, превращаясь в псов. А кто же приходит к ним на смену? Капиталисты, Рокфеллеры. Мне стали возражать — нет, мол, такого, но я был подкован и указал, что так было в первом издании, а потом «мудрейшая» сообразила, что попала не в ту лузу и переделала Рокфеллера на инженера.

И целиком я повернул всю компанию в свою сторону, рассказав, что в 1935 году Шагинян нагло заявила секретарю Московского комитета партии Щербакову: «Горького вы устроили так, что он ни в чём не нуждается, (Алексей) Толстой получает 36 тысяч рублей в месяц. Почему я не устроена так же?» Тут кто-то из слушателей заметил — смотри-ка, резвая собачонка, прыгает, намереваясь до классиков достать. А ещё один вспомнил, что Горький так отозвался о сочинении Шагинян «Перемена»: «За этот её роман ей следовало бы скушать бутерброд с английскими булавками». Родственницу чуть кондрашка не хватила. Больше она поблизости от нашей компании не появлялась.

...Жаль, мы тогда не знали беспощадного диагноза, который Владислав Ходасевич поставил Мариэтте Шагинян: «В идеях, теориях, школах, науках и направлениях она разбиралась плохо, но всегда была чем-то обуреваема. Так же плохо разбиралась она и в людях и в их отношениях...» И ещё не были сказаны слова Гайто Газданова об «эволюции» «знаменитой советской писательницы»:

«Конечно, всегда будут такие авторы, как Мариэтта Шагинян, которые начинали с того, что писали стихи „В эту ночь от Каспия до Нила / Девы нет, меня благоуханней...“, а кончали книжкой в честь Берии и тем, что всю ночь читала Ленина». А мне через много лет ещё пришлось чуть ли не оправдываться за Шагинян перед деликатными чешскими интеллигентами — их, мягко выражаясь, удивила её книга о Йозефе Мысливечеке, которого она почему-то, видимо, из политических соображений, поставила выше Моцарта, продемонстрировав невежество в музыке. Ну, и, конечно, тогда ещё было далеко до совершенно неприличной истории с теорией астронома Козырева — теории сложнейшей, разобраться в которой могли немногие люди во всём мире. А Шагинян в печати уверенно поддержала эту теорию на основании того, что интуитивно уверена в её правоте (иначе говоря — нутром чувствует). После чего группа ведущих астрономов также в печати заявила, что такого уровня «поддержка» со стороны «некомпетентных личностей» (именно так было сформулировано в той публикации) лишь компрометирует научное обсуждение проблемы.

И ещё Шагинян съездила в Париж, после чего разразилась оскорбительной статьёй в адрес великой французской певицы Эдит Пиаф. Съездила и в Италию, после чего рассказала о блистательной организации труда на автомобильном заводе «Фиат». А итальянская компартия выразила по этому поводу протест — советская писательница воспекает потогонную систему, против которой борется рабочий класс. И т. д. и т. п. Но всё это, к счастью, в прошлом.

Да, как писательница покойная Шагинян практически забыта. Но славословия в её адрес продолжают, недаром ведь изобрели Интернет. Не знаю и не хочу знать, кому это надо. А в завершение скажу лишь о том, что кроме эрудиции прославляется нравственность и скромность «классика советской литературы». Насчёт нравственности хорошо свидетельствует такой факт: когда расстреляли Гумилёва, Шагинян «административным путём» выселила его вдову и вселила в гумилёвские комнаты своих родственников. «Фанаты» Шагинян при этом

оговариваются — не из подлости, а как обычно — с размаху, из-за «путаницы в голове». Уточним: речь идёт о знаменитом Доме Искусств, где в то страшное время находили приют многие писатели и художники. Но ведь не за кого-то из них хлопотала Шагинян, а за своих родственников. Какое ж тут, к чёрту, «без подлости», какая «путаница в голове»?!

И насчёт скромности. Жила, мол, неприхотливая корифейка в небольшой квартирке на Арбате. И не пишут о двух её дачах — одна была в Переделкино, другая в Коктебеле. Не хило для скромницы, правда?

ПРОСВЕТА ПОКА НЕ ВИДНО

Некто Борис Камянов, русскоязычный стихотворец, откочевавший в Израиль, вспоминает о своей жизни среди коренного населения нашей страны как о сплошной пьянке. Мемуар завершается такой строфой:

Всю-то жизнь я с ними вместе,
В тьме, в блевотине, в говне,
В радости, в гостях у тестя,
В доме, в городе, в стране.

Его ненависть ко всему русскому не минует даже похорон («дикие обряды», по его мнению). Другой графоман, Александр Бараш, вспоминает о России как о «полу-Азии, четверть-Европе, четверть черте чего» (орфография автора), а о Москве как о «стольном гробе». Ещё один из беглых, Лев Лосев (он же Лифшиц) не понимает, какая может быть ностальгия по России:

Прекрасно! Ностальгия по сивухе!
А по чему еще — по стукачам?
По старым шлюхам, разносящим слухи?
По слушанью «Свободы» по ночам?
По жакту? По райкому? По погрому?

И т. д. и т. д. А вот некто Юрий Колкер: «Россию, как кошмарный сон, нельзя пересказать». Александр Межиров,

некогда известный в СССР и срубивший неплохие бабки на стихотворении «Коммунисты, вперед!», пишет, что «Россия вся как плаха / От Ивана Калиты, / Собиратели ГУЛАГа. / На которой я и ты».

Задыхаясь от ненависти, воняя от страха, они бегут из России. Хаим Венгер:

А мы еще не верим в чудо,
Тому, что вырвались оттуда,
Еще сомненья нас грызут:
А вдруг за несколько минут —
Последних самых — перед взлетом
Они нас снимут с самолета
И в каталажку увезут.

Справедливости ради скажу — не все так в лоб. Нина Воронель даже молится за нас, русских:

Но я пишу: О Господи, прости ей
Победный марш по чешским городам!
За череду предательств и насилий,
Заслуженную кару отменя,
Не накажи и сжался над Россией,
Отторгнутой отныне от меня!

Вот какая добрая Нина Воронель! Даже просит отменить заслуженную нами кару.

И всё же у некоторых — без всякой иронии — находятся в наш адрес и нормальные, человеческие слова. Например, у Юлии Неман. Не могу удержаться и не привести полностью её стихотворение

РОССИИ

Да не ты ли руками чистыми
Нас поила водой живой?!
Вместе с Пушкиным, с декабристами
Он по смерти во мне — голос твой.

Пусть по паспорту — инородка я,
Не твоя ли во мне печаль?
Не в тебя ли я — сердцем кроткая
И гневливая — не в тебя ль?!
Одного мы бога и дьявола.
Это помню. Этим горжусь!
Сколько б сору вокруг ни плавало,
Ты ни в чем не повинна, Русь!

Но таких мало, очень мало. В подавляющем большинстве они выплещивают в стихах широкий спектр негатива — от неприкрытой ненависти до брезгливой неприязни и ядовитых насмешек. Они — это авторы сборника «Свет двуединый. Евреи и Россия в современной поэзии». Составитель — Михаил Грозовский, под редакцией Евгения Витковского — из серии «Поэтическая библиотека», издательство АО Х.Г.С. В сборнике рядом с такими известными поэтами, как Липкин, Лиснянская, Бродский, представлены нивесть откуда выкопанные рифмоплёты Яков Зугман, Ефрем Баух, Наум Сагаловский, Евгений Вензель, Риталий Заславский, Давид Шраер-Петров и т. д. и т. п., причём стихи откровенно плохого качества в сборнике явно преобладают.

Между тем редактор книги Евгений Витковский делает странное, на мой взгляд, заявление: «Не надо удивляться тому, что многих знаменитых в русской поэзии евреев в этой книге нет совсем. Их волновало что-то другое. Здесь только те, кто и зван, и избран. Те, кто заговорил». Избран, надо полагать, Михаилом Грозовским. Заговорил о чём — о неприятии России, о ненависти к ней? С какой целью оставлены за рамками книги неназванные по именам знаменитости и допущены, избраны графоманы? Чтобы повесить градус ненависти?

Конечно, Михаил Грозовский смотрит на еврейский вопрос изнутри, а я — снаружи, но это не значит, что «ему виднее». И я считаю необходимым чётко заявить: у меня иное представление о настрое российских евреев, нежели у Михаила Грозовского. За свою долгую жизнь, да тем более прошедшую в Москве, где процент еврейского населения

значительно выше, чем в среднем по России, мне довелось много общаться с его соплеменниками. Исходя из своего опыта, я считаю, что евреи в целом вовсе не так злобно настроены к России и к русским людям, как большинство авторов сборника «Свет двуединый». Конечно, каждый имеет право на своё видение и мне не придёт в голову корить Грозовского по поводу того, что он включил в книгу графомана А. и не включил поэта Б.

Тут бы и поставить точку, если бы не одно «но». И заключается оно в том, что, по моему глубокому убеждению, позволенное поэту не позволено комментатору. А комментаторы сборника — люди известные. Это уже упомянутый Евгений Витковский, написавший предисловие, автор солидного по объёму послесловия Лев Аннинский и Вадим Кожинов, чья «реплика в русско-еврейском диалоге» завершает книгу. Не знаю и знать не хочу, сознательно ли Аннинский дезинформирует читателя или просто проявляет невежество, когда настойчиво утверждает, будто русских и евреев связывает всего двести лет «яростного и темного сожительства». Вторит ему и Витковский. Между тем в том же сборнике Семён Липкин пишет:

Четыре, как будто, столетья
В империи этой живём.

Кто же прав — Липкин или Аннинский? Да ни тот, ни другой. «Тёмное и яростное сожительство» длится уже более тысячи лет. И это не просто поправка в цифре. В течение вычеркнутых Аннинским веков произошли события исключительно важные для судеб обоих народов, существенно повлиявшие на их менталитет. Для краткости не будем говорить о веках, предшествовавших даже крещению Руси, в частности, о той роли, которую играли евреи, особенно пражские, в славянской работорговле. К слову — доводилось мне говорить на эту тему с негритянскими националистами из США и они удивлялись, почему русские «простили евреям грех работорговли» (у них самих развит «исторический антисемитизм» — афроамериканцы не забыли, что

в основном евреи везли чёрных рабов из Африки в Америку). Но странно, что Аннинский ничего не знает ни об истории восшествия Владимира Мономаха на киевский престол, ни о той роли, которую играли евреи во время длительной оккупации поляками земель, ныне называемых украинскими. Видимо, не читал ни Соловьёва, ни Костомарова.

Незнание истории и привело, я полагаю, к тому, что в сборнике «Свет двуединый» повторяется шаблонная деза многих книг — в нём нет и намёка на принцип взаимности в отношениях двух наций и евреи выступают лишь в «страдательном падеже». Якобы погромы и все прочие напасти обрушиваются на них, бедных, без всяких причин — по врождённому юдофобству русских. «Вглядись — и в лицах вежливых и гибких погромщик ярый выступит на миг» — пишет Ефрем Баух. А вот перл бардессы Вероники Долиной:

Ведь смолчишь, страна огромная,
На все стороны одна,
Как пойдёт волна погромная,
Ураганная волна?

При таком перекосе удивляет, что респектабельный Вадим Кожинов расценил эту книгу как «диалог». Правда, в числе авторов несколько неевреев, но они как бы поддакивают и со всем соглашаются. Конечно, диалог не обязательно означает полемику, но предполагает хоть какую-то разницу в позициях собеседников. В сборнике ничего подобного нет. В результате изображение совместно прожитых веков как непрерывное битьё милого, ни в чём не повинного еврея русским злодеем ведёт лишь в тупик отчуждения. Что касается сборника «Свет двуединый», выбор тут невелик. Надо либо молча сносить густопсовое русофобское хамство, на что уважающий себя литератор вряд ли согласится, либо вести разговор в том же тоне, что также невозможно по той простой причине, что в русской поэзии юдофобии нет. Можно, конечно, выловить какие-то отдельные строки-намёки, но ничего подобного

патологической национальной ненависти какого-нибудь Зугмана или Маркиша у нас просто нет. Потому что эта тема нас, как говорится, «не трясёт». Разумеется в русской среде кто-то сочиняет антиеврейские стишки пошиба Зугманов, но они остаются либо в заборном написании, либо в домашнем употреблении. Они не считаются литературной продукцией и не являются издательским товаром. А всякие маркиши могут заработать убогими виршами, лишь бы они были о погромах и ужасах пятого пункта. Как писал в своё время юморист Эмиль Кроткий, «Было у юного гения / Единственное стихотворение / О том, что он видит гонения / На творчество юного гения».

Повторяю ещё раз: к авторам сборника у меня нет никаких претензий. Каждый волен писать что хочет. Ну что сказать по поводу наглости некоего Виктора Шендеровича: «Не знаю, кто меня определил стать раком у российского безрыбья»? Как говорится, хай пишет. Убогий, он возвышается в своих глазах, воображая, что в русской поэзии — безрыбье. Комплекс неполноценности в чистом виде. Как реагировать на наглость некоего Аркадия Штейнберга, чей опус открывает сборник: «Я принял выморочное наследство кольцовских нив и пушкинских дубрав»? Да никак. В конечном счёте за всё отвечает составитель вкупе с редактором. Неужели они не понимают, что сделанная ими книга — это готовое пособие для агитатора-антисемита. Ведь этот гипотетический агитатор вполне мог бы сказать: «Читайте и убеждайтесь, как вас ненавидят евреи!» Между тем как точнее и справедливее было бы сказать: «...как вас ненавидят стихотворцы-евреи, отобранные членом Союза писателей России Михаилом Грозовским».

И о последней «дезе» Льва Аннинского, автора послесловия, которому он дал заголовок «Простывающий свет Агасфера». «Русско-еврейский диалог завершается, — патетически восклицает Аннинский... — Всё: нет больше евреев в России». Думаю, опровергать эту бредятину нет нужды.

О русских писателях

НА ТО И НАПОРОЛИСЬ

ПОЧЕМУ НЕ ПОКАЯЛСЯ В. Г. КОРОЛЕНКО

Владимир Галактионович Короленко (1853–1921) был самым старшим из классиков нашей литературы, кто стал свидетелем крушения старой России и хоть немного да пожил при коммунистическом режиме (Горький, Бунин, Куприн, Шмелёв, Алексей Толстой, Пришвин — гораздо моложе его). Он был свидетелем и участником раннего этапа революционного движения. Он изведал тюрьму и ссылку, где его товарищами были народовольцы, террористы, цареубийцы, безумцы и мечтатели. Близко знавший тех, которые боролись, Короленко успел увидеть и то, на что благодаря им все мы напоролись.

Исключительно важно то, что Короленко по всеобщему признанию был безупречно честным человеком и писателем. В своих свидетельствах (Короленко много занимался публицистикой) он был объективен насколько это вообще возможно. Его сочинениям чужда партийная озлобленность, хотя он не скрывал своих демократических взглядов и отрицательного отношения к романовской монархии. Писателю можно поставить в упрёк отбор фактов, пристрастие к описанию негативных сторон жизни, но никогда под его пером конкретная ситуация или конкретная личность не карикатурируется и во всяком случае сознательно не приукрашивается. Это надо особо подчеркнуть и потому, что в ходе «естественного отбора» временем центральное

место в творческом наследии Короленко заняли его двухтомные воспоминания — «История моего современника».

Эта книга сыграла огромную роль в становлении многих известных мне людей моего поколения, чья молодость пришлась на середину XX века, да и более старших, кто стал читателем в первые советские десятилетия. Особое значение для нас имели, конечно, главы, посвященные тюремно-ссылному опыту писателя. Эти места подобны увеличительному стеклу при взгляде на любое общество, при изучении его плюсов и минусов. Да, мы испытали потрясение, прочитав описание того, как Короленко отбывал ссылку в 1881–1884 годах в самом глухом углу царской империи, в Якутии, в местечке Амга.

Втроём, с двумя товарищами, он занимал отдельный домик с деревянным полом и застеклёнными окнами. По свидетельству его гостей, жильё производило впечатление «уютности, домовитости и чистоты», а сам Короленко — здорового, жизнерадостного человека с хорошим чувством юмора, присущим многим украинцам. Он огородничал, сеял хлеб, пахал, косил, жал; это давалось ему легко — до ареста Короленко был студентом Петровской, ныне Тимирязевской сельскохозяйственной академии в Москве. А ещё он сапожничал. И, что потрясло нас более всего, — свободно перемещался по округе, ходил в гости к другим ссыльным, без ограничений общался с местным населением, переписывался с кем хотел, читал, писал и, наконец (совершеннейшая фантастика для советских людей!) печатался в столичных издательствах под своим именем! Именно в Амге Короленко написал рассказ «Сон Макара», с которого начался его путь в большую литературу.

Естественно, прочитанное у Короленки мы сравнивали с тем, что нам было известно о советской пенитенциарной системе. А известно было многое; кто хотел узнать — тот узнавал. Говорю это в противовес нередко встречающимся утверждениям типа «мы ничего не знали и знать не могли». Эти сравнения прежде всего подрывали веру в тот образ дореволюционной России, который

нам пытались навязать массированной всепроникающей пропагандой. Эти сравнения подрывали веру в один из основополагающих принципов марксистской идеологии — в утверждение, будто существует прогресс. В тюремно-ссылочной системе происходил, как нетрудно было сообразить, почитав Короленко и послушав рассказы очевидцев о «зонах», явный регресс. При царе было лучше, при советской власти стало явно, на много, во много раз хуже. И это на фоне само собой разумевшегося убеждения, что тюремно-ссылочная сфера — это не какой-то отдалённый, узкий сектор современной жизни. Эта сфера может захватить любого. Как ещё в старину говорили, от сумы да от тюрьмы не зарекайся.

Вот эпизод из мемуаров Короленко, характеризующий жизнь «в самом ужасном месте тюрьмы народов». По соседству с ним поселяют нового ссыльного — одного из основателей революционно-террористической организации «Земля и воля» Марка Натансона. Писатель рад его появлению, ведь они были знакомы ещё студентами в Москве. Для Натансона и его жены (!) власть строит новую избушку. «В ожидании окончания работ у их лесной избушки, где им предстояло жить, — вспоминает Короленко, — Натансоны поселились у нас и стали устраивать своё хозяйство. Между прочим, мы приискали им и прислугу (!). Это был старый бродяга, всю жизнь проведший по тюрьмам. Звали его „Иваном 38 лет“. Лет ему было гораздо больше, но как-то его записали таким образом, и с тех пор он застыл на этом возрасте. Был он на все руки мастер... С тех пор Натансоны зажили в своей избушке под шум леса. Впрочем, они часто приезжали к нам и гостили по неделе, оставляя „Ивана 38 лет“ на хозяйстве».

Такой была ссылка в «черные годы реакции» в той самой «тюрьме народов», в том самом «полицейском государстве», да по отношению к одному из самых злобных, самых непримиримых, самых последовательных врагов этого государства, каким был Марк Абрамович Натансон. (Этот негибимый революционер почему-то стеснялся своего отчества и предпочитал, чтобы его величали Марком

Андреевичем.) После «Земли и воли» Натансон организовал и возглавил партию «Народное право». В 1904 году он участвовал в Парижском совещании трёх ветвей антиправительственных сил — «прогрессивной интеллигенции», революционных террористов и национал-сепаратистов, на котором было принято согласованное решение об усилении террора и о желательности поражения России в войне с Японией. В так называемую «первую русскую революцию» 1905 года Натансон перекинулся к эсерам, после Октябрьского переворота организовал группу «революционных коммунистов» и стал членом ВЦИК — уже в 68-летнем возрасте. Помню почти истерический взрыв одного пожилого знакомого, еле выжившего в советской ссылке, в которую он угодил непонятно за что; потрясая томиком Короленко, он говорил сквозь слёзы (кричать в коммунальной квартире было небезопасно), что только глупцы могли сменить добрую царскую Россию на злобный, жестокий, беспощадный СССР...

Странной, неслыханно вольной и либеральной, по нашим понятиям, была и царская тюрьма. «По временам в какой-нибудь камере, — пишет Короленко, — собиралась толпа. Кто-нибудь рассказывал о каком-нибудь эпизоде из недавнего прошлого. Происходили подробные расспросы, порой возникали споры. Особенно запомнился мне один такой разговор. В центре большой камеры на столе сидел, свесив ноги, Зунделевич и рассказывал о знаменитом Липецком съезде, на котором было решено царубийство (в июне 1879 года перед воронежским съездом „Земли и воли» в Липецке состоялось предварительное совещание группы землевольцев, в составе 11 человек, на котором было принято решение убить Александра II и ввести в практику партии террор — Ю. Б.). Зунделевич был человек небольшого роста с окладистой черной бородой... Достаточно было обменяться с ним несколькими разговорами, что-бы увидеть необыкновенную мягкость, даже кротость, сквозившую во всех чертах его лица. Я сблизился с ним тогда же, в Иркутске, и меня поразило, что такие добродушные люди могли принимать такие решения.

Зунделевич рассказывал, что когда был поставлен вопрос: «Должно ли этому царю проститься всё то зло, которое он уже сделал и ещё сделает в будущем?», все присутствующие единогласно ответили «нет», и этим судьба Александра II была решена...

Когда рассказ о съезде был закончен, народник Рогачёв спросил: «Скажите, Зунделевич, что вы имели в виду, посягая на жизнь царя, которого весь народ ещё признавал своим освободителем?». Зунделевич несколько смешался. «Мы думали, — ответил он, — что это произведет могучий толчок, который освободит творческие силы народа и послужит началом социальной революции». «Ну, а если бы этого не случилось, и народ социальной революции не произвел, как и вышло в действительности, что тогда?». Зунделевич задумался: «Тогда... тогда мы думали... принудить...». Рогачёв захохотал искренне и звонко...

Эти страницы Короленко писал незадолго до смерти, в Полтаве, на фоне гражданской войны, военного коммунизма, голода и террора. К тому времени Марк Абрамович-Андреевич Натансон, доживший до осуществления своей мечты, до разрушения Российской империи, и, видимо, решив, что «в этой стране» ему больше делать нечего, успел вовремя смыться и умер в Швейцарии в 1919-м. Уехал вполне легально, более того — Ленин и Свердлов ему настолько доверяли, что поручили вывезти за границу часть партийного общака. Еще раньше, в 1907-м, покинул ненавистную Россию Аарон Исаакович Зунделевич. Обосновался он в Англии, где и умер семидесятилетним в 1923 году, создав себе на Западе имидж ярого врага большевизма, хотя он по праву должен считаться одним из его идейных отцов. А Владимир Галактионович Короленко остался со своим народом.

Недалеко от Полтавы, где жил старый писатель, находился Харьков — тогдашняя столица Украины. Всеукраинскую ЧК, а затем и правительство республики возглавил почему-то иностранец — международный авантюрист Христиан Раковский. Его преемником на посту главного чекиста стал почему-то латыш Мартын Лацис (он

же Ян Судрабс), идеолог красного террора. Это он учил не искать состава преступления, а определять классовую принадлежность человека, на основании которой и принимать решение о расстреле. Всеукраинская ЧК издавала журнал «Красный меч», главный редактор которого Лев Крайний (псевдоним, конечно) писал: «У буржуазной змеи должно быть с корнем вырвано жало, а если нужно, и разодрана жадная пасть, вспорота жирная утроба. У саботирующей, лгущей, предательски сочувствующей внеклассовой интеллигентской спекулянтщины и спекулянтской интеллигенции должна быть сорвана маска. („Лев Крайний“ успел стать главным редактором, но не успел выучить русский язык — Ю. Б.) Для нас нет и не может быть старых устоев морали и гуманности...» Вот бы почитать это тем интеллигентам, что сорока годами раньше свободно дискутировали в тюремных камерах, куда были посажены за подготовку революции!

Ну, а в харьковской ЧК свирепствовал наркоман и садист товарищ Саенко, имя которого в ленинские годы наводило ужас на всю Совдепию. Не было таких изощрённых пыток, которых бы он ни применял, особенно же любил товарищ Саенко в ходе допросов снимать с людей скальпы и «перчатки», то есть кожу с кистей рук. Старались не отставать от столичных товарищей и полтавские палачи.

Короленко не испугался и не замолк. Он продолжал свою миссию народного заступника, а именно в таком качестве он был широко известен в России — в том числе и среди людей, которые не читали его сочинений. Только теперь речь шла не о полицейском мордобое (о, эти зуботычины — невинные шуточки по сравнению с тем, что творится на допросах, которые ведёт товарищ Саенко!) и не о пристрастном подходе суда в каком-нибудь имущественном споре бедняка с богачом. Теперь ему приходилось хлопотать о неслыханном ранее, в романовской монархии, — о семье, взятой в заложники, например. Да, да, совсем недавно это показалось бы сущей дикостью! После убийства Александра II граф Комаровский писал Победоносцеву о целесообразности считать заложниками членов

революционных партий, но «реакционер» и «мракобес» с негодованием отверг саму эту идею. А после «Великой Октябрьской социалистической революции» заложничество было введено по предложению наркома внутренних дел Петровского — того самого, в чью честь коммунисты Екатеринослав переименовали в Днепропетровск. (Потом Петровский впал в немилость и был смещён на третьестепенную должность замдиректора Музея революции в Москве — будучи подростком, я слушал его лекции для школьников. В годы перестройки о Петровском писали слюнявые статейки как о «жертве сталинизма».)

Короленко обращался к полтавским начальникам, неоднократно писал в Харьков самому товарищу Раковскому. Иногда удавалось помочь людям. Но далеко не всегда. В 1920-м в Полтаву заскочил ненадолго ленинский гауляйтер русской культуры Анатолий Луначарский (он же масон Хаимов). Как водилось при гастролях этого позёра и краснбая, устроен был митинг в городском театре. И там Короленко при всём народе попросил могущественного красного вельможу спасти пятерых местных жителей, приговорённых к расстрелу. Нарком пообещал своё всемерное содействие, но назавтра сбежал, оставив писателю записочку: «Дорогой, бесконечно уважаемый Владимир Галактионович! Мне ужасно больно, что с заявлением мне опоздали. Я, конечно, сделал бы всё, чтобы спасти этих людей уже ради Вас, но им уже нельзя помочь. Приговор приведён в исполнение ещё до моего приезда. Любящий Вас Луначарский».

Кроме того, во время этого визита Луначарский предложил писателю обмен открытыми письмами и честным наркомовским словом гарантировал их бесцензурную публикацию в «Известиях». Вот тогда Короленко совершил свой последний гражданский подвиг — написал шесть писем, в которых блестяще обосновал несостоятельность, бессмысленность и бесперспективность ленинской революции. Луначарский слова, конечно, не сдержал. Но и Короленко не был столь наивен и отпечатал письма не в одном экземпляре. Они расходились в списках, эти

шедевры русской публицистики, а вскоре после кончины писателя были изданы во Франции. Советская пропаганда отрицала само их существование, а парижскую публикацию называла белоэмигрантской подделкой. В СССР «Письма» были изданы только после крушения власти компартии.

Есть версия, что бесстрашие Короленко, откровенность его писем, предназначенных для «Известий», настолько встревожили кремлёвских мечтателей, что они помогли писателю поскорее уйти из жизни. Не все исследователи считают эту версию достоверной, но нельзя не согласиться с тем, что смерть Короленко на пороге 1922 года стала для Ленина (а именно он был инициатором затеи с письмами) наилучшим выходом из положения. Нет человека — нет проблемы.

И Короленко был канонизирован как гуманист и демократ, хоть и не поднявшийся до понимания марксистских высот, но несомненный враг царизма и угнетения. Издавались его сочинения, которые постепенно как бы меркли, но всё ярче разгоралась правда его воспоминаний. Издавались они с целью довести до широкого круга читателей историю революционного движения и показать его героев. Но со временем они стали восприниматься как история революционной болезни, поразившей Россию, рассказом о том, как полубезумные фантазёры из недоучившихся студентов и нерадивых местечковых ремесленников высиживали роковые яйца кровожадных драконов, определивших трагическую судьбу нашего Отечества.

Из сказанного не следует, что сам Короленко именно так и воспринимал свои мемуары. Воистину к нему в полной мере можно отнести тютчевское изречение «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется». После революции Короленко призывал ко всеобщему покаянию. Говорил, что в происходящей смуте виновны все, но все же главную вину возлагал на «тупую реакционность» старого режима. И сам он не покался и не осудил в мемуарах своих друзей-революционеров. Так и писал обо всех этих зунделевичах как о добрейшей души человеках, не понимая

или не желая признать, что это они — предтечи лениных и троцких, луначарских и лацисов.

Возможно, проживи он чуть-чуть дольше, он бы пришёл к иному восприятию этих фигур, он бы уловил, что в ГУЛАГ отправляли и по тем самым мотивам, которые Зунделевич и компания применили к царю на Липецком съезде, выставляя обоснованием смертного приговора «зло», которое он может совершить в будущем, что они намеревались «принудить» народ к «социальной революции», а их наследники принуждали к военному коммунизму, к продразверстке, к закрытию и разрушению церквей, к колхозам, к «выводилровке» на заводах, к «добровольной» сдаче значительной части заработка на нужды мировой революции и т. д. и т. п. Но это уже сослагательное наклонение. И, конечно, это не упрёк мужественному писателю.

В конце концов, читатель и без него разобрался в «нашей» революционной истории, в которой события повторялись дважды, но, вопреки Марксу, сначала в виде фарса (смешными казались безумные речи кучки заговорщиков — вспомните, как «раскатисто и звонко» смеялся Рогачёв над рассказом Зунделевича о Липецком съезде), а уж потом в виде народной трагедии.

ЗАГАДКИ «РУССКОГО СФИНКСА»

Если с кем и сравнивать несравненного Чехова (1860–1904), то, скорее всего, с Шекспиром (1564–1616). «Чайка» делит с «Гамлетом» мировое первенство по числу постановок — такую статистику давно ведут на Западе. Причём речь не только о цифре, но и о «палитре»: и того и другого страсть как любят «интерпретировать», «заново осмысливать», «осовременивать». Ромео и Джульетта кем только не были — даже нью-йоркской шпаной (знаменитая «Вестсайдская история»). Не так давно небрезгливые люди могли посмотреть российский фильм «Три сестры», в котором действие перенесено на железнодорожный вокзал времён Гражданской войны, а так называемые «чеховские героини» в ожидании какой-то «эвакуации» предаются различным сексуальным извращениям.

Заметим попутно, что все эти «новаторы» норовят обязательно принизить, опошлить и опохабить классический источник. Ни один не «соригинальничал», превратив, допустим, шлюху в добродетельную даму или купчиху в королеву; все только вниз, в грязь, в похабщину, в уродство. Здесь, видимо, срабатывает комплекс неполноценности. Чего переиначивать каких-то сереньких — славы никакой. Разумеется, театрално-кинематографических карликов понять можно: не Алёшина же и ему подобных перелицовывать — те одномерны, тайн и загадок не содержат. А бездонный Чехов, подобно бездонному Шекспиру, молчит, как Сфинкс...

Всемирная популярность Чехова говорит о том, что это писатель «всечеловеческий» — видимо, так, но вместе с тем он и очень национален. Признаюсь, я часто не понимаю, почему иностранцы понимают Чехова (простите невольную тавтологию). Персонажи его пьес, повестей и рассказов — русские люди во всём великолепии деталей и точности несущих конструкций. По чеховским страницам рассыпаны сотни сюжетных поворотов, тысячи фраз, которые, казалось бы, могут быть понятны только тем, кто знает русскую жизнь изнутри. А их нет — их с упоением читают люди, которые страшно далеки от России и порой имеют о ней самые дикие представления.

В наш обиход вошло множество чеховских коллизий, речений, афоризмов, имён и реалий. Вспомните, сколько раз вы сами использовали в этом смысле Чехова или встречались с таким использованием в газетах и других письменных источниках и в речах своих знакомых. Наверняка не только у меня был одноклассник, носивший кличку Человек-в-футляре, или женщины, к которым прочно приклеились чеховские «имена» Душечка, Анна-на-шее, Попрыгунья, Дочь Альбиона. Кому не приходилось вспоминать «лошадиную фамилию», даже не всегда держа в памяти, что это — «из Чехова». А кто из нас не укорял неумелого автора письма — «на деревню дедушке Константину Макарычу».

Я понимаю, почему Бернارد Шоу дал своей пьесе «Дом, где разбиваются сердца» подзаголовок «Фантазия в русском стиле на английские темы» (имея в виду — в чеховском стиле). Но я не понимаю, почему хохотал мой знакомый немец над рассказом «Злоумышленник»: в Германии никому бы не пришло в голову отвинчивать от рельсовых креплений гайку, чтобы сделать грузило. Он же, помню, при всём блестящем, тремя университетами отшлифованном знании русского языка, не мог понять наших восторгов при исполнении Алексеем Грибовым экранной роли чеховского барина-чревоугодника, произнесении им реплики о карасе: «когда он, сволочь, в молоке по-мокнет»...

Так как же все-таки у Чехова — «общечеловеческое» преобладает над национальным или прячется в нём? Тут уместно вспомнить, что в начале XX века весьма энергично, если не сказать — агрессивно, заявила о себе теория потери национального в литературе. В нашей стране она рядилась в одежды «пролетарского интернационализма» с идиотской формулой искусства «национального по форме, социалистического по содержанию», имела хождение и высосанная из ленинского пальца теория о двух культурах каждой нации — прогрессивной, выражающей интересы трудящихся, и реакционной — господствующих классов. В этих координатах Чехов оказывался в каком-то странном, промежуточном положении. Явно не революционер, но и не мракобес, не пособник эксплуататоров, а так, серединка на половинку. Николай Асеев, сожалея о «поражении» революции 1905 года, написал известные строки о том, что «красное знамя белёсою чайкой на сереньком занавесе заменено». Поэт очень точно передал «цветовое» восприятие большевиками Чехова, Станиславского, Художественного театра, вообще интеллигенции.

На Западе, в том числе среди русской эмиграции, были по сути те же «заморочки», только подававшиеся под иным идеологическим соусом. Известная эмигрантская публицистка Нина Берберова напыщенно разглагольствовала об утрате наиболее «продвинутыми» писателями принадлежности к определённой нации и даже к какому-то одному языку. В наше время, писала она, и языковые эффекты и национальная психология как для автора, так и для читателя перестали быть необходимостью. (Подобное с пеной у рта пишут сейчас и в России — в либеральной прессе.) Но несмотря на все подобные декларации, Чехов благополучно пережил многих воинствующих космополитов, ту же Берберову в том числе (давно уж потеряло какую-либо ценность все её литературное наследие, кроме книги воспоминаний «Курсив мой», да и её надо читать с осторожностью — врёт Нина Николаевна безбожно, в чем уличалась неоднократно). Да ещё добавим, что крупнейшими литературными фигурами XX века

были не космополиты, для которых не имел значения и язык, а остро национальные писатели — Михаил Шолохов, Андрей Платонов, Томас Манн, Жоржи Амаду, Уильям Фолкнер и другие.

Знаток национальной жизни, человек отнюдь не кабинетный (как может быть кабинетным человеком практикующий врач!), Чехов писал о людях из самых различных слоев русского общества, но в стереотип вошел как певец «чеховских интеллигентов». В этом отношении его можно уподобить Тургеневу, который в поверхностном восприятии ассоциируется с «тургеневскими девушками», хотя среди его персонажей есть и революционеры, и крестьяне, и даже уголовник из Индонезии.

Однако стереотип во многом правдив. При всём разнообразии чеховских персонажей среди них мало людей действия, среди его сюжетов мало энергичных, практически нет описаний какой-то активной деятельности. И во многом прав невнимательный читатель, который прежде всего замечает у Чехова ничего не делающих людей, занятых бесконечными словопрениями. Праздные, «болтающие» интеллигенты — фирменный знак Чехова. Заметим, что создавались эти произведения в эпоху бурного развития России. Но оно как-то не чувствуется в творениях Чехова (впрочем, и большинства других русских писателей того времени). А хилые интеллигенты если и воспринимают прогресс, то лишь как вторжение варваров, рубящих Вишневый Сад под... А давайте заменим одно слово и скажем, что его рубят не под дачное, а под коттеджное строительство. И как-то всё совсем иначе и очень современно получается, не правда ли? Добавим, что игнорирование Чеховым прогресса Российской империи сослужило хорошую службу уже не ему, конечно, а его посмертной литературной судьбе при коммунизме, когда охаивание «царской» России или хотя бы умалчивание об её успехах стало пропуском в категорию «передовых писателей прошлого».

Но вернёмся во времена Чехова. Насколько реалистичны эти его «болтающие интеллигенты»? Какую роль они играли тогда? Может быть, их значение было столь мало,

что не стоит их и вспоминать — были и прошли? Обосновано ли внимание Чехова (и не его одного) к этой прослойке? И здесь начинаются очередные русские загадки.

Через полвека после смерти писателя и, соответственно, за полвека до наших дней замечательный наш философ, историк и публицист Иван Солоневич, бежавший из СССР, предъявил предреволюционной русской литературе внешне парадоксальное обвинение в дезинформации Запада и через неё в невольном провоцировании Гитлера на агрессию против нашей страны. Солоневич блистательно показал, как дикие, невежественные суждения Горького о русском народе и о русской истории почти текстуально переключались в знаменитую книгу ведущего нацистского идеолога Альфреда Розенберга «Миф XX века». Книга эта создавала впечатление о России как о стране неорганизованных, рефлексизирующих и не знающих чем заняться людей, а значит как о стране, которую нетрудно победить.

Солоневич справедливо указывает, что Запад в целом судил о России прежде всего по русской художественной литературе и потому не имел понятия о том, каковы в ней люди и что там в реальности происходит. Вот система его доказательств. «Грибоедов писал своё „Горе от ума“ сейчас же после 1812 года. Миру и России он показал полковника Скалозуба, который „слова умного не выговорил сроду“, — других типов из русской армии Грибоедов не нашёл, — язвительно замечает Солоневич в адрес классика. — А ведь он был почти современником Суворовых, Румянцевых и Потемкиных и совсем уж современником Кутузовых, Раевских и Ермоловых. Но со всех театральных подмостков России скалит свои зубы грибоедовский полковник — „золотой мешок и метит в генералы“. А где же русская армия? Что — Скалозубы ликвидировали Наполеона и завоевали Кавказ? Или чеховские „лишние люди“ строили Великий Сибирский путь? Или горьковские босяки — русскую промышленность? Или толстовский Каратаев крестьянскую кооперацию? Или, наконец, „мягкотелая“ и „безвольная“ русская интеллигенция — русскую социалистическую революцию?»

«Литература есть всегда кривое зеркало жизни, продолжает Солоневич. Но в русском примере эта кривизна переходит уже в какое-то четвёртое измерение. Из русской реальности наша литература не отразила почти ничего... Во всяком случае — русская литература отразила много слабостей России и не отразила ни одной из её сильных сторон. Да и слабости-то были выдуманные. И когда страшные годы военных и революционных испытаний смыли с поверхности народной жизни накипь литературного словоблудия, то из-под художественной бутафории Маниловых и Обломовых, Каратаевых и Безуховых, Гамлетов Щигровского уезда и москвичей в гарольдовом плаще, лишних людей и босяков — откуда-то возникли совершенно непредусмотренные литературой люди железной воли. Откуда они взялись? Неужели их раньше и вовсе не было? Неужели сверхчеловеческое упорство обоих лагерей нашей гражданской войны, и белого и красного, родилось только 25 октября 1917 года? И никакого железа в русском народном характере не смог раньше обнаружить самый тщательный литературный анализ?

Мимо настоящей русской жизни русская литература прошла совсем стороной. Ни нашего государственного строительства, ни нашей военной мощи, ни наших организационных талантов, ни наших беспримерных в истории человечества воли, настойчивости и упорства — ничего этого наша литература не заметила вовсе. По всему миру — да и по нашему собственному сознанию тоже — получила хождение этакая уродистая карикатура, отражавшая то надвигающуюся дворянскую беспризорность (Бунин), то чахотку (Чехов) или эпилепсию (Достоевский) писателя, то какие-то поднебесные замыслы, с русской жизнью ничего общего не имеющие. И эта карикатура, пройдя по всем иностранным рынкам, создала уродливое представление о России, психологически решившее начало Второй мировой войны, а, может быть, и Первой».

Итак, существовали ли в реальности «чеховские интеллигенты», а если существовали, каково было их влияние на общество, на ход событий в стране? Впрочем, почему

«существовали»? Они существуют! Разве мы не видим вокруг себя массового проявления «интеллигентского» безволия и самих, будто бы сошедших с чеховских страниц «интеллигентов», ведущих бесконечные кухонные дискуссии, знающих, как перестроить вселенную, но не способных устроить жизнь своей семьи?

Но это в «мирное» время. А как в переломные годы революций и войн, о которых в основном говорит Солоневич? В отличие от Чехова мы знаем окончание биографий его персонажей. Кто был ведущей силой революции (не Октябрьской, а Февральской, которая сокрушила историческую Россию)? Да те самые «болтающие интеллигенты». Как сказал наш блестящий и мудрый философ Василий Розанов, империя была повалена червями. И ещё он сказал, что когда интеллигенция, насладившись величественным зрелищем революции, собралась разобрать шубы и разойтись по домам — оказалось, что шубы украдены, а дома сожжены. Самое же поразительное, что этот трагифарс повторился за столетие дважды! Те же «черви» свалили и Советский Союз! Но вернёмся к Чехову.

В начале XX века влиятельный идеолог П. Б. Струве писал: «В 1860-х годах с развитием журналистики и публицистики „интеллигенция“ явственно отдаляется от образованного класса. Замечательно, что наша национальная литература остаётся областью, которую интеллигенция не может захватить. Великие писатели Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Чехов не носят интеллигентского лика». На первый взгляд звучит странно: Чехов не носит интеллигентского лика... Но только на первый взгляд. Тут надо обратиться к спорам вокруг русского слова «интеллигенция», которое, заметим, с трудом поддаётся переводу на иностранные языки по той простой причине, что подобного русской (точнее, российской) интеллигенции нет нигде.

Кстати, и на Западе это понимают. Студенты-персонажи Томаса Манна говорят между собой в начале XX века, что подобные разговоры может вести только русская образованная молодежь, а их ровесников французов и англичан

высокие материи интересоваться не могут, им нужен только секс да бизнес. Что касается русской интеллигенции, то влиятельный на Западе американский советолог Ричард Пайпс в своей монографии «Россия при старом режиме» пишет, что слово интеллигенция стало синонимом слова если не революционер, то уж оппозиционер непременно. Как эти суждения увязываются с Чеховым? Уж он-то во всяком случае не революционер, да и оппозиционер ли он? Русский Сфинкс молчит и не даёт подсказок.

А может быть и не нужно выяснять политические пристрастия Чехова? Вряд ли он определял впервые встреченного им человека как социал-демократа, монархиста или эсера. И несомненно Чехов не смог бы, как его «коллега» доктор Семашко, ставший в правительстве своего приятеля Ульянова-Ленина наркомом здравоохранения, давать рекомендации воздерживаться от лечения «кулацких» детей. Потому что врачом Антон Павлович был настоящим, и многое в его пронзительном гуманизме — от профессии.

Творчество Чехова оказалось удивительно созвучным эпохе, пришедшей вслед его времени. На вопрос «чем же?» краткий ответ может быть таким: многомерностью и необычайно искусно, с поразительным чувством меры построенной, сконструированной неопределённостью. Это даёт, в частности, и возможность бесконечно черпать из Чеховского моря то, что вас интересует. Нет, речь не об искажениях и не об осовременивании, речь о многогранности.

В новом времени, наступившем после Первой мировой войны и российской революции, возникла устойчивая аллергия читателей на безапелляционные приговоры и строгие рецепты; неуловимо насмешливый и многозначный Чехов пришёлся ему впору. Нельзя сбрасывать со счетов и обострившийся интерес к России. Близки новому веку оказались и жанровые предпочтения нашего классика — короткие рассказы и пьесы с небольшим числом персонажей, технически лёгкие для постановки. И во второй половине XX века Чехов уверенно занял второе после Достоевского место в рейтинге наиболее читаемых

в мире русских писателей (Толстой передвинулся с первого на третье место).

Потрясения, которые вновь пережила многострадальная Россия на исходе столетия, опять перетряхнули читательские приоритеты. Судя по первому десятилетию после бури, интерес к Чехову уж во всяком случае не снизился. А для внешнего мира, как сказал мне знакомый немец, загадок у Русского Сфинкса только прибавилось.

ТРАГИЧЕСКИЙ ТЕНОР ЭПОХИ

«Не дай вам бог жить в эпоху перемен», — изрёк некогда китайский мудрец. «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые», — тысячу лет спустя написал Тютчев. Это не спор авторитетов. Мудрец говорил о народе, поэт — об избранниках. Творческий расцвет божьего избранника Блока совпал с роковыми минутами в истории России.

Великий русский лирик, ярчайшая звезда Серебряного века нашей поэзии, «трагический тенор эпохи» по определению Анны Ахматовой, выделялся по разному и при жизни, и после своей, мягко выражаясь, странной смерти в сорокалетнем возрасте (эта трагедия ещё не раскрыта). Многие не самые глупые современники почему-то воспринимали его неким полуиностранцем, «выпрыгнувшим из готического окна», и даже точные описания пейзажей подмосковного Шахматова, взрастившего поэта, вызывали в них какие-то западноевропейские ассоциации. Бунин ни в грош не ставил Блока, и нет никакого желания цитировать его проклятия в адрес великого поэта. Так же как анализировать причины, почему Алексей Толстой в «Хождении по мукам» издевательски изобразил Александра Александровича Блока под прозрачным псевдонимом Алексей Алексеевич Бессонов. И тем более — вникать в мотивы, двигавшие Андреем Белым, который в конце жизни сводил личные счёты со своим покойным другом...

В то же самое время неуклонно росла читательская любовь к Блоку, точнее — поклонение поэту, величие которого было быстро осознано и прочувствовано многими без излишних мудрствований. Известны слова юного Есенина — «Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот». В той или иной форме эту мысль выражали многие блоковские паломники — другое слово трудно подобрать. Перед революцией 1917 года Блок был популярным по понятиям того времени поэтом, крупной, авторитетной фигурой, более того — он считался бесспорным классиком.

Опять, как в годы золотые,
Три стёртых треплются шлеи.
И вязнут спицы расписные
В расхлябанные колеи...

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слёзы первые любви...

* * *

О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твоё лицо в простой оправе
Передо мной стояло на столе...

* * *

Ночь, улица, фонарь, аптека...

Цитировать Блока можно бесконечно, «попадая» при этом то в ораторию Свиридова, то в романс Вертинского, то даже, как с последней из приведённых строк, — в рекламный телевизионный клип XXI века. Словом, классик, он и есть классик.

Вместе с тем даже многие из тех, кто высоко ставил Блока в чисто поэтическом, эмоциональном плане, не числили его в «мудрецах», в интеллектуалах, в мыслителях и аналитиках. Сказать об этой частности необходимо, потому что она оказалась необычайно важной для последующей литературной и жизненной судьбы Блока.

Никого не удивило, что Блок приветствовал Февральскую революцию — таково было общее настроение интеллигентской среды. Сейчас странно читать телячьи восторги таких людей, как великий композитор Сергей Рахманинов, по поводу якобы обрётённой ими тогда «свободы». Но — не нам судить живших в ту эпоху: мы сами не раз оказывались полнейшими «лопухами» — то с Никитой Сергеевичем, то с Михаилом Сергеевичем, то с Борисом Николаевичем...

Поразило современников то, что Блок принял революцию Октябрьскую и откликнулся, почти единственный из поэтов, не считая Владимира Маяковского и Рюрика Ивнева, на призыв большевиков о сотрудничестве. Приговор своей среды был скорым и однозначным — дурак. Достаточно почитать дневники Зинаиды Гиппиус, чтобы почувствовать, сколько яда и ненависти выливалось на Блока в те месяцы. Призыв Блока — слушать музыку революции — вызывал издевательские насмешки. Какая, к чёртовой матери, музыка, когда у меня реквизировали дачу и конфисковали шубу! Книжный червь Мережковский беспокоился о шубе, а «неучёный» Блок явственно слышал нарастающий шум народного недовольства, он понимал, что этот накал оправдан предыдущими веками истории. Тщетно взывал он к собратьям-интеллигентам: именная жгут потому, что там пороли баб и насиловали девок, ну не в этом дворянском гнезде, так в соседнем.

Кстати, насчёт этих самых поджогов; очень многие и в наши дни предъявляют счёт за них только большевикам, между тем как развернулись поджоги всю после Февраля, при «интеллигентном» Временном правительстве. Так же как и городские грабежи — потому что это

«временные» сознательно разрушили систему охраны правопорядка, открыв тюрьмы и уничтожив «царскую» полицию.

Но в самый разгар власти «временных интеллигентов» никто иной, как их духовный лидер, министр иностранных дел «учёный историк» П. Н. Милюков заверял весь мир, что у русского народа сейчас три главных желания: победить Германию, захватить Босфор-Дарданеллы и предоставить все права евреям и другим нацменьшинствам. А за месяц до прихода к власти большевиков авторитетнейший «интеллигент» писатель Д. С. Мережковский больше всего боялся не их, а возвращения на трон Романовых, ибо тогда, полагал он, вокруг царя «может завиться сильная черносотенная партия, подпираемая церковью».

Милюков уже убежал, а Мережковский ещё не убежал, когда в самом начале 1918 года появилась поэма Блока «Двенадцать». Мало сыщется в истории мировой поэзии написанных признанным мастером произведений, которые бы вызвали такой болезненный интерес, шум, скандал, такое, в целом говоря, непонимание. Поэму сочли «своей» и красные и белые. Её возненавидела и предала анафеме среда, к которой принадлежал сам автор. Для Зинаиды Гиппиус (а она была непререкаемым авторитетом для многих «элитарных интеллигентов») «Двенадцать» — это финальный маразм Блока, его провал, неоспоримое доказательство его глупости и политической наивности.

Конечно, самые острые приступы неприятия вызвала заключительная строфа поэмы, образ Иисуса Христа во главе отряда из двенадцати красногвардейцев (число не случайно — столько было апостолов у Спасителя). Простодушные красные агитаторы, не мудрствуя лукаво, заменяли ключевое слово «Христос» на «матрос». Простодушные набожные обыватели возмущались тем, что поэт срифмовал «пёс» и «Христос». Это простодушные. Но и самые «высоко-мудрые» вроде Мережковского не сумели вчитаться в блоковский текст и понять его смысл.

...Так идут державным шагом —
Позади голодный пёс,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули неведим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди Исус Христос.

Это, упаси Боже, не осуждение — ведь в 1918 году перемены происходили в сумасшедшем темпе, и каждый день строки поэта приобретали иной смысл. Тем более, что в приведённых стихах что ни слово, то загадка. Почему знамя не красное, а кровавое? Если Христос «за вьюгой невидим», то откуда знают красногвардейцы, что они идут за ним? Или же они просто полагают, что ведёт их Спаситель, то есть символ добра и правды, а на самом-то деле во главу их отряда пристроился с кровавым знаменем Антихрист?

В пользу этой версии говорят некоторые стихи Блока, написанные ещё во время первой «русской» революции. В них несколько раз появляется странный зловещий карлик. Некоторые исследователи связывают его с нибелунгами из германской мифологии (которую Блок знал превосходно). Нибелунги — это злые карлики, раса, враждебная Зигфриду и другим героям и богам германского народного эпоса; сила этих существ зиждется на том, что они владеют золотом. В одном из стихотворений Блока злой карлик заманивает фабричную девушку в глухой переулочек, глумится над ней, а потом исчезает, бросив свой шутовской наряд — фрак, бороду, собачьи уши. В неожиданной роли появляется карлик в известном стихотворении, начинающемся со строк

В кабаках, в переулках, в извивах,
В электрическом сне наяву...

В нём поэт даёт, огрублённо говоря, своё восприятие современного города с его величественными многоэтажными зданиями и людской суетой. Стихотворение слишком длинное для его полного цитирования, последняя, ударная строфа звучит так:

А вверху, на уступе опасном,
Тихо съёжившись, карлик приник.
И казался нам знаменем красным
Распластавшийся в небе язык.

А теперь поставим перед собой вопрос: чьё лицо видится у этого карлика — Троцкого, Ленина, Маркса? На сколько лет и десятилетий позднее поэта мы разглядели (разглядели ли?) того, чей язык мы приняли за красное знамя? Это стихотворение написано в декабре 1904-го. Не допустимо ли предположить, что его продолжением и стала заключительная строфа поэмы «Двенадцать», что в начале 1918-го Блок уже разгадал тайну знамени, за которым идут красногвардейцы. Что он понял — их ведёт некто, мучительно похожий на Христа, но его антипод — Антихрист? Понял и умер одиноким и непонятым. Непонятым и потому, что он отделил лжепастыря от ведомого им стада, сделал Антихриста невидимым для красных бойцов и тем самым снял с них вину. Вот в чём, как представляется, смысл строки «И за вьюгой невидим»! Вот до чего не могли прийти отвергшие революцию интеллигенты. Они не смогли понять, что народ думает, будто он идёт за Христом, то есть за правдой, и прокляли не только посланных дьяволом (или — нибелунгами, хозяевами золота?) вождей, но и ведомых ими простаков.

Вскоре после появления поэмы «Двенадцать» неоднократно высказывалось и такое мнение: поэт-де стгоряча поторопился приветствовать революцию, а потом ужаснулся тому, что сам написал. Думаю, и это суждение несправедливо. Давайте послушаем компетентного свидетеля. Писатель Р. В. Иванов-Разумник (1878–1946) был другом Блока, хранителем его архива, автором многих

работ о великом поэте и обширных комментариев к его текстам. Много лет просидел он в советских тюрьмах, где у него были изъяты рукописи, которые некий друг ВЧКОГПУ и паразит на теле русской литературы Шапиро присвоил себе и печатал под именем В. Н. Орлова. Кое-что этот тип вписывал, кое-что вычёркивал. В СССР несколько поколений читателей вынуждены были познавать великого поэта с комментариями этого Лжеорлова, которому, в частности, принадлежит идиотская формула «Блок — выразитель интересов дворянства». И который, заметим, никогда не комментировал стихи о том, что красное знамя — это язык злого карлика.

Но рукописи не горят. И ныне известно, что вычеркнул литературный вор, прикрывший свой срам русской фамилией Орлов, из текста речи Иванова-Разумника, произнесённой на заседании Вольной философской ассоциации 28 августа 1921 года, то есть через три недели после смерти Блока, и публиковавшейся в сборнике статей о поэтах Серебряного века: «Мы знаем теперь: не душа Блока изменилась — изменилась душа революции, ни от чего Блок не отрёкся, но он задохся, когда исторический воздух, очищенный стихийным взрывом, снова отяжелел и сгустился... Он умер после марта 1921 года, когда ...начался спад, революция окончилась — и Блок её не пережил».

Время уходит стремительно, и современному читателю слова Иванова-Разумника могут показаться не совсем понятными («изменилась душа революции», «революция кончилась»). Сто лет спустя семнадцатый и двадцать первый могут представиться весьма похожими (мол, «революционные годы»), но иным было восприятие времени жившими тогда русскими людьми. Между ноябрем 1917-го, когда Блок призывал всем сердцем слушать Революцию, и августом 1921-го, когда поэт умер, душа революции действительно изменилась до неузнаваемости.

Когда сразу после взятия власти большевиками Блок откликнулся на их призыв о сотрудничестве и пришёл в Смольный к Луначарскому (Хаимову), советское правительство называло себя временным — до созыва

Учредительного собрания. (Сам захват власти ленинцы представляли превентивной мерой — они якобы опасались, что «реакционные силы» сорвут проведение выборов, помешают народному волеизъявлению). А в январе 1918-го, как раз в те дни, когда поэт дописывал «Двенадцать», Ленин руками Урицкого разогнал «учредилку», потому что народ выбрал на царство не большевиков, а эсеров. Тех же, кто пытался протестовать, — расстреливали из пулемётов.

Поражало и многое другое. Сначала «главой государства», то есть председателем ВЦИК, был объявлен некто Каменев, он же Розенфельд, через несколько дней — некто Владимирский, а ещё через несколько дней — некто Свердлов. Никаких выборов, никаких обсуждений кандидатур, как полагается в «демократической республике», разумеется, не было. Вопрос о главе государства решался в узком кругу партийных вождей. Согласитесь, это уже иное звучание «музыки революции». И совсем иной она стала в 1918-м, когда начался безумный «военный коммунизм» — неприкрытое ограбление крестьян продотрядами. Была официально объявлена «продовольственная диктатура», сформирована «продовольственно-реквизиционная армия», которой командовал некто Зусманович. Наступил коллапс экономики, который провёл в жизнь некто Ларин, он же Лурье, — полупарализованный инвалид, друг Ленина. Через несколько десятилетий американский историк Ричард Пайпс напишет, что этому Ларину-Лурье принадлежит мировой рекорд: он сумел в считанные месяцы разрушить экономику сверхдержавы.

Советские посланцы Йоффе и Троцкий с одобрения Ленина и Свердлова в марте 1918-го подписали Брестский мир, фактически капитулировали перед Германией, расчленили Россию, отказались от Украины, Польши, Прибалтики, Финляндии. Вспыхнула Гражданская война. Начался красный террор, перед которым все преступления царского режима показались детскими забавами. Разве так звучала музыка революции, когда товарищ Луначарский вешал лапшу на уши сидящим в его кабинете на одном

диване поэтам — Александру Блоку, Владимиру Маяковскому, Рюрику Ивневу?

В борьбе за удержание власти большевики не брезговали ничем. В своё время Блок написал строки, которые сразу же вошли в политический обиход и с тех пор бесконечно цитировались:

Победоносцев над Россией
Простёр свиные крыла.

Обер-прокурор Синода Победоносцев казался воплощением «реакции», но он с негодованием отверг предложение ввести институт заложничества в борьбе с революционерами. А большевистский нарком «юстиции» Петровский ничтоже сумняшеся предложил брать заложников, и это было принято и применялось в массовом масштабе. Заложников брали и при подавлении крестьянских восстаний, а они полыхали по всей России. С особой жестокостью власть расправлялась с казачеством, официально был принят термин «расказачивание». «Красный президент» уральский уголовник Свердлов и его подручный Якир (в прошлом — кишинёвский фармацевт) пролили реки крови на Дону и на Кубани. Думал ли об этом Блок, когда в ноябре 1917-го шёл в Смольный к Луначарскому?

В Петрограде воцарился «диктатор Северной коммуны» Зиновьев (Апфельбаум), лучший друг Ленина. Этот физически и нравственно омерзительный монстр, единоличная власть которого распространялась на весь Северо-Запад России, отличался патологической жестокостью и трусостью. Он открыто заявлял, что следует физически истребить десять процентов населения России и что старая интеллигенция скоро будет выброшена, как выжатый лимон. Когда в начале 1921-го начались забастовки петроградских рабочих, а затем восстали кронштадтские матросы, «краса и гордость» недавней революции, политический пейзаж мало чем напоминал осень семнадцатого.

Зиновьев от страха прятался под диванами, управление «Северной коммуной» было потеряно, и тогда для

расправы с Кронштадтом из Москвы приехали Троцкий со своим подручным Тухачевским и делегаты X съезда большевистской партии. Вряд ли делегаты представляли какую-то военную силу. Скорее всего, Ленин использовал извечный приём уголовников — повязать всех кровью. Чтоб никто потом не мог притворяться белым и пушистым, чтобы у всех были замараны руки. Восстание было жестоко подавлено, но частично оно победило — большевикам пришлось отказаться от военного коммунизма и объявить НЭП.

А чтобы никто не предавался иллюзиям относительно временного характера уступок и ослабления диктатуры партии, Ленин ужесточил эту структуру: по его предложению на X съезде была принята резолюция о единстве партии и запрете всяких фракций и течений. Пресс власти стал монолитным. Всё это было ещё при жизни Блока. Вот что имел в виду Иванов-Разумник, говоря об изменении души революции. Прав он и в том, что Блоку не было нужды отречься от «Двенадцати»: не поспешностью в оценке революции, а жутким пророчеством было появление подменной фигуры во главе красного отряда...

Известно, что Блок внимательно следил за ходом событий. Но и за ним внимательно следили власти предрежащие — во главе с мерзавцем Зиновьевым. Их устраивала поэма «Двенадцать» как «революционный» финал творчества великого поэта, но они опасались, как бы он не написал ещё чего-нибудь, «невыгодного» им политически. В голодное время Блоку не давали пайка, его не выпускали для лечения в Финляндию, до которой было два часа езды. Некоторые специалисты полагают, что поэта травили ядами — большевистские врачи пошиба Кедрова и химики пошиба Ягоды умели это делать. За несколько дней до смерти Блока была разыграна комедия: Политбюро разрешило поэту выехать в Финляндию, но пришедшую из Москвы бумагу якобы куда-то засунул один из клерков Зиновьева, и она опоздала...

...Позволю себе личное воспоминание, связанное с юбилеем Блока. В 1980 году, когда отмечалось 100-летие со дня

его рождения, у меня был дикий скандал в газете «Голос Родины», где я работал (она предназначалась для зарубежных соотечественников). Редактор, чьё паскудное имя я брезгую произносить, выразил несогласие с тем, что я в своей статье назвал Блока великим поэтом. Он говорил, что Блок «не вполне наш» и потому может именоваться лишь «выдающимся». Только собрав кучу «источников» с мнениями авторитетов, я смог отстоять свою формулировку.

ЧЕЛОВЕК С ЗЕМЛИ, ВЫБИТОЙ ИЗ-ПОД НОГ

СЫН ПРОМОТАВШЕГОСЯ ОТЦА

Владимир Набоков в большей степени, чем другие, ощущал себя родом из детства. Уж очень оно у него было счастливое, уж очень резким оказался перепад в последующую эмигрантскую жизнь. Пожалуй, из русских писателей XX века никто не рос в такой роскоши, в таком комфорте и с таким ощущением значительности своей семьи, с ощущением своей несомненной принадлежности к элите. Отец будущего писателя, Владимир Дмитриевич Набоков — крупный чиновник и государственный деятель (венец его карьеры — министерская должность управляющего делами Временного правительства России в марте-апреле 1917-го), человек богатый и культурный, заядлый англоман. Владимир-младший сначала выучился по-английски, а уж потом по-русски.

У Набоковых — собственный розового гранита трёхэтажный особняк в самом центре Петербурга — на Большой Морской, имение в шестидесяти верстах от столицы, для писателя Набокова навсегда оставшееся лучшим местом на всём земном шаре. У семьи — два автомобиля, по тем временам случай редчайший; в одном из лимузинов мальчика ежедневно возят в Тенишевское училище — самое дорогостоящее во всём Петербурге. Но — не самое

элитарное, здесь, в отличие от Лицея, не было сословных и конфессиональных преград; как говорится, были бы деньги. К слову — в Тенишевском учился Осип Мандельштам, сын богатого торговца-еврея.

О своём золотом детстве, о блестящем отце, о счастливых днях в предреволюционном Петербурге и на даче Набоков писал много и с большой любовью. Ещё больше написали другие. Возник своего рода миф о Набокове-старшем, что тем более объяснимо из-за его трагического конца. В 1922 году в Берлине, на собрании русских эмигрантов при покушении на лидера кадетской партии П. Н. Милюкова двух офицеров-монархистов В. Д. Набоков был случайно убит. Позднее возникла легенда, растиражированная в годы перестройки такими малограмотными личностями, как поэт Андрей Вознесенский, что якобы Набоков, жертвуя собой, сознательно заслонил своего друга Милюкова. Легенда красивая, но абсолютно лживая — об этом не писал ни один из очевидцев, а таких было немало (убийство произошло в лекционном зале на глазах у многочисленной публики), ни один из солидных историков.

Но, обращаясь к фигуре Набокова-старшего, нельзя ограничиваться легендами и воспоминаниями любящего сына о том, как Владимир Дмитриевич, увлекавшийся энтомологией (и передавший эту страсть по наследству), ловил бабочек и профессионально разбирал муравейники. Иначе многое в писателе Набокове останется непонятным, а нас интересует именно он. Одноклассник Набокова по Тенишевскому училищу писатель Олег Волков, три десятилетия проведенный в ГУЛАГе, вспоминал впоследствии о своём школьном знакомце: «Набоков был на диво эгоистичен и самолюбив. Он считал, что на свете есть два достойных его внимания человека: он сам и его отец. Отталкивал его снобизм, потому что он был дурного тона. Безнравственно хвастать происхождением. К тому же в данном случае оно ничего особенного не представляло. Что бы ни писал он в мемуарах (в мемуарах Набоков рассказывал о 600-летней истории своего рода,

восходящей к мифическому татарскому хану Набоку — Ю. Б.), Набоковы — служилое дворянство, мать — Охотникова — из семьи сибирских купцов-миллионеров. Так что об аристократизме говорить не приходится». Олег Волков зорко углядел червоточинку в самом зародыше набоковского мифа. Кстати, ходили слухи, что отец будущего писателя дрался на дуэли с обидчиком, говорившим, что он женился на купеческой дочке из-за её приданого. Впрочем, и сами Набоковы обладали порядочным состоянием.

Но главная червоточина набоковского мифа заключалась не в пустой спеси и не в сплетнях о приданом, а в политической роли Владимира Дмитриевича. И здесь не помогут самые толстые литературоведческие книги. Здесь надо обращаться к мемуарной литературе (в том числе к написанному самим Набоковым-старшим). Заметим, что это нам надо копаться в источниках, а в начале 1920-х, когда, окончив Кембриджский университет и похоронив отца, Владимир Набоков начал в Берлине, тогдашней столице русской эмиграции (позднее она переместилась в Париж), самостоятельную жизнь, представления о В. Д. Набокове относились к разряду злободневной политинформации. Каким же видели этого деятеля русские эмигранты, составлявшие среду обитания начинающего писателя?

Вместе с П. Н. Милюковым и рядом других видных «интеллигентов» Набоков-старший был одним из отцов-основателей и лидеров кадетской (конституционно-демократической) партии. Масон, ярый западник, он мечтал о том, чтобы Россия стала как можно больше похожей на его любимую Англию. К нему в полной мере можно отнести мнение П. Б. Струве о Милюкове: «Если бы жизнь была шахматной игрой, а люди — деревянными фигурками, он был бы гениальным политиком». Набоков — один из активнейших разрушителей Российской империи. Он из тех, кто яростно «раскачивал лодку», превыше всего — своей деятельностью в Государственной Думе. Он исступлённо звал «очистительную бурю», которая смоет «свинцовые мерзости» российской жизни; позволю себе предположить, что он вряд ли думал, что буря смоет

и особняк на Большой Морской, и дачу на реке Оредеж, и счёт в банке. И уж тем более, что его деятельность (как разрушителя Империи и члена Временного правительства) расчистит дорогу оголтелым экстремистам-большевикам, и Ленин, придя к власти, немедленно объявит кадетов партией врагов народа. К слову, термин сей взят из истории Французской революции, а вовсе не придуман в ЧК. Кадетские лидеры были объявлены вне закона, их надлежало убивать при опознании, и естественно, что все они бросились в бега. Однако товарищи по эмиграции, а точнее — беженству, вовсе не склонны были забывать, кто именно заварил кашу. Покушение на Милюкова не было случайностью, ему предшествовало много писем с угрозами расправиться за подрывную работу против Империи. Ненависть к нему проявлялась и в других формах.

И ненависть эта не гасла со временем, потому что кадетские лидеры и подобные им либеральные политики вовсе и не думали каяться. В 1921 году в Берлине начал выходить многотомный «Архив русской революции». Его издавал один из кадетских лидеров, Иосиф Гессен, на средства своего брата, богатого капиталиста. Первый том открывался статьёй В. Д. Набокова, содержащей восторги по поводу Февральской революции, падения монархии, торжества свободы и проч. Владимир Дмитриевич рассказал, как он, тогда офицер Главного штаба русской армии, тут же отправился заявить о своём подчинении Временному правительству. Но не счёл нужным сообщить читателю, вспомнил ли он хоть на миг о присяге, которую давал. Более того, он поведал о своём участии в составлении важнейшего документа — отречения великого князя Михаила Александровича от принятия верховной власти (напомню — её предложил ему, отрекаясь от престола, его брат — император Николай II). И, наконец, он не скрыл, какую юридическую «некорректность» (если не сказать — мухлёж) он сознательно допустил, чтобы придать формальную законность Временному правительству. В среде русской эмиграции «Архив» широко читался, откровения В. Д. Набокова вызвали массовое возмущение.

И ещё многие знали, что именно на квартире Набокова на Большой Морской 20 октября 1917 года состоялась встреча военного министра генерала А. И. Верховского с кадетской верхушкой, которая во многом определила то, что произошло пятью днями позже — 25 октября (7 ноября по новому стилю, которого тогда ещё не было). На этой встрече Милюков отклонил предложение Верховского выбить козырь из рук Ленина и немедленно выйти из войны, заключив сепаратный мир с немцами, чтобы спасти Россию. Но кадетские лидеры (иначе говоря, пляшущие под западную дудку масоны) не могли «предать» Францию и Англию. Они жертвовали Россией во имя мировой демократии, как Ленин и Троцкий — во имя мировой революции; велика ли разница...

Нетрудно догадаться, что многие, очень многие русские эмигранты не особенно жалели, что пуля, предназначенная ненавистному Милюкову, досталась хоть его дружку. Если кого-то из русских писателей XX века можно назвать сыном промотавшегося отца, так это прежде всего Набокова. С тяжёлым наследством начинал он свою самостоятельную жизнь.

ВЕЛИКИЙ ОБМАНЩИК ИЗ ПЯТОГО УГЛА

В отличие от основной массы русских беженцев, Набоков хорошо знал язык, имел престижное западное образование, но в глазах коренного населения и тем более властей он всё равно относился к «этим нелепым неудачникам, которые профукали свою страну». Кембриджский диплом ничего не давал в смысле жизненного устройства. Да и сам Набоков уже не хотел для себя никакой другой карьеры, кроме писательской.

А пока приходилось перебиваться случайными заработками, не литературными, разумеется, а скорее относящимися к сфере обслуживания. Как иначе назвать наёмного партнёра для богатых и неумелых теннисистов. Набоков не голодал, но, как свидетельствует мемуарист, «аккуратно подстригал бахрому на брюках». В любом случае

это унижительно, а для недавнего юного сноба из Тенишевского училища — унижительно втройне. Конечно, в Берлине, а позднее в Париже за Набоковым не охотились чекисты, но неправ будет тот, кто скажет: ничего, пусть бедность, но зато полная свобода, а для писателя, по определению — индивидуалиста, это самое главное. Так-то оно вроде бы так, но...

Один из собратьев Набокова по эмиграции, генерал В. А. Яхонтов, сказал по этому поводу в своих мемуарах горькие слова: «Быть одиночкой, „просто человеческим существом“ звучит весьма красиво, но на практике может оказаться не столь привлекательным в этом мире, где слишком много границ, слишком много ограничений для выходцев из „чуждых“ стран и просто иностранцев, слишком много способов дискриминации и слишком много жестокосердных бюрократов, в которых не осталось и следа человечности. Поверьте, это совсем не то, что пылкие сторонники полнейшей свободы личности захотели бы испытать на себе». Всего этого с лихвой досталось и на долю Набокова. Не забудем, что это была не нынешняя Европа с её Шенгенскими визами и прочими послаблениями, а Европа 1920–1930-х, Европа межвоенная, Европа предгрозя и непрерывных конфликтов, проходивших в разных формах. Уже будучи известным (в среде русской эмиграции) писателем, он через друзей доставал визы. Нет, не для катанья по Европам, а для поездок с публичными лекциями — так подрабатывали многие эмигрантские литераторы. Останавливался при этом как правило не в отелях, а у знакомых.

Набоков был очень самолюбив и никогда не «плакался в жилетку». О второсортности русских беженцев в западной жизни он писал с лёгкой иронией, но да не обманет она чуткого читателя: «Оглядываясь на эти годы вольного зарубежья, я вижу себя и тысячи других русских людей ведущими несколько странную, но не лишённую приятности жизнь в вещественной нищете и духовной неге, среди не играющих ровно никакой роли призрачных иностранцев, в чьих городах нам, изгнанникам, приходилось

физически существовать. Туземцы эти были как прозрачные, плоские фигуры из целлофана и хотя мы пользовались их постройками, изобретениями, огородами, виноградниками, местами увеселения и т. д., между ними и нами не было и подобия тех человеческих отношений, которые у большинства эмигрантов были между собой. Но, увы. Призрачные нации, сквозь которые мы и русские музы беспечно скользили, вдруг отвратительно содрогались и отвердевали, студень превращался в бетон и ясно показывал нам, кто, собственно, бесплотный пленник и кто жирный хан. Наша безнадежная физическая зависимость от того или иного государства становилась особенно очевидной, когда приходилось добывать или продлевать какую-нибудь дурацкую визу, какую-нибудь шутовскую карт д'идантите (удостоверение личности), ибо тогда немедленно жадный бюрократический ад норвил засосать просителя, и он изнывал и чах. Пока пухли его досье на полках у всяких консулов и полицейских чиновников. Бледно-зелёный несчастный нансеновский паспорт (паспорт беженца) был хуже волчьего билета; переезд из одной страны в другую был сопряжён с фантастическими затруднениями и издержками. Английские, немецкие, французские власти где-то в мутной глубине своих гланд, хранили интересную идейку, что, как бы, дескать, плоха ни была исходная страна (в данном случае советская Россия), всякий беглец из своей страны должен априори считаться презренным и подозрительным, ибо существует вне какой-либо национальной администрации».

Важна для Набокова была и чисто эмоциональная, эстетическая сторона существования в этом странном мире. Известно, что русские вызывали усмешки западноевропейцев и некоторыми особенностями своего быта и поведения, манерой носить брюки (их узнавали безошибочно, не глядя на всё остальное) и бесконечными спорами о смысле жизни и о том, какую дивизию надо было в 1919 году повернуть чуть севернее или южнее. Писатель Илья Эренбург, который тогда ещё не решил, вернётся ли он с Запада в Советскую Россию, изобразил в романе

«Хулио Хуренито» русского эмигранта, который «привык рассказывать свою жизнь в вагонах». Иногда «туземцы» откровенно забавлялись, вплоть до заключения пари, наблюдая в кафе, как всего двое русских выпивают целую бутылку коньяка. Для Набокова, англаизированного с пелёнок, джентльмена, кембриджского питомца, была невыносима мысль, что в глазах «Европы» и он — он! — относится к толпе возбуждённых и расхристанных личностей с распахнутой душой, а нередко и с незастёгнутой ширинкой. При желании можно назвать это закомплексованностью.

Однажды сам Бунин пригласил его в ресторан для подробной беседы и углубления знакомства — такой, с русской точки зрения, сердечный и понятный жест. Могла бы состояться историческая встреча двух поколений русской литературы (Иван Алексеевич родился в 1870-м, Владимир Владимирович в 1899-м)! Но — не состоялась. «К сожалению, — вспоминал впоследствии Набоков, — я не терплю ресторанов, водочки, закусок, музыки — и душевных бесед. Бунин был озадачен моим равнодушием к рябчику и раздражён моим отказом распахнуть душу. В конце обеда нам было невыносимо скучно друг с другом».

Эпизод примечательный, знаковый. Эмигрантский писатель Василий Яновский, который был моложе Набокова на десять лет и уже полностью сформировался вне России, сравнивая взаимоотношения русских и западноевропейских писателей, рассказывает, что всего один раз в жизни, и то случайно, встретились жившие в Париже короли европейского модернизма XX века Марсель Пруст и Джеймс Джойс. Их представили друг другу. Они обменялись незначательными любезными фразами и раскланялись. «Им абсолютно нечего было сказать друг другу!» — восхищается Василий Яновский. Недаром говорится: что русскому здорово, то немцу смерть. Набоков изо всех сил лез в «немцы».

Он как бы сознательно всё дальше и дальше отходил от гуманизма, столь свойственного русской литературе, отдавая холодной эстетике, формотворчеству, доходящему до трюкачества, явное предпочтение перед этикой.

Это не прошло незамеченным даже в узком кругу людей, любивших его. Эмигрантская писательница Зинаида Шаховская, дружившая с Набоковым в 1930-е годы и много помогавшая ему, пишет, что уже тогда её кое-что тревожило в его творчестве, при том, что она чувствовала и предчувствовала, какое место займёт Набоков в мировой литературе. Её беспокоила «всё нарастающая надменность по отношению к читателю, но главное — его нарастающая бездуховность». Подобных оценок много. Талантливым пустоплясом назвал Набокова Куприн. А Бунин воскликнул: «Чудовище! Но какой писатель!» По мнению Зайцева, в книгах Набокова нет ни Бога, ни дьявола. К нему отрицательно относились маститая Зинаида Гиппиус и первый поэт эмиграции Георгий Ив́анов.

А уже цитировавшийся Олег Волков дал своему бывшему однокласснику (уже после его кончины) такую оценку: «Я не отнимаю у него ни таланта (он бесспорен), ни мастерства чисто литературного. Набоков — виртуоз русского языка, его эпитеты удивительно точны. Но прочтите от начала до конца любую его вещь — и почувствуете абсолютную сухость этого человека. У него нет сочувствия ни к кому». К этому отзыву я ещё вернусь, а пока скажу, что подобных оценок творчества писателя существует множество. Перечисленные недостатки (а если глядеть с другой стороны — достоинства) сделали Набокова одним из отцов (столпов) модернизма XX века. Рядом с ним — Джеймс Джойс, Марсель Пруст и Роберт Музиль, а в последнее время всё громче звучат голоса, что в этом ряду должен по праву стоять и Андрей Белый. Заметим, что никто из перечисленных не получил Нобелевской премии, столь престижной на Западе (да и в некоторых кругах в России), но и без того слава Набокова — всемирна.

У каждого из перечисленных выше писателей был свой путь на олимп модернизма. Что касается Набокова, то для него, как представляется, модернизм явился единственным выходом из его странного и тяжёлого положения. Сама собой разумеющаяся невозможность жить на родине; комплекс «сына того самого Набокова», отрезавший его



от большинства эмиграции; чуждость для русских из-за «европейскости»; чуждость для европейцев из-за русскости. Да плюс ещё непонимание в том узком слое, который ему оставался: те же самые старые русские интеллигенты, такие же, как его отец, восторженные поклонники Февральской революции, пришли в ярость, когда он в романе «Дар» непочтительно обошёлся с фигурой Чернышевского. Партийный подход был для Набокова принципиально неприемлемым, о какой бы партии ни шла речь. Он оттолкнулся даже от узкого кружка русских парижских поэтов, потому что, как он писал, «от поэзии требовалось, чтобы она была чем-то соборным, круговым, каким-то коллективом...»

Да ещё прибавилось одно житейское обстоятельство: жена-еврейка. Из-за этого Набоков вынужден был покинуть Германию в 1938 году, после ужесточения расовых законов. До этого ему, человеку, жившему как бы в другом измерении, нацизм не мешал. Так же как, заметим, не мешал многим другим русским эмигрантам еврейского происхождения — например, родителям и сёстрам Бориса Пастернака, которые благополучно жили-поживали в коричневой столице Третьего Рейха до того самого 1938 года. Тревога за жену не оставила Набокову иного выбора, как бежать от Гитлера в Америку. Надо ли говорить, что всё это лишний раз «рвало корни» и становилось помехой на пути какой-либо акклиматизации.

При такой беспочвенности и «бессредности», при существовании в окружении «призрачных туземцев», порою делавшихся смертельно опасными, для Набокова твёрдой и надёжной реальностью стало само слово, сам язык. Он сам создал себе среду обитания и приспособил её для жизни — совсем как Робинзон, только не на пустынном острове, а в человеческом муравейнике, обитателей которого он силой своего воображения превратил в призраки. И уж коли он мог назвать реальных немцев и французов «призрачными нациями», то в своих книгах, в мирах, созданных единственно воображением, он мог творить любые чудеса. В реальной жизни ему не давали ни на что

опереться, его отталкивали — ищи пятый угол. И он поселился в этом пятом углу.

Оттуда он смеялся над своими обидчиками, дразнил их, мистифицировал, дурил, разыгрывал — всего этого полно в его книгах.

НАБОКОВ В ПОЛУМАСКЕ

При всём моём глубоком уважении к Олегу Волкову я не могу согласиться с тем, что в ЛЮБОЙ вещи Набокова чувствуется сухость автора и равнодушие к людям. Не чувствую этого в таких произведениях, как «Машенька», «Дар», «Другие берега», «Пнин», «Истинная жизнь Себастьяна Найта» и, конечно, «Подвиг» — особенно любимый мной и нелюбимый модернистами роман о нестерпимой муке ностальгии. «Я всегда думал, что одно из самых чистых чувств — это чувство изгнанника, оплакивающего землю, где он родился. Я желал бы показать, как изо всех сил напрягает он память в бесконечных усилиях сохранить живыми и яркими картины былого: холмы, что запомнились голубыми, и благословенные дороги, и зайцев на пашне, и живую изгородь, в которую вплелась неофициальная роза, и колокольню вдали, и колокольчики под ногами...» О нет. Это говорит не застёгнутый на все пуговицы Набоков, который стесняется задушевных бесед под водочку с рябчиком, это говорит герой романа «Истинная жизнь Себастьяна Найта».

Бунин вряд ли читал эти строки. Набоков написал этот роман в 1938-м, ещё в Париже, но уже на английском, загодя думая о бегстве в Америку. Кстати, правильно задумывал. При всей своей аполитичности Набоков был весьма наблюдательным человеком и не мог не знать о широком распространении во Франции антисемитских настроений. Об этом долго молчали и сейчас неохотно говорят, но говорят, и признаются, что во время немецкой оккупации французы весьма охотно выдавали евреев гестаповцам. А уж чужеродной в различных отношениях, не интегрированной в местную среду семье Набоковых грозила более чем реальная опасность. А «Истинная жизнь...» была

издана в США в 1941-м, в разгар войны, то есть почти наверняка была неведома русской эмиграции в Европе. Да Бунин по-английски и не читал...

Особый пример набоковского насмешничанья над публикой — это, как представляется, знаменитая «Лолита». Известно, что писатель вложил фабулу «Лолиты» в уста отъявленного пошляка — одного из персонажей романа «Дар», написанного в 1938 году. В 1955-и он написал «Лолиту», которую, конечно, ни в коем случае нельзя отнести к пошлым романчикам (как она заявлялась в «Даре»), но что она насмешничает над всей пошлостью американского общества потребления и над неисчислимыми бульварными романами, сходящими с издательских конвейеров США, — сомнений нет. И эта книга решила материальные проблемы Набокова. Писатель немедленно бросил службу (он преподавал в университете) и уехал в Швейцарию. Там в пансионе он провёл остаток жизни, хотя перед отъездом с самым серьёзным видом говорил журналистам, что Америка — единственная страна, где он эмоционально и интеллектуально дома и что в Европе он не испытывал ничего, кроме скуки и отвращения. Много такой лапши навешал он на американские уши.

НАБОКОВ БЕЗ МАСКИ

Есть такое мнение — и его правомерность оспорить невозможно — что если не любить модернизм, можно и не читать Набокова, допуская даже, что с «водой» его словесных фокусов выплеснешь ребёнка его скрытых признаний в человеческой любви к родине, к людям, к жизни. Да лучше, мол, я перечитаю Шмелёва, не скрывающего свою ностальгию, чем буду расшифровывать её проявления у Набокова, говорят такие читатели. Ну не хочу я ничего расшифровывать — говорите со мной прямо! Повторю — вполне понятная и допустимая точка зрения. В связи с этим возникает вопрос — а писал ли Владимир Набоков что-то напрямую, показывался ли он когда-нибудь без маски? Ну а как же! Ведь он был и поэтом, а в стихах,

как известно, нельзя лгать — даже из благих побуждений. Не получается. Ни у кого.

Интересно было бы прочесть книжку о Набокове-поэте, только о поэте, чтобы не было даже упоминаний о «Даре», тем более — о «Лолите», вообще о Набокове-прозаике. В такой книжке перед нами предстал бы совсем не такой Набоков, к которому мы уже привыкли. Никаких розыгрышей, никаких комплексов, никакого эпатажа.

Он ведь и начинал как поэт — ещё в России. В 1923-м, в Берлине, издал два сборника стихов, которые потом скупал, помещая объявления в газетах, и уничтожал — подобно Некрасову, стыдившемуся своего первого сборника «Мечты и звуки». Следующий сборник Набоков выпустил в 1959-м, но именно в этом промежутке и был создан основной корпус его стихов. Они печатались «вроссыпь» во многих журналах и газетах Русского Зарубежья, значительная часть осталась неопубликованной. Однако всё, что сам автор считал нужным отдать читателю, он отдал; много черновиков и неудачных, по его мнению, вариантов уничтожил. Более того, он просил не копаться в подшивках и не разыскивать оставшееся за рамками проконтролированных им изданий. Надо уважать волю поэта.

Другое дело, что и отобранный Набоков не всех устраивает. Это, в общем-то, естественно, но спорить, думается, есть о чём. А именно: Набокова-поэта следует судить лишь поэтическими мерками, но ни в коем случае не вмешивать в эти оценки извлечения из его прозы, в которой, как уже говорилось, полным-полно ребусов и ловушек, обманых троп и эпатажа, розыгрышей и тщательно замаскированных намёков, взаимоисключающих утверждений, сделанных с совершенно серьёзным видом. Ну как можно судить о набоковской поэзии, если принять за чистую монету приводившееся выше заявление, что лишь в Америке он дома?

Увы, причислить автора к своему «направлению» (или отлучить от оногo) — давняя забава политизированных разнопартийных комментаторов и издателей, коими столь богат русский мир XX, да, впрочем, и XIX века. Весьма неглубокий, но широко известный автор монографии

«Русская литература в изгнании» эмигрант Глеб Струве (сам к тому же поэт, увы, заурядный) попрекал раннего Набокова сусальным патриотизмом его стихов, сентиментальной тоской по родине и «берёзкам» (взяв это слово в кавычки). Странно, что он ещё вербы не заметил — из одноименного стихотворения. Оно написано 26 июня 1919 года вскоре по приезде автора в Париж:

Колоколов напев узорный,
волнение мартовского дня,
в спирту зелёном чёртик чёрный,
и пестрота, и толкотня,
и ветер с влажными устами,
и почек вербных жемчуга,
и облака над куполами,
как лучезарные снега,
и красная звезда на палке,
и писк бумажных языков,
и гул, и лужи, как фиалки
в просветах острых меж лотков...

Итак, двадцатилетний беженец после долгих мытарств (хотя и не столь страшных, если соотнести их с судьбой тех, кто бежал из Крыма в ноябре следующего, 1920-го года, с Врангелем) попадает в Париж, в благоустроенный Париж, наполненный культурными сокровищами и всяческими соблазнами, попадает в теплынь, в комфорт, в полную безопасность, наконец, — и о чём же он пишет?

А ещё через несколько недель — стихотворение «Вьюга»:

...Тень за тенью бежит — не догонит
вдоль по стенке... Лежи, не ворчи.
Стонет ветер? И пусть себе стонет...
Иль тебе не тепло на печи?
Ночь лихая... Тоска избяная...
Что ж не спится? Иль ветра боюсь?
Это — Русь, а не вьюга степная!
Это корчится чёрная Русь!

Ах, как воеет, как бьётся — кликуша!
Коли можешь — пойди и спаси!
А тебе-то что? Полно, не слушай...
Обойдёмся и так — без Руси!..

Не могу согласиться с таким авторитетом, как Зинаида Шаховская, считающая, что в этом стихотворении «юноша предчувствует старого американского Набокова и, слыша, как „корчится чёрная Русь“, от боли, от любви, от отчаяния от неё отрекается». Всё здесь есть — любовь, боль, отчаяние, отречения — нет. Да и что такое «старый американский Набоков»? Любитель дурачить публику и говорить парадоксами? Выкидывать номера похлеще самого Сальвадора Дали? (Как-то один критик, свидетельствует та же Зинаида Шаховская, раздражённый дурачествами Набокова, назвал его Сальвадором Дали, переодетым швейцарским нотариусом.) Но ведь никто иной, как «американский Набоков» в разгар войны, в 1942-м, писал:

Далеко до лугов, где ребёнком я плакал,
упустив аполлона¹, и дальше ещё
до еловой аллеи с полосками мрака,
меж которыми полдень сквозил горячо.
Но воздушным мостом моё слово изогнуто
через мир, и чредой спицевидных теней
без конца по нему прохожу я инкогнито
в полыхающий сумрак отчизны моей.

Здесь в одной строфе блистательно, на мой взгляд, решена та задача, над которой писатель бился в романе «Подвиг» и в некоторых других прозаических вещах — задача (литературная, разумеется) возвращения в Россию. Но попробуйте поискать это стихотворение в многочисленных сборниках Набокова, которые один за другим стали издаваться в России после падения коммунизма. Чуткие носы «демократов», заправляющих издательским

¹ аполлон — вид бабочки.

бизнесом (как, впрочем, и другими секторами бизнеса), улавливают ненавистное им «светлое чувство изгнанника», щемящую боль за родную землю. «Демократам» подавай других эмигрантов — лучше какого-нибудь беспринципного «Зубра», героя позорного романа Даниила Гранина об учёном Н. В. Тимофееве-Ресовском, который спокойненько работал на Третий Рейх все годы Второй мировой войны. (В связи с этим не могу не вспомнить одну знаковую фотографию перестроечных лет. Горбачёв снят с группой деятелей, все ещё по советским стандартам при параде. Только Гранин без галстука. И сидит певец измены рядом с генсеком-изменником...)

...Немало бумаги исписано в доказательствах того, что Набоков-де стал гражданином мира, что неважно, где жить и где стоит твой письменный стол, важно хорошо писать, а вздыхать о родных берёзках (или кокосовых пальмах) вовсе необязательно. При этом обильно цитируется и сам Набоков. Но, думаю, на весах истины всегда перевесит поэтическая строка. Перефразируя Маяковского, скажу — мало ли что можно в прозе намолоть, а вот в поэзии это никак не возможно. Поэзия от начала, от века обладает презумпцией искренности, неподдельности, правды.

В книжке о поэте Набокове, написанной без оглядки на его прозу и тем более публицистику, будет отмечена его скромность. Только скромный человек мог написать тысячестраничный (!) комментарий к своему переводу «Евгения Онегина» на английский. Уж здесь-то нельзя было сомневаться, что ни престижных премий, ни скандальной славы, ни, скорее всего, даже упоминаний в предисловиях к «Избранному» не будет. Но есть иные награды. Мне доводилось участвовать в мероприятиях МАПРЯЛ (Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы), и не раз слышать от иностранцев, что в русскую поэзию англоязычные люди на всём земном шаре входят через набоковские переводы и комментарии.

КОРОЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ

Насколько американские негры-джазисты приличнее и деликатнее насельников российской эстрады! На заре джаза, в самом начале XX века блистал Кинг Оливер. Кинг (Король) — почтительная кличка, сценический псевдоним-титул. Следующим великим стал Дюк Эллингтон. Псевдоним Дюк — означает Герцог, это признание того, что король был выше. А затем пришёл Каунт Бейси (каунт — граф, ещё скромнее в титульной номенклатуре). И только через полвека после Оливера Кинга джазовый мир вторично возложил королевскую корону на чью-то голову, и на трон взошёл Нат Кинг Коул... А у нас Новелла Матвеева доказывала, что не Окуджава, а она была самой первой. Что ж, от скромности такие не умрут...

Всё это присказка. Основоположником жанра авторской песни в нашей стране был Александр Николаевич Вертинский (1889–1957). В отличие от Новеллы Матвеевой и других российских «бардов» он был хорошим поэтом. Вертинский родился в великом русском городе Киеве и ко времени революции стал довольно известным эстрадным артистом. В разгар гражданской войны эмигрировал. Грек-жулик продал ему фальшивый греческий паспорт на имя киевского уроженца Александра Вертидиса и гарантировал (как оказалось — честно) веру в подлинность его паспорта со стороны всех полицейских мира, за исключением, естественно, греческих. Четверть века скитался русский

артист по «загранице», объехал множество стран, но благо разумно отказывался от гастролей в Греции, хотя ему не раз это предлагали. В 1943 году, в разгар Великой Отечественной войны, он вернулся на Родину. Судьба отпустила ему последние 14 лет прожить советским гражданином, не Вертидисом, конечно, а Вертинским. Он умер, как воин в бою, за кулисами своего последнего концерта.

Хотя реэмиграция Вертинского не рекламировалась прессой тех лет, она не прошла незамеченной и для советского фольклора. Рассказывали такой, например, анекдот: Вертинский, сделав первые шаги по родной земле, поставил чемоданы, театрально воздел руки и воскликнул «О родина!...» Оглянулся, чемоданов нет, и окончил фразу — «узнаю тебя». Ходила легенда, что он подарил Советскому Союзу санитарный поезд; впоследствии писательница Наталия Ильина, вернувшаяся на родину из Китая, где она была знакома с Александром Николаевичем, высмеяла эту легенду: артист никогда не имел подобных денег. Позднее литератор Евгений Витковский в предисловии к антологии поэзии Русского Зарубежья писал, что, якобы преследуя поэтов-реэмигрантов, власти «демонстративно» поселили Вертинского в центре Москвы, на улице Горького. Это тоже выдумка. Вертинскому дали скромную и тесную трехкомнатную квартиру на тогдашней окраине — на Хорошевском шоссе, в хлипком двухэтажном доме, построенном пленными немцами (сейчас на этом месте взметнулись небоскрёбы). Он обменял её с доплатой на ту самую квартиру на улице Горького (Тверской). Говорю об этом так уверенно, потому что менялся он с моими родственниками; я, тогда подросток, видел великого артиста и его супругу во время этих бытовых переговоров. Но главное, конечно, не в этом.

Я счастлив, что несколько раз видел его на сцене. Не буду повторять написанное многими, что жесты Вертинского были не добавкой к вокальной части его песен-спектаклей, а равнозначной их половиной. Соглашусь, конечно, с тем, что нам остался лишь уполовиненный Вертинский, так сказать, звукоряд без видеоряда. Но добавлю, что подобное

преступление могло совершиться, наверное, только в нашей стране. В своё время великому русскому поэту Сергею Есенину досталось лишь шесть секунд экранного времени, и то случайно. Умалчивая о десятках километров киноплёнки, изведённой на Троцкого, защитники советской эпохи не раз доказывали, что во времена Есенина (он был убит в 1925-м) киноиндустрия СССР была ещё недостаточно развита. Но что сказать о временах Вертинского, от которых кинохроника оставила записи множества бездарей... Нет, нет, отказ увековечить на киноплёнке великого русского артиста был сознательным, злобным актом его недругов и завистников!

Необходимое уточнение — Вертинский снимался в кино, эта его работа не замалчивалась, он был удостоен Сталинской премии за роль кардинала в фильме «Заговор обречённых». Но кино для Вертинского было побочным заработком, главным в его творчестве были песни. А вот рецензий о его концертах не публиковали, рекламы практически не было. Так, на двери какого-нибудь клуба прищипливали скромную афишку. Можно было жить на соседней улице и не знать, что в квартале от тебя с бешеным успехом выступает прославленный во всем мире артист-реэмигрант.

В 1956 году, то есть при хрущёвской «оттепели», которую теперь кое-кто вспоминает с ностальгической слезой, Вертинский писал министру культуры СССР товарищу Кафтанову: «...Наверху всё ещё делают вид, что меня нет в стране. Обо мне не пишут и не говорят ни слова. Газетчики и журналисты говорят: „нет сигнала“. А между тем меня любит народ! (Простите мне эту смелость.) 13 лет на меня нельзя достать билета! ... Я объехал всю нашу страну, заканчиваю уже третью тысячу концертов... Ко мне приходят за кулисы совсем простые рабочие, жмут мне руку и говорят: „Спасибо, что вы приехали! Мы отдохнули сегодня на вашем концерте. Вы открыли нам форточку в какой-то иной мир — мир романтики, поэзии, может быть, снов и иллюзий, но это мир, в который стремится душа каждого человека! И которого у нас нет (пока)“.

Все это даёт мне право думать, что моё творчество, пусть даже и не очень „советское“, нужно кому-то и, может быть, необходимо. А мне уже 68-й год! Я на закате... Не пора ли уже посчитаться с той огромной любовью народа ко мне, которая, собственно, и держит меня, как поплавок, на поверхности и не даёт утонуть?... Я хочу задать вам ряд вопросов. 1. Почему я не пою по радио? Разве Ив Монтан, языка которого никто не понимает, ближе и нужнее, чем я? 2. Почему нет моих пластинок? Разве песни, скажем, Бернеса, Утесова выше моих по содержанию и качеству? 3. Почему нет моих нот, моих стихов? 4. Почему за 13 лет нет ни одной рецензии на мои концерты? Я получаю тысячи писем, где меня спрашивают обо всём этом. Я молчу... Странно и неприлично знать, что за границей обо мне пишут, знают и помнят больше, чем на моей Родине!» В конце письма Вертинский написал слова, которые могли бы стать эпитафией на его могиле: «Меня любил народ и не заметили его правители».

Одна из граней феномена Вертинского — это тот неопровержимый факт, что его искусство, его творческая манера (которая, конечно, претерпевала определенную эволюцию, совершенствовалась, но в целом оставалась неизменной) оказалась востребованной тремя различными аудиториями, тремя различными мирами — дореволюционной Россией, Русским Зарубежьем и Советским Союзом. Иными словами — русскими людьми XX века, в какие бы социально-политические обстоятельства ни ставила их судьба. И заметим попутно, сколь это отличается от восприятия многих (фамилий называть не будем) недавних кумиров, чей кукиш в кармане так волновал публику, когда же политическая система сменилась и кукиш потерял смысл, оказалось, что больше в кармане ничего и нет. И пусть этим кумирам ещё ставят памятники и оказывают доходящие до странности преувеличенные почести (например, учреждение стипендии имени Окуджавы в Литературном институте, к которому покойный бард не имел никакого отношения), но их время кончилось, а время Вертинского продолжается.

Конечно, в эмигрантской и в советской аудитории Вертинского воспринимали несколько по-разному. Начиная с самих текстов его песенок. Например, когда он пел

Как хорошо с приятелем вдвоём
Сидеть и пить простой шотландский виски,

то советским слушателям 1940–1950-х годов (в частности, мне и моим друзьям) таинственный и неведомый тогда виски казался сладким, как любой запретный плод, и слово «простой» звучало едва ли не насмешкой (ничего, мол, себе простой — шотландский!). Понятно, что у наших ровесников — молодых русских людей, живущих в Париже или Сан-Франциско, такого быть не могло, они воспринимали эту строку в её прямом смысле. С другой стороны, мы «напрямую» воспринимали строки из написанной на слова Раисы Блох (её убили в нацистском концлагере) знаменитой песни Вертинского «Чужие города»:

Принесла случайная молва
Милые, ненужные слова —
Летний Сад, Фонтанка и Нева...

А для молодежи из эмигрантских семей эти географические точки, до которых мы могли добраться при желании за несколько часов, и как правило хорошо нам знакомые в реальности, звучали как волнующе-таинственные наименования из мифа о затонувшем русском Граде Китеже. Разумеется, в 1940–1950 годы, когда мне доводилось бывать на концертах Вертинского, я не думал о такой разнице восприятия его песен, но в 1970–1980 годы мне пришлось много раз беседовать на эти темы с людьми из эмигрантской среды (я работал в газете «Голос Родины», издававшейся для соотечественников за рубежом). Помню, как с одним таким человеком мы сравнивали наше восприятие такой, например, строфы:

В этой комнате проснёмся мы с тобой,
В этой комнате, от солнца золотой;

Половицы в этой комнате скрипят,
Окна низкие выходят прямо в сад.

Мы соглашались, что первые две строки не обращают слушателя ни к какой конкретике — «золотой от солнца» комната может быть и во дворце и в крестьянской избе. Но вот последние строки вызывали у нас совершенно различные ассоциации. Для меня это были воспоминания о недавнем дискомфортном проживании в деревянной развалюхе, из которой я с трудом вырвался в городскую квартиру, моим же собеседником неупотребляемое в его парижской среде слово «половицы» воспринималось как термин «из бабушкиного фольклора» — из семейных преданий о жизни семьи ещё «там», ещё в России.

Но главное, что помогало мне глубже вникать в феномен Вертинского, это не детали и даже не конкретные тексты, а понимание атмосферы, в которой работал артист, в которой жили его слушатели-зрители. Мне давно стало очевидным, что советские поклонники Вертинского, особенно старшего поколения, наслаждаются самим его «старорежимным» внешним видом, его манерами, его выговором, его дистанцированностью от воинствующего бескультурья, которым — при всех своих достоинствах! — грешила подсоветская жизнь («мы люди простые», «чай, не из графьёв», «да мы по-простому, без ножа с вилкой обойдёмся» и т. д.), от бодряческих пропагандистских клише, наслаждались тем, что вся его программа была пронизана добротой, культурностью и гуманностью, которых так не хватало в нашей суровой жизни. Однако не сразу мне стало понятно, что то же самое привлекало к нему и зарубежную русскую публику.

Что греха таить, многие из нас были склонны идеализировать «заграницу», жизнь русских эмигрантов в том числе. Да, там не боялись КГБ, не были вынуждены выносить хамство любого продавца, но там русским людям тоже было тяжело, иначе, чем у нас, но — тяжело. «Чужие города» для нас были отвлеченным понятием, для наших братьев за рубежом это была суровая повседневность. Русские

люди с «нансеновскими» паспортами беженцев от революции вовсе не свободно перепархивали из Франции в Англию и в США из Бельгии. Не будем говорить о знаменитостях, в основном русские эмигранты были на Западе людьми второго сорта. Эти реалии 1920–1940-х годов надо иметь в виду, чтобы представить себе, какая публика приходила на концерты Вертинского и понять, почему она так близко к сердцу принимала его искусство.

Да и сам артист хорошо понимал, кто составляет его публику. О восприятии его песен простыми советскими людьми уже говорилось выше. Видимо, нечто подобное (при определённой разнице в деталях) испытывали и его зарубежные поклонники. Надо думать, Вертинский имел в виду всех, независимо от страны проживания и политического строя, когда писал своё знаменитое стихотворение:

Я всегда был за тех, кому горше и хуже,
Я всегда был для тех, кому жить тяжело.
А искусство моё, как мороз, даже лужи
Превращало порой в голубое стекло.
Я любил и люблю этот бранный и тленный,
Равнодушный, уже остывающий мир,

И сады голубые кудрявой вселенной,
И в высоких надзвездях синий эфир.
Трубочист, перепачканный чёрною сажой,
Землекоп, из горы добывающий мел,
Жил я странную жизнью моих персонажей,
Только собственной жизнью пожить не успел.
И, меняя легко свои роли и гримы,
Растворяясь в печали и жизни чужой,
Я свою — проиграл, но зато Серафимы
В смертный час прилетят за моею душой.

Ещё одной особенностью искусства Вертинского было то, что его гуманность привлекала людей самых разных политических предпочтений — а Русское Зарубежье отличалось необычайной политизированностью, поражавшей

как коренных жителей западных стран, так и представителей других диаспор, польской, например, или армянской. Там, где поселились трое русских, немедленно образуются четыре политические партии, — шутили в эмигрантских кругах. Что было, то было. Милюков не давал заработка Марине Цветаевой — не мог простить ей её «белогвардейщины». Тот самый Милюков, справедливо считавшийся в СССР одним из вождей «белой эмиграции». Тот же Милюков и его присные не пропустили в печать главу из романа Набокова, в которой он непочтительно отзывался о Чернышевском. Один раз и Вертинский вызвал резкое неудовольствие этой публики — когда написал и спел песню «О нас и о Родине» (1935 год):

Проплываем океаны,
Бороздим материки
И несём в чужие страны
Чувство русское тоски.
И никак понять не можем,
Что в сочувствии чужом
Только раны мы тревожим,
А покоя не найдём.
И пора уже сознаться,
Что напрасен дальний путь,
Что довольно улыбаться,
Извиняться как-нибудь.
Что пора остановиться,
Как-то где-то отдохнуть
И спокойно согласиться,
Что былого не вернуть.
И ещё понять беззлобно,
Что свою, пусть злую, мать
Всё же как-то неудобно
Вечно в обществе ругать.
А она цветёт и зреет,
Возрожденная в огне,
И простит и пожалеет
И о вас и обо мне!

Достоверно известно, что эта песня пользовалась огромным успехом, а осуждавшие её эмигрантские догматики, поспешившие приклеить к фраку Вертинского ярлык «большевизан», остались в явном меньшинстве. Что касается восприятия Вертинского в советских аудиториях, там тоже не обходилось без «оппозиции». Иногда на его концерты попадали люди, которые просто не понимали жанра, они ждали вокала и возмущались «безголосьем» артиста (забыв, конечно, о том, что тот же Бернес или популярный в те годы политический куплетист Набатов тоже не могли похвастаться певческими данными). А чаще всего их раздражали как раз те «старорежимные» реалии, которые, как говорилось выше, притягивали старых интеллигентов. Их раздражали даже такие слова, как «гимназистки», «иконы», «королевы», «джаз-банды в парижских ресторанах»... Не наше это, зачем это нам? (Догматики, как известно, склонны считать свои групповые и даже индивидуальные вкусы мнением общенародным.) Иной раз дело доходило и до острых конфликтов в публике.

В одном из них мне, тогда студенту, довелось принять самое непосредственное участие (было это в 1951 или 1952 году). Перед нами сидели два пожилых человека с множеством орденских ленточек на пиджаках, они мешали нам слушать нашего кумира — смеялись, делали вслух оскорбительные замечания, громко разговаривали между собой. Их пытались урезонить — бесполезно. Тогда я ткнул одного из них кулаком в затылок и сказал что-то вроде «Заткнись, хам, надоел! Не нравится — уходи!». Вскоре объявили антракт, и мой «оппонент» начал было меня отчитывать: сопляк, преклоняешься перед пережитками, шёл бы на завод работать и т. д. Я не сдержался и ударил его по лицу. Тот было завопил «Милиция!», но произошло нечто удивительное — его окружила возмущённая толпа, вставшая на мою защиту; люди кричали, что дадут показания в мою пользу, и срамили его невежество. На второе отделение этот человек не пришёл. А я до сих пор не знаю, гордиться ли мне моим поступком или стыдиться его.

Слава Богу, сейчас подобное было бы невозможным. Вертинский, хоть и не в полной мере, вышел из искусственной тени замалчивания. Изданы его книги, книги о нём, изданы пластинки и диски, передачи о нём можно услышать по телевидению. А главное — новые поколения певцов обращаются к его наследию. Конечно, получается по-разному. Некоторые, как, скажем, Скляр, делают это плохо, а некоторые, как, например, Домогаров, — хорошо. Но и неудачи свидетельствуют о том, что творчество великого артиста живёт и продолжает волновать людей. К сожалению, не столь часто, как они того заслуживают, публикуются стихи Александра Николаевича. Но — не всегда из-за позиции или невежества издателей. В прекрасной антологии Русской поэзии XX века, составленной высокопрофессиональными специалистами Владимиром Костровым и Геннадием Красниковым, есть сведения о Вертинском-поэте, а сами стихотворения «отсутствуют по воле наследников». Ну что ж, закон есть закон. Будем надеяться, что со временем поэтический голос Вертинского зазвучит без всяких ограничений.

КАЗАЦКАЯ ДОБЛЕСТЬ

Молодому писателю, если он идёт своим путём, без подражательства литературную власть имущим, да ещё не имеет поддержки, происходя из далекой от литературной «элиты» среды, всегда трудно. Шолохову было труднее всех, потому что на нём ещё стояло клеймо «казак». Без понимания этого нельзя осознать величие его подвига.

Гражданская война ударила по всем слоям российского общества, но не в равной степени. Казачество, к которому принадлежал Шолохов, пострадало больше всех: только по отношению к нему большевики применили политику геноцида. Разумеется, это слово ими не употреблялось, они заменили его термином «рассказывание». Здесь не место углубляться в подробности этих страшных дел, напомним лишь, что главными преступниками были Свердлов и Троцкий (разумеется, при полной, но не всегда явной поддержке Ленина). Они вырабатывали идеологию и отдавали приказы, кровь лили их подручные вроде Якира. Этот двадцатилетний кишинёвский фармацевт с таким рвением занимался казацким холокостом, что ему по праву следовало бы присвоить звание красного группенфюрера.

Рассказывание это не только массовое уничтожение людей (якиры расстреливали и рубили шашками не только мужчин и стариков, но и детей и женщин), это и массовые депортации. Казаков изгоняли с земель, на которых они жили из поколения в поколение, и переселяли на их

место горские народы Северного Кавказа. Основанием для этого выставлялось то, что казаки были опорой царского режима, а нерусские народы «угнетались царизмом» (не здесь ли многие завязки нынешних «чеченских» проблем?). Но и это не всё. К казачеству применялись также методы национального унижения и морального давления. Было запрещено само слово «казак», запрещалось носить традиционную одежду (штаны с лампасами, фуражки), советская пропаганда начала 1920-х годов устраивала форменную травлю российского казачества, постоянно и злобно клеветала на его историю, на его образ жизни и обычаи, на его, выражаясь по современному, менталитет. В те времена слово казак в устах партийных пропагандистов было практически равнозначно таким словам, как реакционер, палач, погромщик.

Вот на каком политическом и нравственном фоне начал свою литературную деятельность донской казак Михаил Шолохов, который, кстати сказать, и не думал отрекаться от своей среды, как за четверть века до того отрёкся от своей среды Максим Горький. Шолохов вошёл в литературу в те годы, когда уже не было крайностей «рассказачивания», но антиказацкие настроения в партийно-правительственном аппарате и особенно в идеологических службах СССР были очень сильны. К «Тихому Дону», первый том которого был опубликован в 1928 году, писатель приступил за три года до того, то есть еще «при Троцком». Напомним, что «апостол мировой революции», ненавистник России и особенно казачества был сброшен с политического Олимпа лишь в самом конце 1927-го, но это не означало конца троцкизма. В 1936 году в составе Красной Армии появились казачьи части. Надо ли говорить, что этому пытались воспрепятствовать такие троцкисты, как тот же Якир, занимавший тогда высокий армейский пост (через год он будет расстрелян, а при Хрущёве реабилитирован — «кукурузника» преступления против казачества не волновали).

Опуская множество интереснейших подробностей, можно сказать, что путь шолоховских произведений

к читателю проходил не только в литературной, но и в политической борьбе, в борьбе с преодолением антиказацких, троцкистско-свердловских настроений. Забегая вперед, скажу, что полностью, без купюр, текст «Тихого Дона» увидел свет лишь в... 1969 году. И последним отрывком, долгие годы скрывавшимся от читателя, было описание того, как красноармейцы изгоняли Троцкого с митинга. Так что не надо думать, будто всех поклонников Льва Давидовича перестреляли в тридцатых годах! А в двадцатых, когда Шолохов занялся писательством, они были очень, очень сильны, что же касается литературной жизни, они занимали господствующие позиции.

Распоряжалась тогда писательскими репутациями и судьбами так называемая Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП). Её идеологи Авербах, Лелевич, Гроссман-Рошин и другие, ныне забытые (и справедливо забытые) прилитературные функционеры-проходимцы, делили писателей на «чистых» и «нечистых», на советских и несоветских, на пролетарских и непролетарских. Причём это были не просто литературные оценки; от этих приговоров зависела возможность издания, а порой и сама возможность физического существования. Они отказывали в «пролетарском звании» даже Фурманову, автору сразу же ставшего очень популярным «Чапаева», не говоря уж о Маяковском, которого неизменно именовали «попутчиком».

Полусумасшедшая критикесса Лидия Тоом и писатель Александр Бек провозглашали на пленуме правления РАПП, что только человек пролетарского происхождения может создавать пролетарскую литературу. Это очень важный момент в понимании литературной обстановки тех лет и судьбы Шолохова в частности. Прежде всего следует обратить внимание на термин — пролетарские писатели; не народные, а именно пролетарские. Тем самым от «своих», от «советских» отсекались крестьянские писатели (их презрительно именовали «мужиковствующими»), выходцы из среды ремесленников, кустарей, сельской интеллигенции, учительства, врачебного сословия,

музыкантов и т. д. и т. п., то есть представители подавляющего большинства народа (о дворянстве, духовенстве, офицерстве и говорить излишне). Ни Есенин, ни Фадеев, ни Фурманов, ни Шолохов не были «пролетариями от станка», а потому в глазах Авербаха и его сообщников были не вполне чистопородными, не говоря уж о совсем «чуждых» Алексее Толстом, Булгакове, Пришвине, Маяковском и других замечательных художниках слова.

Уместно задать вопрос — а судьи кто? Вопрос интересный. Леопольд Леонидович Авербах происходил из богатой буржуазной семьи. Но он был племянником Свердлова, родственником главы ОГПУ Ягоды и любимцем Троцкого, который ввел 17-летнего Авербаха в руководство Коммунистического интернационала молодежи (КИМ), комсомола и сделал первым редактором журнала «Молодая Гвардия». Когда Шолохов начинал писать, Авербах редактировал журнал «На литературном посту», игравший роль цензора, надсмотрщика, жандарма и главного осведомителя «органов» в писательских кругах. Иуда Соломонович Гроссман, еще до того, как приписал к своей фамилии приставку Рощин, был «идеологом» у Махно. Но его не пугали дотошные советские анкеты. Считалось, что он покаялся за свои грехи времён Гражданской войны — и ладушки (надо ли говорить, скольких людей поставили в те времена к стенке за гораздо меньшие прегрешения — но они не имели связей с авербахами). Невероятной озлобленностью по адресу «непролетариев» отличался критик «Г. Лелевич» (Лабори Гилелевич Калмансон), Он был настолько одиозен, что даже РАПП предпочла от него избавиться, и он куда-то делся. И вдруг в 1934 году он объявился на Первом съезде советских писателей в качестве «дагестанца»! Вот эти деятели и вершили литературный суд в двадцатые годы, это они блюли классовую чистоту писательских рядов.

О нет, они не были дураками, эти деятели, они были ловкими литбизнесменами. Они с гордостью заявляли, что создали самую массовую писательскую организацию — в 3000 человек, прекрасно понимая, что в литературе

уместен лишь штучный счет. Размах и «охват» давал им силу, а малограмотность и наивность подавляющего большинства пролетарских «писателей» позволяла им не бояться никаких выборов-перевыборов, давала уверенность, что они и впредь будут занимать руководящие посты. Однако для авторитета организации нужны были имена. Они сразу поняли, какого масштаба шолоховский талант; только прямолинейный и глуповатый фанатик Владимир Ермилов поначалу ничего не увидел в Шолохове, кроме ...подражания Бабелю, но товарищи по РАППу его вразумили, и он перестроился. Рапповцы повели по отношению к Шолохову тонкую игру: они и хвалили его, но всегда с оговорками. Неплох, мол, но куда ему до Либединского. Делает успехи, но не дотягивает до правильного понимания исторических событий. Не раз в рапповских изданиях Шолохова называли кулацким писателем, что в те годы звучало как прямое обвинение в политической неблагонадёжности.

Возникла парадоксальная ситуация: сразу же по выходе первого тома «Тихий Дон» начал триумфальное шествие по миру, завоевывая — после появления переводов — одну страну за другой, а в СССР нападки на писателя усиливались. Западный мир поражался тому, что советская литература может породить гениальное произведение, «красного» Шолохова приняли «белые» (русские эмигранты), а рапповский журнал «Настоящее» писал в 1929 году, что Шолохов «объективно выполнял задания кулака и потому стал приемлемым и для белогвардейцев». На Шолохова нападали многие рапповцы — и уже упомянутая Лидия Тоом, и даже Александр Фадеев, который выискивал в «Тихом Доне» «крестьянскую или казачью идеологию», по его мнению — «не нашу».

Но самая главная атака на Шолохова была организована не с писательских трибун. Именно тогда, в 1929-м, был пущен подлый слух о том, что якобы «Тихий Дон» написан не Шолоховым. Разжёвывались различные версии; подлинным автором великого романа называли то донского писателя Фёдора Крюкова, то неведомого белого офицера,

чьей сумкой с рукописью якобы завладел Шолохов, то ещё кого-то. Сразу же по возникновении сплетни было опубликовано заявление группы писателей, в котором она опровергалась. Подписали заявление Александр Серафимович (он сразу осознал значение Шолохова и оказывал ему сильную поддержку), Александр Фадеев, Леопольд Авербах. Да, Авербах подписал это письмо, хотя некоторые исследователи полагают, что это была хитрая игра и что клевета была сфабрикована самим руководством РАПП. Не думаю, что это так: в 1929 году над РАППом уже начали сгущаться тучи, Авербах не мог не видеть, с каким успехом двинулся по планете «Тихий Дон», и ему было выгодно иметь Шолохова в союзниках, а не во врагах.

Историки литературы много спорили по этому поводу, и большинство из них пришло к выводу, что автором гнусной сплетни был весьма влиятельный в двадцатые годы критик Исая Лежнёв (Исаак Альтшулер). Ярый троцкист, он входил в число ближайших сподвижников руководителя всемогущего Агитпропа, (отдела агитации и пропаганды ЦК партии) Яковлева (Эпштейна), который в страшные годы коллективизации был наркомом земледелия. Кстати, позднее советская пропаганда «пускала дезу» — приписывала неким неназванным белоэмигрантам клевету в адрес писателя. Но позорный «приоритет» Лежнёва скрыть не удалось.

Однако, надо признать, не удалось и погасить гнусную сплетню. Не помогли ни мнения авторитетов, ни первый компьютерный анализ, произведенный в Швеции сразу же после появления компьютеров и ещё до того, как Шолохову была вручена Нобелевская премия. Не помогла даже недавняя находка рукописи «Тихого Дона». И сейчас, когда уже давным-давно сошли со сцены рапповцы, когда сменилось несколько литературных поколений, время от времени появляются клеветнические антишолоховские статьи.

Среди их авторов — люди, и не слышавшие о существовании Исаия Лежнёва или РАППа, люди, порой совершенно далёкие от истории литературы и никогда ею не

интересовавшиеся (знаю, о чем говорю, за полвека в журналистике пришлось лично сталкиваться с подобными типами). И речь не только о «похищении „Тихого Дона“». Образованцы любили распускать и распускают о Шолохове любые порочащие его слухи — и о его мнимой неосведомлённости в истории и о якобы принадлежавшем ему «помещичьем» хозяйстве с тракторами и грузовиками (что в советских условиях было совершенно невероятно).

Помню, в конце 1940-х годов в интеллигентских кругах Москвы ходила такая байка. Якобы на одном из писательских заседаний Эренбург в своем выступлении употребил словосочетание «моя родина». И якобы Шолохов с насмешкой спросил его: о какой именно родине вы говорите? На что Эренбург якобы ответил: о той самой, которую в 1918 году предали донские казаки. Насколько я смог узнать, в реальности такой перепалки между двумя писателями не было, но байка характерна отношением образованцев и к Шолохову, и к казачеству. Приписать Шолохову антисемитскую выходку с намеком на недавнее создание государства Израиль — это по сути политический донос. А вот собственного хамства по отношению к казакам, огульного обвинения их всех в предательстве — и не заметить (речь не об Эренбурге, разумеется, а об авторе байки). В чем же причина такого упорства наших недругов?

Причина, думается, достаточно проста. Шолохов — первый из мировых классиков — выходец из русского «простонародья», тем более — казак. Это непереносимо для русофобской братии — начиная от местечковых «идеологов» типа Лежнёва и кончая «эрудитами» из «элитарных» западных университетов. Но как бы ни морщились они и ни кривились при слове «казак», «мужик», «мастеровой», а, как говорится, «скушать пришлось». Самыми крупными фигурами великой русской литературы XX века являются как раз выходцы из «простонародья» — Михаил Шолохов и Андрей Платонов в прозе, Сергей Есенин в поэзии. Они и стали подлинными новаторами — новаторами не в придумывании всяческих «закидонов», необычных словосочетаний и рифм, а в открытии читателю

неведомого раньше восприятия мира. Народный опыт, начинающийся с генетических ощущений, с досознательного усвоения колыбельных песен, невозможно заметить никакими университетскими ухищрениями. И дело не только в знании — в конце концов, можно овладеть любыми идиомами и местными речениями, научиться косить траву и править косу. Дело не в знаниях, вернее не столько в знаниях этого, сколько в понимании отношений между людьми. А это не даётся человеку со стороны, как не даётся иностранцу стать писателем в какой-то чужой стране. (Исключения, если и бывают, то не они определяют литературный процесс). Вот почему как бы «образованцы» ни «раскручивали» своих кандидатов в классики, те проваливаются на выборах, то есть на самом главном для писателя испытании — испытании читательской любовью. Никто из них не сумел подняться до таких вершин, как «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они сражались за Родину» и «Судьба человека».

...Много лет тому назад довелось мне в одном частном доме встречаться с тогдашним послом США в СССР Джеком Мэтлоком. Не имея русских корней, он хорошо говорил по-русски; язык изучал в Колумбийском университете, в Нью-Йорке, в конце 1940-х годов. Мистер Мэтлок рассказывал, как он с другими студентами-русистами ходил в один ресторан, где официантом работал русский эмигрант, родом донской казак. Этот человек был страстным любителем Шолохова. Он мог наизусть читать по несколько страниц из «Тихого Дона», рассказывал посол, а мы следили по тексту книги; ни одной ошибки!

ОТМЫВАНИЕ ЧЁРНОГО КОБЕЛЯ

ПОЛИТШЛЯГЕР ГЛАЗАМИ ВЕТЕРАНА «ШАРАШКИ»

Миллионам наших сограждан буквально навязан сериал «В круге первом»: несколько недель телевизионные новости прерывались рекламными клипами, рекламные листовки бросали в почтовые ящики, ими обклеили вагоны метро и т. д. Глеб Панфилов снял фильм по сценарию Александра Солженицына. Писатель взял за основу свой роман, который, в свою очередь, стал переработкой его ранней повести.

Подробность не лишняя, ибо она связана с самим сюжетом, со смыслом произведения. В первом варианте дипломат Иннокентий Володин пытался предостеречь не имеющего дурных намерений иностранца от контакта с одним советским гражданином, потому что чекисты могут истолковать это «не так», раздуть из мухи слона и арестовать наивного зарубежного гостя. Такой вариант повести вызывал сочувствие к Иннокентию, который из-за этой, в сущности, ерунды становится узником ГУЛАГа. В романе Иннокентий звонит в американское посольство совсем по другому поводу: он хочет сорвать намеченную в Нью-Йорке передачу атомных секретов советскому разведчику. И взгляд на героев повествования меняется.

Солженицын (а значит и Панфилов) — против того, чтобы СССР обзавёлся атомным оружием, против того, чтобы была нарушена монополия США на обладание им. Почему же? Устами Глеба Нержина (персонаж, которому писатель придал свои собственные черты и взгляды) говорит в ёрнической манере: «Тебе нужна атомная бомба? Мне — нет. Мне не нужно владычество над миром». В другом месте (в размышлениях Иннокентия): «Это невыносимо, что так бессовестно уворуют бомбу — и начнут ею трясти через год». Ещё Иннокентий, обращаясь к самому себе: «Ты не дал украсть бомбы, значит, ты не дал её Родине. А зачем она — Родине?» И ещё: «Иннокентий пытался спасти цивилизацию».

Всё это кроме как подлостью не назовёшь. Разумеется, сочинить можно всё что угодно, фантастическую повесть в том числе, но здесь не тот жанр, и бешеная реклама вопит отнюдь не о фантастических вывертах, а об «историческом реализме» писателя: смотрите, дескать, и ужасайтесь тому, как оно было. Но было-то как раз наоборот! Солженицын повествует в романе (и в сценарии) о временах холодной войны и атомного диктата США, конкретно — о последних днях 1949 года. Кстати, если говорить о реальной, а не виртуальной истории, за три месяца до того СССР уже провёл испытания своей атомной бомбы, так что сюжет и разглагольствования героев романа лишаются смысла. Что это — прихоть писателя? Думаю, переделывая первый вариант во второй, он просто поторопился и допустил небрежность. А изменять время действия было слишком хлопотно.

Но как бы то ни было, роман «В круге первом» повествует о декабре 1949 года. Это был разгар холодной войны. В апреле того года был подписан Северо-Атлантический договор и создан военно-политический блок НАТО. Он был нескрываяемо направлен против СССР, и советское руководство показало это всему миру. Оно обратилось с просьбой о вступлении в НАТО (в декларации о его создании говорилось, что к договору могут присоединиться все желающие), но ему было отказано. Упоённые своей атомной монополией, американские генералы разрабатывали, уточняя

и «совершенствуя», все новые и новые планы атомного нападения на СССР. Во время действия солженицынского романа на пентагоновских столах лежал план «Троян». Предполагалось начать войну 1 января 1950 года и сбросить 300 атомных бомб на 100 наших городов. Всё было расписано — сколько где будет смертей и разрушений. План разрабатывался под руководством министра обороны США Дж. Форрестола. Оказалось, он был сумасшедшим, и в апреле 1949-го вынужден был оставить свой пост. Через месяц, в мае, ему почудилось, что русские уже ворвались в Вашингтон, и он выбросился с 16-го этажа военного госпиталя, где находился на излечении. Напомню ещё раз, что всё это было при атомной монополии США.

Узнав, что СССР овладел атомным оружием, американские генералы совсем взбесились. «Троян» им показался недостаточно жёстким, и они спешно принялись разрабатывать план «Дропшот». Вскоре выйдет скандально известный номер американского журнала «Кольерс», на обложке которого солдат военной полиции США стоял на фоне карты Советского Союза с надписью «оккупировано». Кроме всего прочего, в журнале говорилось, что после разгрома СССР на сцене Большого театра в Москве будет поставлен полупохабный мюзикл «Парни и девки», что вызвало возмущение многих западных интеллектуалов. Вот какая была тогда атмосфера! Генералы дёрпали президента Трумэна: вдарим сейчас, пока у нас подавляющее атомное превосходство над СССР. Влиятельный солдафон Батлер писал в своём меморандуме: «Господь вручил нам атомную бомбу для того, чтобы покарать большевиков, а не для того, чтобы она лежала без дела». Скажу откровенно: слава Богу, что у Трумэна хватило выдержки и твёрдости не поддаваться людоедским искушениям своих генералов.

И последнее, чтобы покончить с этой темой: сейчас, ретроспективно, практически никто не ставит под сомнение то, что войны не случилось именно потому, что наша страна ценой невероятных усилий в сжатые сроки обзавелась ядерным арсеналом. И американские генералы

это фактически подтверждают: начиная с определенного момента, они стали делать заключения, что атомное нападение на СССР нецелесообразно, потому что неизбежен адекватный ответный удар. Всё это давно рассекречено, опубликовано, всё это хорошо знает Солженицын; возможно, и режиссёр Панфилов что-то когда-то краем уха об этом слышал. Но и невежество — не оправдание подлости самой идеи телесериала.

Постановщики фильма вслед за Солженицыным всячески стараются вызвать у зрителей сочувствие к Иннокентию. Но разве он не подлец, не преступник в глазах не только МГБ 1940-х годов, но и нас, современных россиян? Разве он не втройне подлец — ведь он собирался по прибытии в США, куда его направляли работать, «напомнить американцам о своём звонке в посольство». Разве это не означает, что он собирался перейти к ним на службу? И это было бы логично для Иннокентия Володина, ведь Солженицын так формулирует его политические взгляды: «Дожить бы до того дня, когда сталинскую банду зааркандят для второго Нюрнберга... послушать её жалкий лепет на суде». Как можно после всего этого строить повествование так, будто чекисты ни за что ни про что схватили благородного человека, невинную овечку? Да туда ему и дорога, «кроту», советнику дипломатической службы Володину — в ГУЛАГ! Расчёт авторов телесериала, видимо, на то, что читатель/зритель не разберётся в сути дела, в сюжете и будет сочувствовать «хорошему человеку» в исполнении симпатичного актёра.

Но всё же — почему с таким шумом запущен проект «В круге первом»? И почему именно сейчас? И почему именно это произведение Солженицына решено так «раскрутить», чтобы о нём узнала последняя дурочка, отродясь ничего не читавшая, кроме детективов Дарьи Донцовой? Почему, скажем, не «Раковый корпус» и даже не «Архипелаг ГУЛАГ»? Надо думать, что появление политшлягера скоординировано с провокацией европейских парламентариев, поставивших на одну доску гитлеровскую Германию и Советский Союз. Для промывки мозгов общественности

«В круге первом» — отличное пособие: посмотришь, пове-ришь и ужаснёшься, какое же это было чудовищное зло-дейское государство. Тем более на Западе, особенно среди молодого поколения, о нём практически ничего не знают.

Но главный адресат солженицынско-панфиловского творения — это, конечно, зритель «внутренний», российский. И здесь «заказчиков» много (заказчиками я называю тех, кому выгодно появление телесериала). Нет, я не о прощелыгах, именующих себя «правозащитниками» и жиру-ющих на деньги западных спецслужб, тех самых, что много лет кормили самого Солженицына и увенчали его Нобелевской премией. «В круге первом» оправдывает ельцинско-гайдаровско-чубайсовский погром советской промышленности и науки. Поверивший авторам сериала может оправдать действия погромщиков (а осознание того, что они совершили преступление против народа и госу-дарства, нарастает в современной России). В самом деле, разве не достойна разгрома и ликвидации фигурирую-щая в романе и в фильме «шарашка» — засекреченный научно-исследовательский институт, в котором исполь-зуется принудительный труд специалистов-арестантов?

Оговорюсь сразу: литературное произведение нельзя оценивать по тем же критериям, что и отчёт о работе НИИ. Но ведь никто не мешал Солженицыну повествовать о некоей шарашке, создавать какой-то обобщённый образ. Он же постоянно подчёркивает конкретные черты того НИИ, где он отбывал срок в качестве заключённого инже-нера, марфинской шарашки. Опять обращаюсь к первому варианту «Круга» — там она именовалась не марфинской, а мавринской. Переделывая своё сочинение, Солженицын по возможности убирал вымысел, художественные обо-бщения. А перед демонстрацией сериала по телевидению был показан сюжет: впервые в здание, где когда-то работал будущий писатель, была допущена съёмочная группа.

...С особым интересом смотрел я эти уникальные кадры: ведь я — ветеран той самой шарашки. Семь с половиной лет проработал там инженером. Поступил туда 1 января 1960 года, когда она уже подчинялась

Комитету радиоэлектронной техники, а не МГБ, как раньше, и не ЦК партии, как ещё раньше. Заключённых инженеров, ни наших, ни немецких, там уже не было, но я успел увидеть фанзы, в которых жили некоторые из них. Я не оговорился — именно китайские фанзы, которые, насколько помню из рассказов старожилов шарашки, строил какой-то хозяйственник с опытом работы на Дальнем Востоке.

Имя будущего писателя мне ничего тогда не говорило (он еще не опубликовал ни строчки), но оно встречалось мне на старых чертежах, в графе рассылки иногда значилось: «инж. Солженицыну А. И.» Именно во время моей работы в этом НИИ началась литературная деятельность Солженицына. «В круге первом» не был опубликован, однако мне удалось достать перепечатанный на машинке экземпляр повести (первый ее вариант, конечно). Об этом стало известно не только моим друзьям. Помню, ко мне подошёл начальник нашей лаборатории Иосиф Семенович Нейман и его друг Абрам Маркович Нанос (эти ветераны НИИ, высококвалифицированные вольные инженеры, евреи по национальности, стали прототипами солженицынского майора Ройтмана): «Говорят, у вас есть некая интересная рукопись...» Не знаю, как они оценили повесть: рукопись вернули молча, не комментируя (нас разделяла огромная разница в возрасте и в чинах). Но все те, с которыми я говорил о повести, были практически единодушны: писатель верно уловил многие детали, но в целом он создал пасквиль на наш НИИ и на то, чем он, чем все мы занимались.

Главным делом нашего НИИ было совершенствование секретной телефонии, то есть системы телефонной связи, которую невозможно подслушать. Солженицын изображает это так: Сталину, мол, пришла однажды в голову мысль занять такую связь, «чтобы можно было бы, не опасаясь подслушивания, говорить с Ближней дачи не только с Берией на Лубянке, но и с Молотовым в Нью-Йорке». А всё действие романа вертится вокруг проблемы идентификации голоса человека по магнитофонной записи — что

нужно, дескать, для того, чтобы вынюхивать и сажать, сажать, сажать... Всё это злонамеренная ложь господина Солженицына.

Засекречивание сообщений старо, как мир, вернее, как сами сообщения. Тайный язык жрецов — это уже шифр. Но не будем углубляться в тысячелетнюю историю криптографии. До секретной телефонии додумался не Сталин и не он давал указания разработать её технические решения. Лидерами этого направления техники были немцы, которые использовали её на советско-германском фронте. Солженицын лжёт ещё раз, когда изображает немцев, работавших в марфинской шарашке; в основном это были не случайные лица, а инженеры, взятые в плен, так сказать, целенаправленно, по наводке нашей разведки, которой стало известно о применении противником секретной телефонии на оккупированной советской территории. Наши охотились на немецких специалистов соответствующего профиля.

А главное — Солженицын лжёт в расчете на примитивных, не думающих читателей и зрителей, когда изображает внимание к данной отрасли техники со стороны Сталина как проявление коварства и злодейства. Потребность в этой технике есть у всех государств, и она огромна. Она нужна для сохранения политических, дипломатических, военных, научных и коммерческих тайн. И только совершенно бесстыжий сочинитель может сводить дело к стремлению «подслушать порядочного человека и засадить его в тюрьму», как это делает нобелевский лауреат.

Из сказанного ничуть не следует, что я намерен в чем-то приукрашивать и тем более ностальгически идеализировать нашу шарашку. Еще в 1960-м, то есть через семь лет после смерти Сталина и расстрела Берии там еще не выветрился ГУЛАГОВСКИЙ ДУХ. Один маленький пример из личного опыта. Вскоре после моего поступления я однажды остался на вечернюю работу. Причина заключалась не в служебном рвении, а в особенностях эксперимента, который нельзя было прервать. Сажу один в лаборатории, записываю показания приборов. Пришла уборщица, стала

вытирать столы и мокрой тряпкой мазнула по моему лабораторному журналу. Я сделал ей замечание — поаккуратней, мол! Она ударила меня по физиономии той же грязной тряпкой и сказала нечто вроде того, что сидят тут всякие, ещё хвост поднимают. Я выкинул наглуую бабу из помещения и вернулся к своим приборам. Через несколько минут прибежала вооруженная охрана. Узнав, в чём дело, ребята только посмеялись — уборщица из старых кадров, она привыкла к тому, что за приборами сидят зеки, и не осознает, что наступили другие времена. Упоминаю я об этом лишь для того, чтобы подчеркнуть — я не идеализирую шарашку, отнюдь нет. Но должен заступиться за неё в главном. Она делала полезное, необходимое для страны дело, а Солженицын оклеветал её. Ещё раз повторю: если бы он создал образ некоего секретного НИИ, в котором правят бал товарищи Воланд, Урия Гипп, Иудушка Головлёв и Фома Фомич Опискин, и занимались действительно лишь «ловлей невинных человеков в тюремные сети» или чем-то ещё, столь же недостойным, тогда другое дело. Но он не захотел или, скорее всего, не сумел так поступить; в самом деле, не у всех же талант, как у Дж. Оруэлла. В результате у Солженицына получилась злобная карикатура на конкретный НИИ.

Но надо сказать, что его замысел очень логичен, если исходить из всеохватывающего и патологически-исступлённого антисоветизма господина Солженицына. В государстве-монстре, каковым писатель считал свою страну, всё должно быть монструозно. И все (за вычетом зеков и их родственников) тоже какие-то чудовища. Начиная со Сталина, который у нобелиата столь карикатурен, что его и Голливуд не возьмёт (вот Геббельс — взял бы). Карикатурны все должностные лица, примитивна и нелепа вся техника, все машины и дома. Кстати о домах. Солженицын пишет, что в ту эпоху строили дома, которые сразу же разваливались. А сейчас на объявлениях о жилищном обмене помечают как достоинство — «дом сталинской постройки». И на совещаниях хозяйственников говорят, что только «сталинские» дома выдержали холода суровой зимы,

а «хрущобы» промерзли. Солженицын уничижительно отозвался о Московском институте связи, изобразив его скопищем невежд. Это чистая клевета. Я сам учился в этом институте, всю жизнь общаюсь со многими его выпускниками и знаю, что он снискал славу высококлассного вуза. Да много чего оклеветал Солженицын на страницах своего одиозного опуса!

Разумеется, он имеет полное право писать, что хочет. Свобода так свобода. Но и читатель-зритель имеет такую же свободу заметить, что изображение Солженицыным той эпохи является сознательным искажением истории в антирусских, в антироссийских интересах и злобной карикатурой на СССР. А необычайно масштабная рекламная кампания говорит о том, что спецпроект «В круге первом» щедро оплачен. Кем — додумайтесь, как говорится, сами.

P.S. О беллетристических достоинствах «Круга первого» не говорю — за отсутствием таковых. По моим наблюдениям, читатели как правило пропускают страницы, не связанные с детективной историей — попыткой Иннокентия послужить Америке и его арестом. Что касается фильма, нельзя не восхититься игрой нашей великой актрисы Инны Чуриковой в сцене ожидания в тюрьме свидания с мужем. Но эта сцена, где действуют второстепенные персонажи романа, как говорится, не делает погоды в затянутом, рыхлом сериале. Да и воздействие этой сцены ослабляется тем, что недавно в газетах были опубликованы такие данные: сейчас у нас в стране вдвое больше заключённых, чем в 1937 году.

Переводы

ИЗ БЕЛОРУССКОЙ ПОЭЗИИ

РАГНЕД МАЛАХОВСКИЙ (р.1984)

* * *

Мочи нет в чужедальних краях,
Я вернулся — как в сказку русалочью.
И теперь у любимой в руках
Я как в ласковых волнах Нарочи.

Мы по тихой воде поплывём
К берегам, с давних пор известным,
Нам звезда осветит окоём,
Светлячком пролетая небесным.

Бережёт нас озёрная тишь,
Отсекая ненужные звуки.
Как прекрасно, что ты молчишь,
Обнимая после разлуки.

Редко-редко ветер вздохнёт,
Чтобы сосны чуть-чуть пошумели.
Чуть вздохнёт — и опять замрёт.
Нарочь плещется еле-еле.

МЕРА СВОБОДЫ

Не первый день заполнен был борьбой
За счастье — эту вечную химеру.
Свобода посмеялась над тобой?
Как ты, не знаю, ну, а я утратил веру.

Хотя о ней сказали столько слов,
Хотя о ней так много песен пели,
Боюсь я всё же собственных шагов
В круговороте яростной метели.

И неуверенно продолжу путь земной,
Не зная, что за мера у свободы,
Хоть говорят, что ею лишь одной
Раскрепощаются явления природы.

А мысли к ним причислить или нет?
И как насчёт свободы рифм и воли?
Я думаю, свободней всех поэт,
Стоящий на краю родного поля.

* * *

Юрасю Василевичу, другу детства

В Гатовичах, помнишь, купались
Ночью мы пацанами,
А после перелетали
Через костёр, сквозь пламя.

Искры весёлые, жгучие
В памяти сохранились.
Что может быть в мире лучше:
Тайны вокруг клубились.

Пусть от девчачьих песен
Кто-то не спал в деревне:
Не было их чудесней,
Не было их напевней.

Время любви наступает,
Вот что нам звёзды пророчат.
Папоротник расцветает —
Вот что мы ищем ночью.

...Жизнь удалась на диво.
Скажем ей — благодарствуй!
Но детство всё же счастливей
Прекрасного взрослого царства.

Алесь БАРАНОВСКИЙ (р.1988)

А сердце жгло, как будто сноп
В костре взметённом,
И с миром старый был окоп
Не примирённым.

Он горькой памятью зарос
По самый бруствер,
И век забвеньем не занёс
Всё то же чувство.

Осел окоп, а в нём солдат
Уходит в вечность.
Идёт, как много лет назад
Он в бесконечность.

Идёт, идёт, хоть недвижим —
Пробит осколком —
И к небу движутся над ним
Дубки и ёлки.

И будто ангелы, шмели
Над ним летают.
Окоп — как рана всей земли.
Она святая.

Здесь глушь. Салюты далеки,
Цветов охапки...
Но коль проходят грибники —
Снимают шапки.

* * *

Ничто в этом мире не ново, и «новое» вновь повторится.
Смешны замечанья по поводу авторских прав.

Легко по шаблону, казалось бы, путь человеческий кроится,
Да зло не пройти, ни кровиночки не потеряв.

И как угадать, что за новыми будет шагами?
И как перепрыгнуть, развернется если провал?
У всех это было, наверное, будет и с нами.
Учусь, чтоб сказали — и этот, гляди, не пропал.

Да ладно. Бояться ли мне человеческой доли!
Я — лишь продолжение того, что случалось столетья назад.
И поле моё — это предков священное поле.
И, как часовые, на нём обелиски стоят.

ИЗ ЧЕРНОГОРСКОЙ ПОЭЗИИ

Андрия РАДУЛОВИЧ (род.1970)

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА

Гораздо сильнее тех, что в Небе,
звёзды в Поэзии,
сотворённые нами.

Как-то одна из них,
красная-красная,
кое-кому взошла на околыш.

Тогда-то у нас и убили царя.

ЕСЛИ УЖ ПАВАРОТТИ БЕССИЛЕН

Нам сплочённой семьёй никогда не стать,
мы не сможем пристрастья свои обуздать,
превратить в улыбки гримасы.
Вот и я не хочу Гёльдерлина читать,
а любимая женщина говорит мне опять
про Шимборскую и про Пикассо.
Ну, отец с русской темы не может сойти,
он Суворова, Жукова чертит пути
на потрёпанной карте,
ему что Шимборская, что Гёльдерлин!
Отстояв Сталинград, он идёт на Берлин
в победоносном азарте.
Брат наших книг никогда не читал,
он лагерь для беженцев основал,
да ещё Кустурицу любит.
А для матери главное — наш огород,
для картошки убийственный выдался год:
жук её колорадский губит.

...Я же надеюсь, что что-то помочь
сможет нам всем в эту душную ночь —
комета пускай взорвалась бы в полёте,
если нас даже не соединил
посланец небесных божественных сил —
поющий по радио Паваротти.

РОМАНТИКА

Ну что за романтика,
если ни снега пушистого,
ни тройки лихой!

Романтика — это ночной костёр
и заяц на вертеле,
и любимая в шиншилях-соболях
с бокалом вина в руке.

Романтика — значит, распряжены кони
и мирно жуют себе звёзды у края неба;
досыта ешьте, резвые кони —
вырастут новые звёзды.

А волк, Серый волк из рождественской сказки
по краю леса гуляет,
а то и в окошко заглянет к тем,
кто не верит в него.

Поспорим, что это так?

РОМАН С РУССКОЙ БАЛЕРИНОЙ

Русская балерина Анна Т.
поклялась красотой превзойти
рассвет над Москва-рекой.
Она кричала:
я лист невесомый,
слетевший с берёзы,
я час роковой,
цветочек я аленький,
а ещё Пикадилли и Шан-Зелизе,
Марго Фонтейн и Эдит Пиаф.
Она призывала смотреть
на купола кремлёвских соборов
под балалаечный трень.

...Я тоже не лыком шит
и сказал, что я лебедь заморский,
заплывший в московский туман.

А она застеснялась и убежала
к Ивану Васильичу Грозному.

КУЗНЕЦ

В подземной кузне,
с которой пошёл наш город,
никогда не гаснет огонь:
кузнец куёт букву за буквой.
Из них слагаются строфы,
образующие поэму города —
от флюгеров на черепичных крышах
до снежинок на ресницах любимой.

ХВАЛА

Солнышко смотрит с улыбкой, как снег
расписывает наш город:
площади, переулки, дома,
крыши, пороги, могилы...
Снег метёт и тайные письма
наносит на всё кругом.
А одинокая снежинка,
летающая выше всех,
прекрасна, как Моцарт.

СКАЗКА

Месяц мечет стога
на озере, как на поле,
феи ему помогают и гномы:
притащили откуда-то ретро-авто,
пригнали диких гусей и пони впридачу —
припасы как-будто готовят к зиме
и стену какую-то строят.

Но только чуть-чуть приоткроется дверь
на небе и луч пробежит,
и окончится всё,
и нет ни кирпичной стены,
ни соломенной крыши,
ни буквы,
ничего.

ИЗ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ

ВАСИЛ БАЛЕВ (РОД.1985).

ЗАЧЕМ ПИШУ

Зарыл один башмак и жду ростка пути.
Кольцо надел; да просто так, от скуки.
А дождь идёт, идёт — с ума сойти...
И кольца не нужны. Зачем мне эти штуки?

А нужно мне — вон белое в углу,
Как тело женское... Оно моё спасенье.
Оно распалось. Но частички на полу
Во мне, мужчине, видят назначенье.

О, эти виртуальные пиры
В моём мозгу! И — вечные прощанья.
И дождь — по тем же правилам игры,
И руки — часть дождя. И часть дождя — касанья.

Прикосновенья. Плоть. А может быть — фантом?
Ну да, один башмак! Смешно, и всё напрасно.
Ты улыбнёшься ли, любовь моя, потом,
Как дождь пройдёт и всё-то станет ясным?

ИВАН ОВЧАРОВ (род. 1959).**ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ**

Звёздной ладонью накрыло день,
Лишь две строки в бокале мерцают,
Но светом своим они побеждают
Любую извне приходящую тень.

Просторная комната — будто храм.
Сюда прихожу вспоминать, не молиться.
Вот и сегодня пытаюсь забыться,
Забыть о судьбе, предназначенной нам.

О Господи, как же я одинок!
Как всегда, как везде, как прежде.
А теперь, вопреки последней надежде,
В далёкую Москву меня забросил Бог.

Но у него, наверное, был расчёт
Какой-то, поскольку тобой я полон,
А прежние, другие — уходящие волны.
Последняя любовь верным курсом плывёт.

Как же поздно встретились мы с тобой!
Но даже и позднее было началом:
Оно, как зеркало, показало —
Теперь я другой, и весь мир другой.

Там, снаружи, московский гам и дым,
А здесь, внутри, всё делается тобою,
И рассыпается остальное,
Не освящённое именем твоим.

Красивых москвичек вокруг немало,
Но в них для нас — никаких помех.
Хочу, чтоб прекраснейшая из всех
Пошла и тебе обо всём рассказала.

Москва

Божидар БОЖИЛОВ**СКОРБЯ ПО ДЕБЕЛЯНОВУ**

Сегодня, наверно, нужней всего
Тихий вздох сожаленья.
Ветер колеблет свет твоего
Лунного стихотворенья.

Печалюсь я вовсе не о стихах.
Они-то теперь прочнее стали.
Скажите, а выжгли клейма на лбах
Тех, что тебя убивали?

На шёлке безумных военных знамён
Ты хоть строкой обозначен?
Или среди многих других имён
Забвению предназначен?

Кто вспомнит героя? Кто вспомнит, увы,
В потёртом костюме поэта?
Звёзды вокруг твоей головы
Светят последним светом.

В корчме нам с тобой нальют тишины.
Шуршит напев тополиный.
Шаги темноты хорошо слышны
В улицах наших старинных.

Стихи твои знаем, конечно, все мы,
С того и считаем тебя богатым.
Дай же несколько песен взаймы
Мне, твоему младшему брату.

ГЕОРГИЙ АНГЕЛОВ (РОД.1968)**ПИСАТЕЛИ**

Водки — залейся. Кричат эрудиты.
Тучи, конечно же, пыли в глаза.
Позы оракулов, ныне забытых,
Психов и рыцарей; словом — буза.

Всюду очкарики и юмористы.
Кто-то заходится в приступе слов:
Рядом с «Платоном» — «дискурс»,
«модернисты».
Множество, множество лысых голов.

Острые шуточки. Вздохи «со смыслом».
Мечтанья о мяготи женских тел.
Наверно, никто бы не смог перечислить,
Какие он книги «друзей» одолел.

Чужды они мне, как иудаизма
Заветы для верующих христиан, —
Эти шагающие катаклизмы
В яме, где в рост человека — бурьян.

Болгария, видимо, умирает,
Писатели ж, глядя в свои пупки,
Весь мир на дуэли с собой вызывают,
Как Моськи, в амбициях сверхвелики.

Всё. Ухожу. Улыбается кто-то.
Во взгляде — стоячая, с тиной, вода.
«Знакомо ли вам ощущение полёта?»
Ну кто без лукавства ответит: «Да»?

Деньо ДЕНЕВ

ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ

Жизнь утекает, как песок, — так что же делать?
Ни милости не будет, ни пощады.
Земная слава пахнет горьким и горелым.
Бежать за ней? Конечно же, не надо.
А надо бы успеть законопатить стены
И кровлю ветхую подправить до зимы.
С долгами рассчитаться непременно:
А вдруг ещё пойдёшь просить займы.
И — заходить почаще бы к Ивану,
Он болен, одинок, любая болтовня
Ему не то чтобы небесной манной,
А — мировыми новостями дня.
Простое, важное как прежде делать надо:
Пахать и сеять и беречь родное поле.
Ведь я хозяин и отец, и свой порядок
Я никому нарушить не позволю.

...Но дух томится, в теле заключённый,
Он прорывается на свет сквозь темноту,
И я, чтоб чистым встать пред Божеским законом,
Венец терновый на главу себе сплету.

ВАЛЕРИ ПЕТРОВ (род. 1920)**НАШИ БЕДЫ**

Да, времена бывали у нас
такие, что жутью веют,
но только средь бед, что гнетут сейчас,
не знаю, какие страшнее.

Может быть, то, что повсюду прёт
внаглую племя хамье?
Или коварный тоненький лёд
между мной и друзьями?

Гнусен весь в импорте нувориш,
но, может, ещё гнуснее
вульгарность их книг, из реклам, из афиш,
и то, что мы свыклись с нею.

А телешутá идиотский смех,
которым «народ развлекают»?
Какая напасть отвратительней всех,
страшнее из них — какая?

И множится численность мерзких дел,
разнообразных к тому же,
и думаешь — это, наверно, предел,
и дальше не может быть хуже.

Назавтра же новый рекорд стыда,
подделки, вранья, эрзаца,
и то, что казалось ужасным всегда,
приемлемым станет казаться.

Глотнул раз-другой, и возврата нет
к прежней духовной пище.
Наверно, из множества нынешних бед
хуже такой не сыщешь.

НАД БЕЛЫМ ЛИСТОМ

Сел писать. Что с того, что сегодня охота грустить?
Социальный заказ не позволит того допустить.
Я обязан приврать и придать жизнерадостный тон,
Но в стихах не соврёшь, и опять прорывается он,
Голос правды о том, что сегодня на сердце лежит,
Что трепещет во мне, угнетает меня и болит.
Это так. Но как часто выходит в печать
То, что мне ну никак не хотелось писать.
Это так — при моём-то искусном пере
Всё равно правда шапкой горит на воре.
Мне так хочется всё донести до него,
До читателя чуткого моего,
Чтоб он понял всё тайное так, как казалось и мне,
То, что он, как и я, видел как-то во сне
...Но сегодня напрасно с блокнотом сажу
И — увы — я не вижу и не нахожу
Изощрённых приёмов, таких неожиданных слов
Что всегда выводили стихи из любых тупиков.
Я, бывало, их юмором гримировал,
Чтоб на вид жизнерадостным сделался хитрый финал

л.

ДЕТСКОЕ

*Маленьким барышням
Еве, Эмме, Иде и Катерине*

Четыре проказницы любят шалить.
Как замечательно прадедом быть!
Правнучки салочки любят и прятки,
песенки, сказки, стихи и загадки.
С ними такое случается в доме!
Честное слово — научный феномен
или, возможно, флюиды текут
в старость из детства и делают тут
Бог его знает, какое смещение,
невероятное столпотворенье.
Скажем, вчера я заснул, и во сне
вдруг оказался в волшебной стране;
еду в карете из тыквы, а феи
с гномами пляшут в красивой аллее.
Я разошёлся и вихрем лечу,
плачу зачем-то и хохочу.
Помню свою беззаботность, весёлость,
вдруг загремел воспитательный голос,
кто-то кричит на меня, старика:
«Брось баловаться! Получишь шлепка!»

Таньо КЛИСУРОВ

АНТИЧНОСТЬ

Прекрасное детство моё,
на античность похоже,
ибо вскормлено ею.
И ныне Эллада,
жемчужина Древнего мира,
светит во взорах достойных людей
с полётом высоких мыслей.
Я помню, как стрелы,
которые я мастерил
для своего эллинского лука,
летели, конечно же, в «варваров»,
а боль от полученных ран
стоически переносил я, соратник Сократа.
Закон Архимеда открыл я сам
на берегу нашей речки,
где мы играли в футбол
в своей первой спартакиаде.
Не в силах был весь легион сорванцов
из другого квартала
страхом меня поразить.
А ночью во снах
волновала меня гетера.
Полунагая, в соседском окне
однажды она промелькнула,
всего лишь однажды, но я
гекзаметрами о ней
исписал столько школьных тетрадок,
не осмелившись с ней говорить...
И вдруг это детство моё
исчезло в пучине времён,
как Древняя Греция
тоже исчезла когда-то.
О, как же я ей благодарен!

Страданиям меня научила, восторгам
и трудным вопросам,
которые ты задаёшь
без всяких гарантий, что скоро найдутся
ответы.

Пускай же пока в победителях варвары,
ждушие скорой расплаты
за наши бывшие победы,
пусть они силой грубой
и современным оружием
прошлое смяли —
но память, память осталась,
и детство осталось с мечтою о Древней
Элладе,
с античной гармонией мира.

ТОЛЬКО БЫ УСЛЫШАТЬ ЕЁ

Скорбь, как стрелю, меня пробила,
а доброе слово, я знаю, позволит
сердцебиенье унять и затылок
избавит от тягостной, давящей боли.
Помолодеть бы на четверть века!
И шапкой поднимется вновь шевелюра...
Надежда форсирует бурную реку
и в горы помчится летящим аллюром.
Но только бы... Только бы в шуме застолий,
оваций толпы, упоения скачкой
расслышать её, лишь два слова, не боле,
они обернутся ключами к задачкам.
Но нет и не будет, не то это, мимо,
Шумит водопад и камень грохочут,
и злоба в словах от тебя, от любимой,
а доброе слово рождаться не хочет.

НЕВЕРНАЯ ЖЕНА

*... она уверяла меня, что девственница,
Когда я тащил её в кусты у реки.*

Федерико Гарсиа Лорка

Она не притворялась. И шепнула,
что с мужем отношения сердечны.
И платье через голову стянула,
и обручальное кольцо сняла, конечно.
В ней не было испанского накала,
она была не до конца раскрыта.
Но — плакала, когда меня ласкала,
её слезами был я весь умытый.
Потом ушла. Так летний дождь уходит,
нисколько не помедлив на пороге.
И солнце вновь господствует в природе
и освещает новые дороги

любовных игр — от флирта до экстаза.
Ах, молодость, как хорошо на свете!
Но — сложный всплыл вопрос, хотя не сразу,
и трудно было на него ответить.
Та женщина искала подтвержденья,
что счастлива, и в этом убедилась,
использовав меня без объясненья.
Ну разве это грех, скажи на милость?

ИЗ ЧЕШСКОЙ ПОЭЗИИ

ЙИРЖИ ЖАЧЕК (РОД. 1945)

ВОТ ТАКИЕ ВАРИАНТЫ

Объявлено было,
что сто миллионов людей
одновременно увидят бога —
13 апреля в 7.30 вечера
На сорок втором канале TV.
Но все эти люди
в назначенный час
на своих голубых экранах
увидели только рябь.
Почему так случилось?
Возможно, кто-то попутал время.
А может быть, нет никакого бога?
Или он хочет, чтоб мы так решили?
А может, он просто раздумал,
просто некогда было ему
и сам он на сорок первом канале
смотрел сериал «Даллас»,
которому нет конца.
И вот ещё: может быть, бог
способен представиться нам

вспышкой фотонов,
а это и есть рябь на экране.
Выходит, не исключено,
что всё же мы видели бога.

ИГЛА И МЕЧ

Весь день мужи свирепые мечами
всё рубят на куски, для них святого нет.
А ночью женщины над спящими бойцами
суровой нитью, терпеливыми руками
опять шивают расчленённый белый свет.

ПРОГРАММА НА БУДУЩЕЕ

Стал учиться стареть — отчего-то прибавилось сил.
Захотел быть противным, но сделался лучше, чем был.
Попытался хворать, но болезней по-прежнему нет.
Так зачем умирать? Появлюсь-ка я снова на свет!

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Мне с самого начала повезло —
родился в Хомутове я, не в Хиросиме
И в школу я ходил
в Стреконицах, а не в бандитском Бронксе.
И дальше мне, ей-богу, всё фартило.
Призвали в армию —
и я служил на Эльбе, в Костельце, а не в Чечне.
А разве не везенье,
что не в Чернобыле детишки родились,
а во Влашиме?
И, слава Богу, не было меня в Нью-Орлеане,
когда свирепый ураган «Катрина»
всё там порушил,
А был я в мирном чешском Фриделанте...
Теперь вы поняли, надеюсь,
насколько я счастливый человек?

Михал ЧЕРНИК (род.1943)**ЧТО-ТО ВРОДЕ МОЛИТВЫ**

Святая жизнь,
защитница земли,
спаси ты нас,
от нас самих спаси.

Любовь святая,
жизни королева,
будь с нами
и не дай нам оскудеть.

Святая простота,
мать наших детских лет,
не отнимай у нас надежд,
не отнимай.

...Если бы здесь собралось
всё счастье и всё страданье,
мир бы, наверно, рухнул.
А если бы слёзы мира сего
внезапно слились воедино —
возникло бы море
и мы утонули бы в нём.
А если б все боли мира сего
встали одна на другую,
выше бы не было гор.
А если бы радости,
вместе собравшись,
здесь объявились, они
развеяли б наши печали.
А если любовь
воцарилась бы здесь,
она без оглядки на смерть
всё время жила бы в людях.

А если бы счастье здесь
родилось,
я бы молился, чтоб всем
досталось его,
всем-всем.

ЛИЧНАЯ ПРОСЬБА

Стихи мои вам не нужны — ну и пусть.
Я именно ими к вам в дверь постучусь.

Пусть я не умею ни петь, ни играть,
одно лишь хочу о себе рассказать:

Стихи — это вовремя вспыхнувший свет,
когда мне казалось, что проблеска нет.

ЖЕЛАНИЕ НЕВИННОСТИ

Пускай бы снова стало всё невинным,
как только что зачатое дитя,
как свежий снег,
как полное неведение всего,
когда ещё и зло с цепи не сорвалось,
и не свершился грех.

ИЗ ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ

ЭУГЕНИУШ КУЖАВА (род.1959)

* * *

Это Америка
Это те самые Ю Эс Эй
вечером в 19.00
они возникают в телеке
там репортёр из наших
но похлеще самих американцев
он весь напоказ
он прост как шериф из вестерна
который палит из кольта
и поминает Господа
и сам как Господь
сотворяет мир
и нас загоняет
в положенный нам угол
его мира

* * *

старый генерал
как жалкий салага
у капралов просит прощения за успехи
в своей победоносной войне
кто руки нагрел на его победах
глумливо делают вид
что фактам не верят
а верят цитатам
из выцветших документов
о позорных провалах
бесславных поражениях
о неудачных восстаниях
и впустую пролитой крови

их возмущает воин-герой
разрушающий миф о нас
как о бездарном народе
творце неудач
не знавшем побед

Этот миф нам к лицу

* * *

вот какое задание
важность утратить
и стать неприметным
тебе предложена роль
иголки в стоге
всемирной деревни
вот такое задание
тебе поручает Начальник
нелёгкое это задание
но ты человек с головой
и справишься наверняка
вот что ты можешь дать
всемирной нашей деревне
надо выйти во двор
и убедить соседей
перестать сомневаться
и осознать
что всё у нас первосортно
планета же наша
планета номер один
она на тебя надеется
смотри же
не подкачай

* * *

но если считается
что наилучшие строки

в том числе о любви
самые нежные строки

написаны старыми поэтами
написаны стариками

значит всего и делов-то
надо красиво состариться

* * *

зло всегда превосходно выглядит
оно фотогенично
манит влечёт сулит
красивую жизнь
а кто не хочет пожить красиво
добро же напротив не блещет
выглядит прозаично
ведёт себя скромно и сдержанно
в журналах оно
на последних страницах
в газетах о нём
столь мелким шрифтом
что можно и не заметить
и на экране оно
не может привлечь внимания
устроив скандал
а публика любит скандалы

ТАДЕУШ ВЫРВА-КШИЖАНСКИЙ (род.1947)**ВСТРЕЧАЯ МЕНЯ**

Ты прячешь руки
Под фартук отказа,
любовь — в сердце,
ненависть — под кровать,
загораживаешь собой
кресло для ожидающих,
а меня, седого ребёнка,
выплёскиваешь с водой
моих отчаянных писем.

Ты притворяешься:
нет, мол, тебя.
Но я-то здесь
и я не меняюсь, нет.
А жизнь к тебе
а повернётся дверная ручка,
ты голову прячешь в песок тела,
в могильную глубь
совершенно ненужных слов.
Ни тебе не нужных,
ни мне.

* * *

Каким должен быть тот,
кто нам откроет врата?
Добрый, как мать,
надёжным, как отец.
Он должен быть таким,
как церковь без фанатизма,
как политика без извращений,
и чтоб его не бояться,
как мы не боимся
полицейского на перекрёстке
и гангстера за решёткой.

Тот, кто откроет врата,
должен услышать нас.
Подавить наши страхи,
чтоб мы смело взглянули в лицо
и жизни и смерти.

А тот, кто нам не откроет врата,
не должен знать ничего
о наших надеждах.

СТОЧНАЯ КАНАВА

Мы с тобой, я надеюсь, станем
два сапога пара:
подобно мне,
ты строишь стену из рифм
между собой и миром.

В сердца наши втоптано
столько событий
столько набито памятных дат
в наши календари
что мы навсегда вместе

Я даже могу напрячься
и превратить в поток
тонкую струйку крови.

Тебе же полоска света
под дверью
видится сточной канавой
и больше ничем.

А ещё я могу —
пока могу —
слушать, как тишина завывает
сиреню «скорой помощи».

МЫШИНЫЙ ПЛАЧ

Ты способен пригнуть к себе
ветви звёзд,
и вот уже потолок у тебя —
будто седьмое небо.

А надо мною пустой чердак
и под ногами погреб.
А дом — это сердце моё,
это опорный камень,
стянутый скрепами слов.

Двери твои молчат, как губы,
ставни зажаты, как уши,
но всё же из наших домов
Можно расслышать мышиный писк.
Или плач?

Но какой же тогда смысл
Отгораживаться от всего на свете
Стеною воображения?

ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ

Здесь пьянчуги
хмелеют ещё сильнее.
А я пришёл и забрал тебя
неожиданным счастьем.

Ты плыл по мелкому морю
Великой Водки,
и вот приплыл.

Уютным фонариком
светится чай в стакане.
Под ногами земля,
и не надо безумных фантазий,
в которых живут алкаши.

Ты уже нахлебался позора
под тёмной звездой алкоголя,
ты так опустился,
что только паденье каких-то ценностей,
представлений, идей или лозунгов,
может тебя возвысить.

Но даже сейчас
ты не утратил мечту
(наверное, не совсем отрезвел)
и ждёшь превращения тишины,
стоящей подле меня,
в одного человека...

ВЕСЛАВ СТАНИСЛАВ ЧИСЕЛЬСКИЙ (род.1959)**ПЕЙЗАЖ**

Я бы хотел жить
На краю своего тела,
На его берегу,
Откуда откроется сказочный вид
На всё мирозданье,
Но снег так медленно тает,
И ледниковый период
Так долго ещё не пройдёт.

Запалить огонёк, поднести к губам
И ораторским жестом высокое слово
К толпе обратить.

Мне этого хватит на целую жизнь,
На горные пики, на реки,
На солнечный блеск и людской восторг.
Раз, два, идём строевым шагом,
Чтоб разбудить зверя,
Чёрную бестию плотских желаний,
Желание горло сводит.

Давайте научим дитя засыпать у груди,
Давайте научим благодной смерти,
Смотрите, какой пейзаж
Открывается с края тела.

МОЙ ОСТОВ НА ДНЕ

Будто корабль, тело моё затонуло,
Остов его погрузился на самое дно вселенной
У входа в порт поперёк фарватера,
И теперь ни одна субмарина
Не выплывет в бесконечность.

Смотри-ка, четыре ангела
У моего затонувшего тела.
Видимо, в небо поднять хотели,
Но нет — уселись играть в картишки,
И вот — в пух и в перья продулись
И смылись тайком.

Без крыльев, ничем не прикрытые,
А крылья на дне вселенной остались,
Четыре пары ангельских крыл
У моего затонувшего тела.

Но я и на самом дне расслышал
Весёлый голос моей дочурки,
Значит, настало время всплыть
И пойти прогуляться с нею
Млечным Путём.

ЗАЧАТИЕ

Моей Оленьке

Земля возникает касанием пальцев:
Единственная пришла,
Дарящая утреннюю росу,
Конечно, газеты врут,
Что кто-то плюёт в мой колодец.
У стула четыре ножки? Враньё.
Шарообразна планета? Абсурд.

...А она прикоснётся и как одарит
Апельсинами всю Вселенную.
Заплёваны все городские колодцы,
Больные тени кричат за окном,
За которым Бог сервирует ужин.

А я стучу, открывает она,
Дарящая жизнь,
И груди её полны молоком.

Земля возникает только тогда,
Когда на неё придёт человек.

НЕГАТИВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МИРА

Гляньте: покойник врёт —
Дескать, зажмурился, спит,
И тьма сплошная вокруг —
Из-за аварии электросети,
А глухое молчание лишь оттого,
Что надо напрячь мозги.
А я вот когда остыну,
Закоченею,
Тогда прилетит ворон,
Который не выключает глаз,
Но покроет меня вечностью,
Небытиём.
Это потом.
А сегодня смерти не будет.
Сегодня — рожденье, и жизнь,
И жужжание пчёл,
Собирающих мёд.
Подумай, ну а как же я мог остыть, если ты
Любуешься розами,
Освещёнными солнцем.
И если ты даже серьгами уколешься
И выступят капельки крови,
Они мне покажутся звёздами.
Таков негатив моего мира..
И, может быть, я никогда не пойму,
Далеко ли до неба лететь птицам,
Далеко ли до неба лететь камням.

ШАЛОСТИ СТАРОГО АНГЕЛА

Чистит крылья старый ангел,
Тот, что ходит по земле,
Целый мир склонился к нему
И тихонько заскулил.
А небеса провисли так низко,
Что можно с земли ладошкой
Святости зачерпнуть...

Вот мой внутренний Шопен
Создаёт во мне шедевры,
В то же время умирая,
Как миллионнолетний старик.

А играет во мне Шопен
Пьесу «Старый ангел»,
Усмехаясь при этом.
И правда, смешно:
Я в автобусе быстро еду,
А они уже вне меня.

Вот они оба: у памятника Шопену.
На лавочке старый ангел
С пустой бутылкой сидит.
Сидит и бормочет себе под нос:
«А всё хорошо».
Так и есть.
Хорошо.

ИЗ БУРЯТСКОЙ ПОЭЗИИ

ГАЛИНА РАДНАЕВА

* * *

Звонко, я слышу, плеснула вода.
Брошен пятак или с неба звезда?

Кто-то монетку в грязи подберёт?
Кто-то совсем неземное найдёт?

Вспомни, как мамы всегда говорят:
Дочку в капусте нашла, между гряд.

Может, и вправду секрет очень прост:
Мы — из племён приземлившихся звёзд.

* * *

Люди тоскуют о счастье, далёком, как звёзды.
Холодные звёзды — о чём-то живом, как люди.
Ты слышишь печальные звуки вселенной?
А может быть, это лишь чудится нам,
И молчит пустота,
Лишь, как бабочки,
Души людские перелетают
Со звезды на звезду.

* * *

В степи небес на лунный солонец
Вступило облачко — пугливая косуля.
А на Луну так жутко воет волк.

Да тут ещё звезда взмахнула саблей
И напрочь отсекла у ночи тень.
От этого и горы поседали.

* * *

Глазами чёрного кота
Горит ночное небо.
Пред ним Луна — как мышка.
Я боюсь.
Младенцем просыпаюсь и реву —
Такой он страшный,
Чёрный звёздный кот.

* * *

Я шагнула из дома в ночь.
Там огромный скелет стоит.
Он такой, как берёза, точь-в-точь,
И к тому же он — инвалид.
Мне впервые тогда довелось
Испытать этот липкий страх:
Ветка сломана, словно кость,
И нелепо висит на ветвях.

* * *

На подошвах не грязь — я вернулась,
на Родине побывав.
И в комочках священной земли
Видя только лишь грязь, ты не прав.
Ты, сосед, мою Родину не хули.

Ты, молодка, на мужа всё время ворчишь,
Но когда постареешь — а это придёт! —
Он тебя охранит лучше стен, лучше крыш,
Богом станет твоим. Загляни же вперёд!

ИЗ ОСЕТИНСКОЙ ПОЭЗИИ

ВАЛЕРИЙ ГОБОЗОВ

Я И ВЕТЕР

Над грустным кладбищем опять склонилась тьма,
Как ласковая мать, к нему припала,
Но ветер, тишины срывая покрывало,
Тревожит нас, что впрямь сойти с ума.

О, странник-ветер, как похожи мы с тобой!
Я чувствую, что братья мы по сути:
Ты счастьем обделён, ты бесприютен.
И я, ты знаешь, в точности такой.

Ведь одиночества невыносимый гнёт
Обоим нам так хорошо известен.
Так поклянёмся же, что вечно будем вместе

Делиться горестями... Но сомненье жжёт:
Ты примешь ли подобный оборот?
Ты побратаешься со мной? — скажи по чести.

* * *

Моему отцу Леонтию

Отец, ты помнишь ли, как буря бушевала,
Как будто бы в неё вселился бес,
И, как медведь, ломилась через лес;
Стволы тряслись, страшась лесоповала.

Мне, маленькому, тоже страшно было.
Усатым белым чудищем в окне
Казалась вьюга. Но шептал ты мне:
«Не бойся, сын. Не бойся, мальчик милый».

Я вырос. Я привычен к непогоде,
Но без отца, признаюсь я, досель
Она не страх, она печаль наводит.

Когда в окно ко мне стучится ель,
Мне чудится, что там, куда уходим,
Отец мне греет снежную постель.

* * *

Тревога закрыла над городом небо,
Солнце уже не согреет людей.
От пулёмётных очередей
Всё превращается в жуткую небыль.

Снова кошмары двадцатого года?
Ей-богу, почудилось мне:

Опять осетинские горы в огне,
Угроза нависла над нашим народом...

Но нет, не двадцатый. Шофёр в камуфляже
Любезен: «Садись побыстрее в джип!
На север! Бежим! Кто застрял — тот погиб...»

Кровь мне ударила в голову даже.
Кричу: «Я не тот, кого ветром смело.
Я — с Родиной, если ей тяжело!»

СОДЕРЖАНИЕ

Предупреждение читателю	3
День + День = Жизнь	6
Настя	7
Гретхен	20
Святая 122-я	62
Студиозус поллитров	91
Не в своих санях	120
Эпилоги, прологи, любовые атаки	140
Вместо интерлюдии	150
В борьбе с пессимократией	168
НЕ вторая, а первая древнейшая	188
Свет в конце длинного туннеля	192
И до истории дотронуться рукой	197
Стихи	220
Подводя итоги	221
Верую	222
Приговор	223
Лето Господне	224
Ниночка, помнишь?	225
Из набросков автобиографии	226
Чудо на «бис»	229
Двое	230
Вариация на тему Николая Рубцова	231
Автопародия	233

Развесёлый триптих	234
Рай.....	236
Англичанин Чарли	240
Вильгельм Готфрид Лейбниц	240
Бертран Рассел.....	241
Ляле Пестеревой.....	244
Острова.....	245
«Утекают из памяти Висла, Иртыш и Гудзон».....	245
Коренные русские ощущения	246
Русский пейзаж.....	247
Русский народ.....	249
Дом	253
Стариковское	256
Забугорный русак.....	257
Остановись, мгновенье	258
Однажды в 1970-х.....	259
«Сейчас, конечно, плохо, что там говорить»	260
Встреча с Кончаком.....	261
Баллада о радуге	263
Губернские новости	265
Л. И. Гавриковой.....	266
Лимония под флагом Чёрной Кошки Кошки	267
«Не сам собою пошатнулся крест».....	269
Свидетель эпохи	270
«Англичанка гадит», — говорил Суворов	271
Смольный-1917.....	272
Маненечко экзистенциализму	273
«Если завтра война...»	274
Династия	276
Третий взвод.....	278
В манере Александра Вертинского.....	278
Смерть моего друга Бориса Элконина.....	279
«Может быть, и возрастные бредни»	279
По возвращении с Запада.....	280
Цвета русского знамени	280
Сугубо личный опыт.....	281
Русский поймёт.....	282
В турпоходе.....	282

Золотая осень	283
«Иностранец, как валенок, серый»	285
ВенцЛаг	286
Баллада об инопланетянах.....	289
История любви	291
А ля Вергинский	291
Принцесса	292
Танго «Магнолия»	293
Стихи о материнской любви	294
Сэ ля ви	294
Жуть, ой жуть!	295
Политические стихотворения.....	296
Ось земли нашей.....	298
Мы с тобой.....	300
Да будет так!	301
Нине Барановой	303
Надежда	305
По ком не звонит колокол	307
Стихи на испанские темы.....	308
О палачах тамбовских мужиков.....	310
Казнь Зусмановича. 1944	313
Жена для дяди.....	315
Недозавоз.....	317
Райкино яблочко.....	318
Покаяние	324
«Кто долго жил — попробуй, расскажи...».....	325
«А ветер цвет менял неоднократно».....	326
Как это было	326
«Поэзия! Мирáжей вереницы...»	326
Литературные разборы в стихах и прозе.....	327
«Не довелось, я никогда не жил»	328
Воспоминание о встрече с великим драматургом...	329
Из Омара Хайяма.....	329
К Пушкинскому юбилею.....	330
Поэт, бегущий краем леса	334
Приступ национальной самокритики.....	336
Лев Толстой.....	337

По прочтении Н. В. Гоголя	339
Выезд секции поэзии на природу	341
Вариация на тему Сергея Есенина	342
Ещё при нём	344
Да не судимы будете	345
Ироническая вариация на тему В. Маяковского.....	345
Прославление Анны Ахматовой.....	345
Вариация на тему Бориса Пастернака	346
Вариация на тему Ларисы Рубальской	347
Франсуаза Саган	348
Песня для картавого наркома в пенсне	349
Еврей Дзюба́н	351
Владимир Набоков	360
Зинаида Гиппиус	360
На Бунинском перекрёстке	361
Цианистый вальс	362
Les russes à Paris	364
Вариация на тему Самуила Маршака	366
Игорю Моисеевичу Иртеньеву	367
Олегу Кочеткову	367
Лик пиявки над центром мира (Л. Брик).....	368
Что позволено поэту.....	383
Мариэтта Сергеевна «нутром чует».....	391
Просвета пока не видно	395
О русских писателях.....	401
На то и напоролись (Короленко)	402
Загадки русского сфинкса (Чехов)	411
Трагический тенор эпохи (Блок).....	420
Человек с земли, выбитой из-под ног (Набоков)	431
Король авторской песни (Вертинский)	448
Казацкая доблесть (Шолохов)	458
Отмывание чёрного кобеля (Солженицын).....	466
Переводы	475
Из белорусской поэзии	476
Из черногорской поэзии	481
Из болгарской поэзии	486

Из чешской поэзии	497
Из польской поэзии	501
Из бурятской поэзии	515
Из осетинской поэзии	518